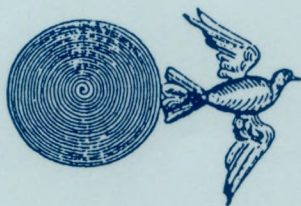


ПОРТФЕЛЬ

ПОРТФЕЛЬ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ СБОРНИК



ARDIS

П О Р Т Ф Е Л Ъ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ СБОРНИК

РЕДАКТОР-СОСТАВИТЕЛЬ
АЛЕКСАНДР СУМЕРКИН

ARDIS

**Copyright © 1996 by Ardis Publishers
All rights reserved under International and
Pan-American Copyright Conventions
Printed in the United States of America**

**Ardis Publishers
24721 El Camino Capistrano
Dana Point, CA 92629**

СОДЕРЖАНИЕ

- НИНА БЕРБЕРОВА. Рассказы из цикла “Биянкурские праздники”.
С предисловием автора 5
- ИОСИФ БРОДСКИЙ. Стихи из книги “Пейзаж с наводнением”. (33)
“Трофейное”. Авторизованный перевод с английского
А.Сумеркина. (43) Письма к Виктору Голышеву 60
- ЮРИЙ КАШКАРОВ. Остатки старой Москвы. (Dubia) 77
- ИРИНА МАШИНСКАЯ. После эпитафия. Стихи 83
- МАРИНА ГЕОРГАДЗЕ. Три рассказа. (89) Из новых стихов 124
- ГЕНРИХ САПГИР. Стихи 1982-1995. (131) Человек со спины 143
- СЕРГЕЙ ПЕТРУНИС. Стихи разных лет 150
- АЛЕКСАНДР А. ПУШКИН. Сонет венок 155
- КОНСТАНТИН ПЛЕШАКОВ. Иртыш 163
- НИКОЛАЙ САРАФАННИКОВ. Стихи из книги “Самсонов день” 178
- ЭДУАРД ЛИМОНОВ. Два рассказа 183
- АЛЕКСАНДР ШАТАЛОВ. Стихи из книги “Другая жизнь” 224
- МАРИЯ ГОЛОВАНОВСКАЯ. “Времена года” и другие стихи 231
- ИРИНА МУРАВЬЕВА. Филимон и Бавкида 235
- ТАТЬЯНА ХАЗОВА. Исповедь паука. Сказка 259
- ТЕРЕНТИ ГРАНЕЛИ. Из поэтического наследия. Предисловие и
перевод с грузинского М.Георгадзе 270
- МАНУК ЖАЖОЯН. Последняя семиотика 285
- ТАТЬЯНА ТОЛСТАЯ. Русские? 294
- ВИТАЛИЙ КОМАР и АЛЕКСАНДР МЕЛАМИД. Нам кажется, что мы это
помним 303
- АЛЕКСАНДР ПОЗНАНСКИЙ. Главы из книги “Жизнь и смерть
П.И.Чайковского” 319
- ГАСАН ГУСЕЙНОВ. Язык политики и публицистики в первый
постсоветский год России 345

ЗАМЕТКИ О КНИГАХ

- Edvard Radzinsky. *The Last Tsar: The Life and Death of Nicholas II. Prince Michael of Greece. Nicholas and Alexandra: Family Albums.*
(ТАТЬЯНА ТОЛСТАЯ) 389 / *The New Freedoms: Contemporary Russian and American Poetry...* Ed. by E.Foster and V.Mesyats. — “Новые свободы”. (ИРИНА МАШИНСКАЯ) 400 / Евгений Харитонов. *Слезы на цветах.* Сочинения в 2-х книгах. — “Из-под домашнего ареста”. (АЛЕКСАНДР СУМЕРКИН) 407.

ПОРТФЕЛЬ

Авторы и составитель посвящают этот сборник памяти **Юрия Кашкарова (1940-1994)**.

Составитель считает своим неременным и приятным долгом выразить сердечную признательность г-ну **Геннадию Вечняку** за неоценимую и бескорыстную помощь в освоении настольного компьютерного набора, и г-же **Марине Георгадзе** за практическую и моральную поддержку на всех этапах этого начинания.

Особую благодарность участники сборника и составитель выражают г-же **Елизавете Леонской** и г-ну **Михаилу Букатину**, чье щедрое материальное содействие сделало возможным это издание.

Нина Берберова

ИЗ ЦИКЛА “БИЯНКУРСКИЕ ПРАЗДНИКИ”*

От автора

Эти рассказы были написаны между 1928 и 1940 годом для эмигрантской либерально-демократической русской газеты “Последние новости”, издававшейся в Париже под редакцией П.Н.Миллюкова. Первый номер газеты вышел в 1920 году, последний — 13 июня 1940 года, накануне входа немецкой армии в Париж. Через три дня помещение редакции было разгромлено.

Я начала писать прозу в 1925 году и в течение двух лет искала почву, или основу, или фон, на котором могли бы жить и действовать мои герои. Старой России я не успела узнать, и писать о ней, даже если бы я ее знала, меня не интересовало: в эмиграции и в ее центре, Париже, было достаточно “старых” писателей, которые могли увлечь воспоминаниями о царской России только тех, которые жили в прошлом. Писать о Франции и французских “героях”, как делали некоторые из моих сверстников, начинающих прозаиков, мне не приходило на ум: я не идентифицировалась ни тогда, ни позже, ни со страной, ни с ее языком. Можно было, конечно, начать писать “о себе”, как делали по примеру Пруста многие молодые писатели Запада в это время, но я тогда ни говорить, ни писать о себе не умела, мне необходимо было найти хотя бы в малой степени установившуюся бытовую обстановку — людей, если не прочно, то хотя бы на некоторое время осевших в одном месте и создавших подобие быта, вне зависимости от того, нравится ли мне эта обстановка, ими созданная, и нравятся ли мне они сами.

В юго-западном углу Парижа есть пригород Биянкур (который обычно пишется Бийанкур), постепенно слившийся с Парижем. Он находится между Сеной и Булонским лесом и в нем стоят огромные заводы — сталелитейные, автомобильные и другие, связанные с мощной французской

* © Actes Sud. Составитель выражает глубокую благодарность проф. Мэрлу Баркеру за помощь в получении публикуемых текстов.

тяжелой промышленностью. Автомобильный завод Рено после войны 1914-1918 гг. начал разрастаться, и так как рабочих рук не хватало (Франция в первую мировую войну потеряла около трех миллионов людей), то Рено стал искать рабочие руки. Ему нужны были 1) мужчины, 2) люди здоровые и молодые, 3) люди, которые могли бы приехать на постоянное жительство и 4) могли бы научиться работать, обзавелись бы семьями и слились бы с местным населением.

Таковыми людьми оказались русские “белые” из армии Деникина и Врангеля — белогвардейцы, “белогвардейская сволочь”, как их называли в те годы в Советской России. Они были эвакуированы в свое время, после разгрома на юге России, и сидели и ждали своей участи на Принцевых островах (Дарданеллы), в Бизерте (Африка), в Болгарии, Сербии и других странах. За белой армией потянулись в эмиграцию тысячи штатских людей, которые уже в личном порядке старались найти себе место в далеко не спокойной послевоенной Европе. Рено стал выписывать по контрактам рабочих из бывших офицеров, солдат и казаков Добровольческой армии. Примеру Рено последовали другие владельцы заводов, а также само французское правительство, озабоченное аграрными проблемами и нехваткой рабочих рук в деревне.

Я приехала в Париж на постоянное местожительство в 1925 году.* Белогвардейцы меня совершенно не беспокоили. Я начала работать в газете Милокова почти тотчас же (Милоков к армии Деникина и Врангеля отношения не имел). Только в 1927 году я узнала, что “русские массы” можно увидеть по воскресеньям в русской церкви. Я пошла туда и удивилась количеству людей (полная церковь, толпа во дворе) — в огромном большинстве мужчин, в десять раз меньше, чем мужчин, — женщин, и совсем маленьких детей, при полном отсутствии детей школьного возраста и подростков. Я узнала также, что есть церкви в пригородах (мы стали называть их “сорок-сороков”), и что есть пригороды, где не только церкви, но есть и лавки, и русские вывески, и русский детский сад, и воскресные школы; там соблюдаются русские праздники по старому стилю, там какие-то русские комитеты усиленно заботятся о стариках и инвалидах мировой войны. И что в Бьянкуре 10 тысяч русских строят автомобили Рено.

Это была та основа, которую я искала.

* Владислав Ходасевич — поэт и критик, и я выехали из Советской России — тогда еще не было СССР — весной 1922 года, и три года, с перерывами, прожили в доме А.М.Горького, в Саарове, Мариенбаде и Сорренто.

Как я позже писала в своей автобиографии (1972), после первых же рассказов моей серии “Биянкурские праздники” с меня в парикмахерской перестали брать на чай русские мастера, сапожник пытался набить мне подметки даром. В гастрономическом магазине хозяин угощал меня конфетами, а биянкурские дети постепенно стали узнавать меня и показывать на меня пальцем.

Я не знаю, понимали ли мои читатели иронию моих рассказов, сознавали ли, что “праздники” не бог весть какие в этой их жизни, что между мной самой и моими героями лежит пропасть — образа жизни, происхождения, образования, выбранной профессии, не говоря уже о политических взглядах.

Прошло более сорока лет, как эти рассказы были написаны и напечатаны, и около тридцати лет, как я в последний раз перечитала их. Их историко-социологическое значение (как мне сейчас кажется) далеко превосходит их художественную ценность. О “русских массах” эмиграции почти ничего написано не было. * О людях без языка, вырванных из родной почвы без надежды вернуться назад, растерявших близких, выкинутых в Европу после военного поражения, сейчас никто ничего не знает и не помнит. Как я писала в своей автобиографии:

“Гудит заводской гудок. Двадцать пять тысяч рабочих текут через широкие ворота на площадь. Каждый четвертый — чин белой армии. Люди семейные, налогоплательщики и читатели русских ежедневных газет, члены всевозможных русских военных организаций, хранящие полковые отличия, георгиевские кресты и медали, погоны и кортики на дне еще российских сундуков, вместе с выцветшими фотографиями, главным образом — групповыми. Про них известно, что они а) не зачинщики в стачках, б) редко обращаются в заводскую больницу, потому что у них здоровье железное, видимо, обретенное в результате тренировки в двух войнах, большой и гражданской, и в) исключительно смиренны, когда дело касается за-

* Я знаю книгу Д.Мейснера “Миражи и действительность” (Москва, 1966), и книгу Л.Любимова “На чужбине” (Москва, 1963-1964). Оба автора — русские эмигранты. Книга Мейснера издана в количестве 200 тысяч экземпляров, но Мейснер, при всей своей осведомленности, жил между двумя войнами не в Париже, а в Праге. В книге Любимова 412 страниц. Он в ней рассказывает свою жизнь. Половина ее посвящена дореволюционному периоду и выезду из России. Парижский период, главным образом, касается Франции и французов, русских политиков, писателей и общественных деятелей в изгнании, и “русским массам” отдано не более 15-20 страниц.

кона и полиции: преступность среди них минимальна, поножовщина — исключение, убийство из ревности — одно в десять лет, фальшивомонетчиков и соавторов малолетних по статистике — не имеется”.

Историко-социологическая ценность, пожалуй, не требует дальнейших комментариев. Но художественная сторона этих рассказов нуждается в некоторых пояснениях: ирония автора должна была проявиться в самом стиле его прозы, и потому между мною и действующими лицами появился рассказчик. Самые ранние из “Биянкурских праздников” не могут не напомнить читателю Зоценко (и в меньшей степени Бабеля и Гоголя), и не только потому, что я по молодости и неопытности училась у него, но и потому, что мои герои — провинциалы, полуинтеллигенты поколения, выросшего в десятых и двадцатых годах, действительно говорили языком героев Зоценки, потому что все эти рабочие завода Рено, шоферы такси и другие, читали Зоценко каждую неделю в эмигрантской прессе, в двадцатых и тридцатых годах перепечатававшей каждый новый рассказ в парижских газетах, на радость своим читателям.

Когда я говорю о языке героев Зоценки, то это требует небольшого уточнения: язык был тот же на классовом уровне, на географическом, образовательном и бытовом, но эмигрантский язык этих лет имел одну характерную черту, которой язык Зоценко не имел: он впитывал в себя слова французские, переделывая их иногда на русский манер. Таким образом, язык героев “Биянкурских праздников” — более пестрый, менее унифицированный язык и, если в него вслушаться, имеет следующие элементы:

1. Старомодная, устаревшая речь чеховских и пред-чеховских времен, с частым употреблением имени-отчества, даже в том случае, когда люди бывали на “ты”; речь, обращенная к женщине всегда как к чему-то драгоценному и редкому, прекрасному и хрупкому; особый, полувзрослый говор детей. Выражения “благодарствуйте” и даже “мерси”. Язык, полный словечек, фразеологизмов и провинциализмов, не язык Бунина, Рахманинова, Дягилева и Ремизова, но язык южной России, людей, прошедших четыре класса гимназии, ускоренный выпуск военного училища.

2. Слова, подхваченные из советских газет или от случайных приезжих из Советской России — спец, шамать, баранка (автомобиля), которые могли врать в язык на родине, но могли и не удержаться в нем.

3. Слова, означающие нечто новое, небывшее до того, которые наспех были придуманы в редакциях русских газет при переводе с французского — понятия еще, может быть, не найденные, например — одномоторник

(про аэроплан, который только после второй мировой войны стал называться эмигрантами самолетом).

4. И, наконец — слова французского обихода, не переведенные на русский язык, вошедшие в речь: бистро (небольшое кафе, где больше пьют, чем едят) или комплэ вестон (пиджачная пара с жилеткой) и десятки других. Ни одной из этих четырех категорий я не злоупотребляла: они попадают тут и там в моих рассказах, но сознательно я их не культивировала.

Критика, а также литературные друзья, не раз говорили мне, что я постепенно отойду от этого (частично заимствованного) сказа, и чем скорее, тем лучше. И они оказались правы. Уже году в 1931-м я, параллельно с “Биянкурскими праздниками”, начала писать рассказы собственным голосом, отказавшись от рассказчика, а в 1934-м окончательно освободилась от него. Но на этом и кончились “Биянкурские праздники”: они без сказа существовать не могли. Начался другой период, может быть, менее социологически интересный, но несомненно художественно более зрелый, приведший меня к моим поздним рассказам сороковых и пятидесятих годов, в которых я уже полностью отвечаю и за иронию и за основную позицию автора-рассказчика целиком. И где герои — не люди, которых я наблюдаю внимательно и осторожно, но деклассированные интеллигенты, среди которых я жила и с которыми идентифицировалась.

Сейчас уже никого не осталось в мире из тех и других: средний возраст эмиграции в двадцатых и тридцатых годах был 20-40 лет, и могилы их могут быть осмотрены на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа, другом предместье Парижа, где “старым местом” называется аллея, где похоронены люди, умершие в сороковых и пятидесятих годах, а “новым” — необозримое пространство в правой стороне кладбища, где похоронены люди в шестидесятых и семидесятых. Те, кто еще живы в так называемых “старческих домах” (тоже эмигрантское языковое измышление), потеряли память или дар речи. Подпоручикам и мичманам царского времени восемьдесят и больше лет. И в церкви на улице Дарю можно по праздникам видеть человек тридцать. Это опять история и социология, и мне, может быть, удалось закрепить часть ее для будущего в ее трагикомическом, абсурдном и горьком аспекте.

АРГЕНТИНА

Милостивые государыни и милостивые государи, извиняюсь! Особенно — государыни, оттого что не все в моем рассказе будет одинаково возвышенно и благопристойно. С Иваном Павловичем случился истинный конфуз. Он так и сказал мне, уезжая: “Со мною, друг мой Гриша, у вас в Париже конфуз произошел”. Я на это ничего не ответил, только помялся немного: в его конфузе я слегка повинен был, да помахал платком, как у нас здесь принято, когда поезд тронулся.

Иван Павлович прибыл из провинции в позапрошлую пятницу, оставив на руках у компаньона, К.П.Бирилева, моряка и кролиководы, свое кроличье хозяйство. Целый год писал он мне, что не может больше обходиться без женского пола русского происхождения и что решил во что бы то ни стало жениться. “Друг мой Гриша, — писал он, — поймешь ли ты меня? Ты молод, ты живешь, можно сказать, в столице всех искусств, к услугам твоим, по причине удачной внешности, прелестные дамы. А я, мало сказать, что несу на себе унылый груз сорокапятилетнего возраста и волосом редок, но еще и погряз в разведении здешних кроликов, вдали от развлечений. Хозяйство наше в запустении, дом нечист и неуютен, костюмы наши с Бирилевым Константином подчас не зачищены, просто срам. С борщом труднее нам, чем иному в поле... Найди мне, Гриша, русскую невесту, чтобы не гнушалась нашей деревенской тишиной, чтобы была хозяйлива и не взыскательна к мужской красоте. Помни, что Бирилев Константин моложе меня и фигурой тоньше. Пойми, родной мой Гриша, что я единственный твой двоюродный дядя и что других родственников у тебя на свете нет”.

Подобные письма приходили не реже одного раза в месяц и всякий раз щипали меня за сердце довольно сильно. Картины сельской жизни неутешительно рисовались передо мной. Но что было делать? Иван Павлович заблуждался во многих пунктах на мой счастливый счет: живу я не в мировом центре, а рядом, в Бьянкуре; с утра до ночи гублю жизнь на заводе; знакомых барышень у меня немного, а какие есть, все метят на красивые должности (вроде как подавать в “Альпийской розе”), и предлагать им ехать за три часа от Парижа варить борщ, хотя бы и по любви, — самому позорить-

ся. А насчет починки костюмов как-то даже неловко их спрашивать.

И однако месяца три назад, в дождливый майский вечер, когда на душе стало вдруг грустно и одиноко, и захотелось дружеских взоров, отправился я к мадам Клаве, в отель “Каприз”, и во всем ей признался.

Мадам Клава полотенцем прикрыла голый манекен на ножке, попросила у меня папироску и задумалась.

— Может быть, — сказала она, склонив головку, — дядя ваш удовлетворился бы наемной работницей? Этим куда легче помочь. У меня, например, есть один знакомый, он сейчас без места, я могу его рекомендовать, потому что уж если кого нанимать, то, конечно, мужчину.

Тут скоро и кончился наш неудачный разговор. На прощание я поцеловал Клаве ручку.

Но вот однажды встречается меня мадам Клава в бакалейной лавочке, берет за рукав и просит вести себя в “Кабаре” для неотложной и секретной беседы.

Новость, сообщенная мне Клавой, была роковой для Ивана Павловича: из Эстонии прибыла в Париж партия семейных рабочих, стараниями наших комитетов отсылаемая не то на юг Франции, на сельскохозяйственные работы, не то в Канаду. Партию эту расселили пока что у одной из городских застав. В числе прибывших находился Клавочкин знакомый, некто Селиндрин, а при нем, кроме законной жены и троих детей, еще и сестра, девица девятнадцати лет, по имени Антонина Николаевна Селиндрина.

Вечером того же дня я написал письмо Ивану Павловичу, требуя его приезда. Я сообщил ему имя и возраст девицы и кратчайший способ добраться ко мне с вокзала, а когда в прошлую пятницу я вернулся с завода домой, Иван Павлович, сидя у окна, уже поджидал меня в моей комнатенке. Он тут же сообщил, что уже видел верхушку Эйфелевой башни, когда проезжали по мосту. За два года нашей горькой разлуки он посмуглел и поздоровел, а глаза его так и горели. Он, между прочим, привез с собой в узелке яиц и замечательный кроличий паштет. Веселью нашему в тот вечер конца не было.

На утро, проснувшись в постели рядом с Иваном Павловичем, я, каюсь, начал его разглядывать с точки зрения Антонины Ивановны

Селиндриной и должен признаться — он мне очень понравился. Борода его была черна и можно сказать — размеров великолепных; большой нос, несколько неправильной, но могучей формы, выдавал силу характера пополам с большой сердечной нежностью. Зубы Ивана Павловича (рот его был слегка раскрыт) были крепки и желты и придавали мужественное выражение спящему лицу. Одним словом, я легкомысленно представлял себе Ивана Павловича с цветком в петличке на ступеньках биянкурской мэрии об руку с Антониной Селиндриной... Заводской гудок выгнал меня из дому.

Решено было ехать знакомиться с Антониной Николаевной в воскресенье днем. Не буду распространяться о субботнем вечере: Иван Павлович говорил мало, мало ел, зато дышал часто и глубоко, особенно в парикмахерской у Бориса Гавриловича, куда мы отправились, пошамав, и где протомили нас до девятого часа (обыкновенная субботняя история!). Зато и благоухали же мы потом на всю нашу рю Насьональ, как заправские женихи!

В воскресенье утром Иван Павлович побывал у обедни. В половине второго дня, по ровной июльской погоде, вышли мы из дому в приподнятом духе и отправились в город. Трамваем нам предстояло ехать не менее получаса до заставы, где стояла с прошлой недели эстонская партия переселенцев. Тут Иван Павлович начал со мной разговор, который, видимо, с самого приезда лежал у него на сердце.

— Гриша, — сказал он мне, — как ты думаешь, могу я составить счастье женщины?

Я, не задумываясь, отвечал, что да.

— Гриша, — продолжал он, — скажи мне как перед богом: нет ли чего-нибудь отталкивающего в моей наружности? Или подозрительного в судьбе? Или юмористического в поведении?

Видя, что он ужасно волнуется и опасается предстоящего счастья, я от всей души начал его утешать.

— Иван Павлович, — сказал я как можно тверже, — вы превосходный человек, насколько я вас знаю, и если только вам понравится мадам Селиндрина, то, конечно, вы ее осчастливите, соединясь с нею. Подумайте сами: вы устроены, вы, в некотором роде, помещик, дела ваши процветают. Вы берете себе в жены девицу неимушую, сироту, лишнюю в семействе, девицу, которую, по всей вероятности, эксплуатируют и брат ее, и невестка, как меня,

например, эксплуатирует мосью Рено. Вы женитесь на ней, она обретает в жизни защитника и становится хозяйкой ваших владений. Что предстоит ей без вас? Русские переселенцы эстонской страны, тяжелый труд где-нибудь в Австралии или Канаде. Да вы, может быть, будущий оплот всей ее жизни, если только она придется вам по вкусу.

— По вкусу! — вскричал Иван Павлович с горькой усмешкой. — Ты, Гриша, счастливый человек, если не знаешь, что значит жить без женщины, без жены, когда никто вокруг тебя не щебечет, когда в доме пусто и сиротливо. Когда некому душу открыть.

Я подумал о мадам Клаве и смолчал.

Мы благополучно сошли с трамвая и зашагали к Порт-д-Итали.

Иван Павлович не шел, а летел, и я летел вслед за ним. Шляпа на нем сидела как нельзя лучше; синий костюм, бледного тона галстук с жучком в виде булавки и коричневые, совершенно новые башмаки, все было первого сорта. Однако, несмотря на этот шик, даже издали нельзя было принять Ивана Павловича за какого-нибудь беспринципного франта или развязного модника, нет: и фигура, и лицо его выражали глубокую задумчивость, сосредоточенность мысли на одном предмете. У самой заставы указали нам на длинный деревянный барак. Мы вошли во двор.

Нечего и говорить, что убогость, и бедность, и непонимание французского языка нашли мы тут в огромных размерах. Детский крик стоял в воздухе, не говоря уже о запахах; по-видимому, жизнь в бараках ничем не отличается от жизни в теплушках революционного времени — грязь и теснота те же; мужчины расквартированы отдельно от женщин. На женской половине стирали, стряпали, шлепали орущих детей. Словом, было чему подивиться.

Первая, кого мы увидели, была высокая черноволосяя девушка в черных чулках и ботинках на шнурках, в черном платке. Мы спросили ее, нельзя ли отыскать для нас Антонину Николаевну Селиндрину.

— Это я, — сказала она и поклонилась.

“Ах, подумал я, четыре сбоку, ваших нет! Вот приятная неожиданность”.

Иван Павлович приподнял шляпу.

— Позвольте представиться, — сказал он не без важности, — Кудрин, Иван Павлов. А это друг и племянник мой Гриша.

Антонина Николаевна поклонилась еще раз. Она была причесана на прямой пробор, темные брови дугами так и расходились по лбу, а под ними немного испуганно, но приятно смотрели глаза. Она не улыбнулась.

— Вы, вероятно, предупреждены о нашем визите? — спросил я, намекая на мадам Клаву. — Не пойти ли нам в ближайшее “Кабаре”, не выпить ли чаю немножко?

— Нет, — сказала она и покачала при этом головой, — мне отлучиться никак нельзя: дети слегка больны, меня могут позвать.

И остались мы втроем посреди того неприличного двора разговаривать.

— Я слышал, Антонина Николаевна, — сказал Иван Павлович довольно бойко, — вы намерены с семьей отправиться в Канаду? Неужели вас не пугает столь далекое путешествие? Правда, теперь некоторые смельчаки в сутки океан перелетают, но кораблем туда дней восемь езды, я полагаю?

Она печально посмотрела на Ивана Павловича.

— Нет, я не боюсь, — сказала она, — восемь так восемь.

— Не грустно вам было покинуть родные края?

Искорка промелькнула в ее глазах.

— Нет, мне было безразлично.

— Вас, вероятно, манит отчасти неизведанная даль?

— Как вы говорите?

— Я говорю: чужие края тоже могут вам прийтись по вкусу. На Эстонии, говорю, свет клином не сошелся.

— Да, конечно.

— Вот только работать вам там придется не по силам, знаем мы что такое Америка, там, говорят, всюду отчаянная фордизация.

— Работы я не боюсь.

— Ну конечно, особенно если вы с семьей едете, сообща значит работа будет.

Она вдруг покраснела, губы ее дрогнули. Я дернул Ивана Павловича за рукав.

— А как вам Франция нравится? Париж, например? Или — что там Париж! — французская провинция?

— Я не видела Парижа, — сказала она с усилием, — у меня не было времени осмотреть достопримечательности. Дети слегка больны. Когда я была в прогимназии...

Она запахнула платок на груди и умолкла.

— Антонина Николаевна, — сказал вдруг Иван Павлович, — вам кто-нибудь что-нибудь говорил обо мне?

— Говорила Клавдия Сергеевна, — сказала Антонина Николаевна с облегчением. — Говорила, что вы ищите...

— Помощницу, — вскричал Иван Павлович радостно. — У меня, видите ли, маленькое хозяйство, то есть у нас с Бирилевым Константином: кролики, глупые такие животные, скажу я вам, но плодятся, плодятся... И трудно, знаете ли, одним, трудно в хозяйстве и уныло, простите меня, на душе. А работа у нас не тяжелая, еда сытная. И доходы все наши на три части делить будем.

“За ваше здоровье!” — подумал я и отошел в сторону.

Антонина Николаевна стояла молча и брови ее слегка сдвинулись.

— Мне сорок пять годов, — продолжал Иван Павлович уже более степенно, — всего два года как мы затеяли дело, но идет оно недурно, можете справки навести, дело идет превосходно. Характером я не злой, ей-богу, хоть Гришу спросите. Да что говорить, вы еще поспеете меня узнать, а я вас уже и сейчас знаю: как увидел, так и узнал. Прошу вас, Антонина Николаевна, будьте моей женой.

Может быть, честный человек не стал бы смотреть на нее в эту минуту. Я смотрел. Я видел ее длинную черную юбку над вполне еще приличными башмаками, ее плечи, обтянутые старым платком. Рукава кофточки были ей коротки, узкие руки с пальцами в черных трещинках вылезали из них и прятались под платком.

Он выпалил это с поразительным прямодушием и двинулся к Антонине Николаевне. Она заметно побледнела.

— Благодарю вас, — прошептала она так тихо, что я едва слышал, — но я не могу быть вашей женой.

Иван Павлович остановился как вкопанный.

— Что так? Неужели противен? — спросил он испуганно.

Антонина Николаевна мотнула головой. Слезы блеснули у нее под загнутыми кверху и книзу ресницами.

— Произошло недоразумение, — прошептала она. — Я думала, вы пришли нанимать меня в работницы.

Иван Павлович не двигался. Она вдруг опустила голову, взглянула на пыльный, мощный камнем двор.

— Оскорбление это, если не объяснитесь, — произнес Иван Павлович неуверенно. — Как честный человек и солдат прошу вас... Гриша, отойди, дружок, подале.

Она побледнела, глаза ее заметались, губы она сжала.

— Оскорблять вас не могу. Простите меня. Меня опоили, обманули... я на третьем месяце.

Прошла длинная минута молчания.

— Произошло недоразумение, — повторила Антонина Николаевна, — и я прошу вас ничего не говорить Клавдии Сергеевне. Об этом никто не знает, кроме моей невестки и брата. Я думала, вы пришли нанимать меня в работницы.

Я не видел его лица, он стоял спиной ко мне, но я удивился, что он все стоит. Зато Антонина Николаевна менялась в лице и тербила платок на груди.

Наконец Иван Павлович дрогнул весь, опомнился.

— Вот как, — произнес он медленно. — Недоразумение. Нет, работницы мне не надо. Извиняюсь за беспокойство.

Он повернулся и пошел к воротам, и я отправился за ним. С улицы я не удержался и оглянулся: Селиндрина стояла и смотрела нам вслед.

— Опоили, обманули, — повторил Иван Павлович про себя. — Брат-то что смотрел? А не осталась в Эстонии — значит податься было некуда. Гриша, вот случай-то, а? Вот стыд-то!

Я не смел взглянуть на него.

— Это я во всем виноват, Иван Павлович, легкомыслие дурацкое губило. Вызвал вас в Париж, заставил потратиться, как идиот водил к парикмахеру вчера. Уж я мадам Клаве этого так не оставлю.

Озлился я в ту минуту сверх всякой меры.

— Молчи, Гриша, — говорил Иван Павлович, — я ей слово дал не рассказывать, и ты не смей. Ведь это ей позор. А ты представляешь, что она дома от невестки терпит?

И он вдруг сильнеешим образом покраснел.

Бес так и ходил во мне, и я не знал, каким мне средством успокоиться. Совестно мне было перед Иваном Павловичем, стыдно было взглянуть ему в глаза. Все старые Клавдины обиды припомнились мне тут же в трамвае. Антонина тоже давила на воображе-

ние. Приехав домой, Иван Павлович в одном нижнем белье сел к окну.

— Завтра уеду от тебя, Гриша, — сказал он. — Нечего больше мне у вас тут делать. Свалял дурака, пора возвращаться. А кто бы это мог ее таким образом загубить? Может быть, этой самой прогимназии учитель или просто так, какая-нибудь сволочь фабричная с гармоникой?

От этих слов слезы восхищения чуть не прыснули у меня из глаз: хоть бы он обругал меня, хоть бы обложил в сердцах! — мечталось мне. Хоть бы Антонину на должное место поставил.

— Бог с ней, Иван Павлович. Охота вам обо всякой распутной размышлять, только время теряете.

Он опять покраснел, весь насторожился.

— Ты что, в уме? Она-то распутная? Ты, брат, ничего в женщинах не понимаешь.

Без аппетита пообедал я в тот день, вернулся не поздно, Иван Павлович уже спал. Утром рано попрощались мы с ним, но когда я вечером вернулся, он был еще здесь, он сидел на моем стуле, он никуда в тот день не уехал.

— Прости меня, Гриша, — сказал он со смущением, — покину я тебя завтра. Сегодня еще придется тебе потесниться.

Я тогда увидел в нем неподобающую солидному человеку перемену: мысли его оказались в полном разброде. За обедом на этот раз потребовал он к казацким биткам водочки. А ночью несколько раз вставал (он спал с краю) и разговаривал сам с собой.

Утром во вторник мы опять простились. На прощание он сказал:

— А что, Гриша, по американским законам плохо ей придется, с ребенком-то?

Американских законов я не знаю, да он, как видно, и не ждал от меня ответа.

— Нет, ты мне вот что скажи: невестка-то пилит ее с утра до вечера? Ведь пилит?

— Даже наверное.

И опять он не уехал. Да что говорить! Сидел он в гостях у меня до самого четверга, когда вдруг пришла открытка от К.П.Бирлева с настойчивой просьбой вернуться.

Когда в четверг вечером пришел я домой (по дороге я встретил, но сделал вид, что не узнал, Клавку, хотя в чем была ее вина? Ведь

она, по словам той, ничего не знала), когда я вошел к себе и увидел Ивана Павловича в синем костюме с жучком, я догадался, что он принял решение. От городской атмосферы в моей комнате и недостатка здоровых движений он за эту неделю отчасти потерял яркие краски сельского жителя. Но сейчас энергия так и ходила в его глазах, и я вспомнил его желтые зубы, виденные однажды — признак большой мужественности.

— Гриша, вези меня, — сказал он мне просто. — Один я дорогу не найду. Пусть родит, я ребенка усыновлю, кроликов ему после себя оставляю. Не могу я этого дела бросить, все дни томился и душой и телом. Пусть переезжает ко мне, пусть пока живет — а там посмотрим. Очень у нее глаза оказались замечательными. А плечи худые какие, заметил ты? А платьице помнишь? Теперь, верно, таких платьев никто уж и не носит, пожалуй.

“Помню и глаза, и плечи, и платьице, — подумал я в ту минуту, — а все-таки никак этого не ожидал”.

Но Иван Павлович не дал мне опомниться. Он в радости своей затормозил меня так, что я, не переодевшись и не помывшись, оказался через пять минут на пути к Парижу. Он шел рядом в счастливой задумчивости, а я... бог весть чего только не передумал я в те минуты! Мысли так и летели мне навстречу, как голуби, душа парила в небе. Чуть смеркалось. Туман жаркого дня стоял над домами. Шли мы с Иваном Павловичем на край света, и я от удивления и восторга то и дело взглядывал на него.

В таких настроениях мы и в трамвае ехали, больше молча, так что люди могли подумать: каждый из нас едет в отдельности, и даже по разнице в костюмах наших вовсе никак не могли нас вместе связать. И это тоже веселило меня.

И вот подходим мы к заставе, видим барак. Вечер. Пыль. Пиво везут. На заборах афиши за это время сменили, новую драму расклеили. Подходим к бараку, входим во двор. Тихо. Окна и двери заперты. Берет Ивана Павловича страшок.

— Пойдем-ка, Гриша, — говорит, — в ближайшее быстро, спросим-ка бистрошника, что здесь за перемены произошли в наше отсутствие.

Пошли в быстро. Уехали, говорят нам муж-жена бистрошники, третьего дня увезли их всех в Аргентину, на плантации.

(Заботами, значит, наших комитетов).

Спрашиваем: может быть, не все уехали, не, так сказать, все без исключения? Может быть, хоть кто-нибудь остался, предчувствуя, что не будет ему в Аргентине счастья?

Отвечают: нет, никто ничего не предчувствовал, ничего об этом не слышали.

— Гриша, да что же это? Да как же это понять? — воскликнул Иван Павлович. Но воскликнул он это уже в пятницу, на следующий день. Тогда же, в четверг, он ничего не сказал ни мне, ни бистрошникам: вышел на улицу, опять, видит, пиво везут...

Это не в Аргентине ли все танец танго танцуют?

1929

ФОТОЖЕНИХ*

Герасим Гаврилович, брат всем известного Бориса Гавриловича, отец семейства, пехотинец и маневр, сидел на скамье посреди площади и крутил пальцами. Домой идти не хотелось — там у него тесно и обед на лишнюю персону не рассчитан. В ресторанчике у нас для него тоже тесновато, а главное — денег стоит. Вот и сидел брат нашего Бориса Гавриловича и, так сказать, бил баклуши.

Вечерело. Гуляли парочки. Не надо думать, что кавалер с барышней, этого у нас за отсутствием барышень не бывает. Просто гуляли маневры, и всё почему-то высокий с маленьким, обмахивались они от жары кто чем, папиросы курили, заходили в “Кабаре” и вспоминали минувшие дни и битвы где вместе рубились они.

А больше, по правде сказать, проходили в свою улицу обедать.

Сидит Герасим Гаврилович, крутит пальцами. В бакалейном магазине фонарь зажигается, пахнет оттуда соленым огурцом, леденцом и рыбкой. А на углу квасом торгуют, на другом — нищий фотограф околачивается. Словом — картина обычная.

И видит вдруг Герасим Гаврилович вечернюю французскую газету под скамейкой и поднимает ее, и пока еще светло читать, про-

* Фотогеничный — выразительный, обладающий свойствами, благоприятными для воспроизведения на фотографии или киноэкране (Ушаков). По французски — photogénique (фотоженик).

пускает он китайские события и прения депутатов, а также интересные лаун-теннисные состязания и прямо переходит к объявлениям. Надо заметить, что Герасим Гаврилович за семь лет французской жизни наловчился читать объявления различных предложений труда и даже полюбил это чтение. Часто ему их читать приходилось, но всё почему-то с незаметными для простого глаза результатами.

Безо всякой спешки, без всякого видимого волнения протыкает Герасим Гаврилович указательным пальцем газету, выдирает из нее лоскуток и сует в карман. И затем как ни в чем не бывало и даже несколько кисло переходит к прениям депутатов, покуда друзья-приятели, плотно покушав, не выходят из ресторанчиков и не наступает августовская ночь.

Много где видели фигуру Герасима Гавриловича: служил он на греческом пароходе, работал в шахте в Бельгии и на заводе в Крезе. Почему и как попал он к нам, мы не знали. Уважаемый брат его одно время хотел учить его своему искусству, но ничего не вышло: парикмахерского таланта у Герасима Гавриловича не оказалось. А жена его день-деньской с детьми мучилась.

— Неужели же ты, такой-сякой барон Распролентяев, — говорила она ему сердито, — никуда приткнуться не можешь? Неужели так-таки бог тебе никакого таланта не дал? И ты жизнь прожить собираешься безо всякой профессии?

— Почву из-под меня вынули, — говорил тогда Герасим Гаврилович, — ни пространства ваши, ни времена, ни климаты мне не подходят.

А Борис Гаврилович, энергичный брат его, произносил любимую свою речь о том, что каждому человеку необходимо познать себя. Ты, говорил он, распознай, куда тебя гнет, об этом еще древние греки напоминали, расчухай наперед, в чем твои способности: в шахте ли работать или парикмахерскому искусству служить. А то в наше время пропадешь без специальности. Знаем мы этих, которым все позволено! С объявлением в кармане вышел Герасим Гаврилович назавтра рано поутру из дому и направился в контору анонимного кинематографического общества. Анонимность этого общества немного смущала его, но он решил махнуть на это рукой.

Контора помещалась в просторном павильоне; за дощатой перегородкой было шумно, шла работа, слышалась трескотня, чей-то

голос кричал грубо, никого не стесняясь. Здесь же за столом сидел человек злорадной внешности, а перед ним, молча и тоскливо, толклись, как барашки, пришедшие наниматься в фигуранты — фигурировать толпой или по несколько человек — в новой кинематографической драме.

Барышни тут были модные, совсем безбровые (была одна густобровая, но та, как выяснилось, мечтала о комической роли). Безбровые барышни щеголяли браслетками, сережками, цветными пахучими карандашиками. Было два разбойника и один генерал, все трое в потертых пиджаках и держались вместе. Была золотая молодежь с нахальными галстучками; пока что молодежь перемигивалась с барышнями. Начальник конторы обращался со всей этой отарой по-свойски: чуть голову поднимет — и уже видит, годен ты или нет.

Подошел к столу и Герасим Гаврилович.

— Фрак имете? — спрашивает начальник. — В футбол играете? Менует танцуете?

Герасим Гаврилович поворачивается уходить.

— Стойте, — кричит начальник. — Вы пригодиться можете! Мосью (имярек) вас посмотреть должен.

Боже мой, с какой завистью посмотрели на Герасима Гавриловича безбровые барышни! Их всех тут же выпроводили, да и золотую молодежь вместе с ними. Оставили из всей компании одного разбойника, так что вдвоем с разбойником и просидел Герасим Гаврилович часа полтора в ожидании важных решений.

Мосью (имярек) в тысячной фуфайке, потный, худенький, красивый прибежал, курая сразу две папиросы (чтобы крепче было) и играя складным аршином. Он не обратил на Герасима Гавриловича никакого внимания, пока не отыскал в ящике конторского стола большое яблоко и пока тут же его не съел. Затем он кинулся в кресло (из которого по этому случаю столбом встала пыль) и велел Герасиму Гавриловичу и разбойнику погулять перед ним так, как если бы они гуляли по мосту и любовались на реку. Не спросив ни про фрак, ни про менует, он повел обоих за перегородку.

Под высокой крышей павильона громоздился завидной величины испанский город. Несколько испанских кавалеров, позевывая, освежались бутербродами. Испанский ребенок весь в краске жался к матери, уж никак не испанке. Это был перерыв. Две лестницы

вели под потолок. Там, расставив ноги, кто-то качался, должно быть заведующий освещением, а может быть и акробат. Два маляра, высокий и маленький, не спеша прогуливались. Курить здесь не полагалось.

— Герасим Гаврилович, вы ли это? — воскликнул один маляр. — Голубчик, не узнаете? Я вас на пароходе знал, я вас в Крезо... Конотешенку забыли?

Герасим Гаврилович пошел обниматься.

— Вы что, работу ищете? Маляром? Плотником?

Герасим Гаврилович застыдился.

— Актером по объявлению. Жду начальства для решительного ответа.

Конотешенко, маляр, ужасно обрадовался.

— Да вас, верно, пробовать будут, чтобы узнать, фотожених вы или не фотожених. Вот вам счастье, Герасим Гаврилович: другие сюда неделями шляются, пока не поставят их стенку подпирать за двадцать два франчка в сутки, а вам видно рольку хотят дать. Вот и у вас будет наконец специальность. А правда, внешность ваша сильно подходящая, как вы раньше не догадались?

Тут необходимо заметить, что внешность Герасима Гавриловича совсем не та, что у Бориса Гавриловича: как всем известно, рост Бориса Гавриловича небольшой, Герасим же ростом очень длинен. Волосы Борис Гаврилович профессионально мажет вазелином, у Герасима они стоят клочьями над ушами; и носы у них тоже разные — у одного он сделан из хлебной корки, а у другого из свежего мякиша.

Присел Герасим Гаврилович в павильоне на лавочку, заслушавшись Конотешенку. Неужели правда жизненный путь привел его к настоящей деятельности? Четыре сбоку, ваших нет! Неужели он открыл самого себя, как указывали греки? Неужели и время, и пространство, и климат подойдут ему наконец?

Еще часа полтора прождал Герасим Гаврилович бок о бок с разбойником. Испанские кавалеры пошли на биллиарде играть. Ребеночка увели. Что за перегородками делалось, было неизвестно. Скука собралась было погубить Герасима Гавриловича, как вдруг велели ему и разбойнику встать.

От помады и краски на лице стало его слегка подташнивать. Навели ему брови, скрестили над носом. Идите к аппаратам, говорят, будет вам первая проба.

— Не смотрите, — кричат, — в аппарат! Не смотрите, — кричат, — в лампы!

Четыре сбоку, куда же смотреть? В фонарь — ослепнешь, в аппарат — чего доброго скажут: не фотожених.

— Смотрите в подставку, выберите себе какой-нибудь безобидный гвоздик и сверлите его!

(Выбрать-то выберешь, а ну как его возьмут отсюда да и унесут с подставкой вместе?)

Пошло! Колесики вертятся, свет шипит, заведующий освещением тут как тут, начальник в тысячной фуфайке покривается:

— Туды! Сюды! Комса! Еще! Анфас! Пошли!

Тьфу ты черт! Конотешенко из глаз скрылся.

А рядом с Герасимом Гавриловичем, чтобы расходов меньше, разбойник тоже вертит-крутит бровастой рожей и к команде прислушивается.

За ответом велели явиться через три дня, заботу о снятии вазелина с лица от себя отклонили. Вернулся Герасим Гаврилович домой в три часа пополудни. На улицах никого, завод гудит. В “Кабаре” пусто. У Бориса Гавриловича в парикмахерской послеобеденный отдых: дама завивается.

И думал Герасим Гаврилович о том, что если выпадет ему такая звезда на шею, что окажется он фотожених, вся жизнь его пойдет по-новому. Денег будет хватать. Будет он сниматься — знакомым карточки дарить. Жена начнет кое-чему в жизни радоваться. Борису Гавриловичу утрет он нос, своему знаменитому братцу. Настанет день и съест он вдруг что-нибудь вкусное или штаны новые купит. Не каждому в жизни счастье, не каждый — фотожених. Вот Конотешенко, уж какие, кажется, знакомства в анонимном обществе, а и тот не артист. Если выпадет Герасиму Гавриловичу такой счастливый орден, значит определилась в этом мире его судьба, нелегкая судьба пехотинца и маневра.

Долго ходил-бродил он в тот день по улицам. На завод раздумал возвращаться: странно как-то актеру на завод идти. Домой он вернулся под вечер. На дворе китайцы друг друга водой поливали,

у богатых жильцов граммофон наяривал модный танец, и собственные его, Герасима Гавриловича, дети на всю лестницу шумели.

Умылся Герасим Гаврилович, испачкал полотенце. Жена, пригорюнившись, сидела у кухонного стола.

— Мне бы с тобой окончательно поговорить надо, — сказала она ему как-то даже ласково. — Не найдется ли у тебя свободных полчаса? И можешь ли ты еще логически мыслить?

Он заулыбался, попросил обождать три дня и снова вышел из дому. Это был тот самый час, когда над бакалейным магазином фонарь зажигается, когда вкусно пахнет биточками из открытых дверей ресторанчиков, когда, наконец, и неугомонный Борис Гаврилович запирает свои двери, запирает ставни, но работу не прекращает: с заднего хода он принимает известных ему клиентов. А с улицы легонько пахнет скрытой парфюмерией, виден в шелку розовый свет, да если приложить к ставням ухо, слышно цык-цык-цык, как цыкают легкие, длинные ножницы.

Стоял Герасим Гаврилович и слушал это цыканье, и хватало оно его за душу, словно трубная музыка. На улице было темно, пусто и безрадостно. Он думал о себе, о жизни своей, вредной и безалаберной, о тяжелом времени, чужом климате и о законе географического пространства, по милости которого лишился он, собственно, своей законной почвы. А ножницы тихонько цыкали за ставнями, и продолжало пахнуть вокруг пылью и парфюмерией.

Три дня прошли. Герасим Гаврилович то лежал на кровати, то шлялся по улицам. Денег признали в счет будущего. Жена плакать перестала. Трое маленьких детей в школу собрались идти — самый возраст им делаться грамотными людьми.

Наступил Герасиму Гавриловичу срок возвращаться в анонимное общество.

Все по-прежнему под высокой крышей, только душнее немножко. Разбойник уже дожидается своей участи, сидит. Присел и Герасим Гаврилович. И видит: непонятные какие-то аппараты стоят и люди ходят, озабоченные и тоже непонятные, а лампы горят всё какие-то скучные. Конотешенки не видать. И стал он размышлять о своем близком будущем: что за роли придется играть, может быть, какие-нибудь совсем маленькие? Может быть, придется личности изображать какие-нибудь неуважительные? Может, ему начнут замечания делать, грубо ругать? Или испортит он ненаро-

ком своей физиономией пластинку и потащат его в суд убытки платить?

Как-то тоскливо становилось у него на душе в ожидании часа. Рядом разбойник сжимал кулаки и губу закусывал, разбойнику не сиделось. Томился Герасим Гаврилович, даже спать неожиданно захотелось.

Через сколько-то времени вышло начальство.

— Вы, — говорит разбойнику, — можете идти на все четыре стороны: в вас мы не нуждаемся. А вы, — Герасиму Гавриловичу, — действительно фотожених. Ничего против этого не возражаем.

Кровью налились глаза разбойника и пошел он прочь. А Герасим Гаврилович остался стоять посреди павильона. Вышел кое-кто на него посмотреть, тысячная фуфайка в глазах замелькала.

— Идите, — говорят, — гримироваться, через полчаса съемки, покажем вам, что делать.

Стали Герасима Гавриловича красить, брови скрещивать. Не пристаёт к нему нынче уголь, намучился гримировщик. Пришел Ковотешенко, робко со стороны на друга посматривает.

— Выпал вам жребий, — шепчет он, — Герасим Гаврилович, старайтесь! Вас потом в Испанию повезут, за сто франчков в сутки, на всем готовом. О вашей необыкновенной внешности разговор вчера у начальства был.

Надели на Герасима Гавриловича лохмотья, вывели. Стало ему не по себе. Зачем, думает, тогда о фраке спрашивать было?

И вот выходит из невидимых дверей испаночка, роняет кошелек. Кошелек бисерный, вязаный, черт его знает, что в нем! Стоит Герасим Гаврилович, как пень, двинуться не может. А ему надо этот кошелек поднять и на груди спрятать и осторожно ступать, как ни в чем не бывало.

— Подымите, — кричат ему, — раз вы фотожених. Дело за малым, главное вам бог послал (или что-то в этом роде).

Стоит Герасим Гаврилович, смотрит на кошелек. Берет его сомнение, робость охватывает. И то, что у всех на виду пройтись надо, и то, что кошелек чужой — все его смущает.

Фуфайка ему повторяет:

— Вам сегодня выходит чужой кошелек поднять. Оброненный кошелек, с золотом. И предстоит вам его себе на грудь сунуть. У вас подходящее для этого выражение лица.

Смеется испаночка, и люди смеются, но кое-кто сердиться начинает.

Решился Герасим Гаврилович. Поднял кошелек и пошел отдавать его фуфайке. И видит: стоит сбоку Конотешенко, и стыдно Конотешенке.

— Вам, — говорит, — жребий выпал.

Объяснили в третий раз, отмерили шаги. Опять пошла испаночка кошелек ронять.

Бросился Герасим Гаврилович за ней, схватил кошелек с полу, и ей в руку сует. Аппаратчики даже выругались французским словом, на свое терпение перестали надеяться.

Не бывать Герасиму Гавриловичу артистом.

— Разгритмируйте, — говорят, этого фотожениха. — Ну его к лешему!

Испаночка на него смотрит с сочувствием:

— Может быть, ему попробовать гранда сыграть? Он мне нравится.

До гранда ли тут! Пошел Герасим Гаврилович снимать с себя испанские лохмотья, стирать с бровей сажу. Вздумал было перед уходом Конотешенку поискать, да тот скрылся куда-то.

Никто ему вслед не посмотрел, никто на него не оглянулся. Так и отправился он, не попав в ногу с веком, от тех мест домой. Хладнокровно пошел он, вечернюю французскую газету купил по дороге — опять объявления читать. Припомнились ему кое-какие прежние победы на житейском фронте, да уж очень давнишние, о них распространяться не стоит.

В тот день ближе к ночи я его встретил.

— Что, Герасим Гаврилович, как дела? Как с мосью Рено личные ваши отношения?

— Прерваны отношения.

— Как здоровье вообще и в частности?

— Глаза болят третий день, режет мне глаза дневное освещение.

— Что так?

Тут он мне все и рассказал.

— Как, — говорит, — Гриша, слышал ты нечто подобное? Или, может, в газетах читал?

Я подумал с минуту. Говорю:

— И не слышал, и не читал. В газетах теперь все больше, наоборот, про выдающиеся подбородки пишут, про то, как люди жизнь достигают. А про вас, боюсь, никто, пожалуй, и читать не станет.

И никакой жалости не почувствовал я в тот момент. Жалость мы вместе с багажом тогда в Севастополе оставили.

1929

БИЯНКУРСКАЯ СКРИПКА

Он все тот же.

И все-таки пришлось ему измениться немножко. Случилось это потому, что в нем нет ни памятников, ни фонтанов, ни колоколен, ни каких-нибудь этаких фронтонов, на которых, так сказать, держится всякий обыкновенный город, выстроенный для вечности. Вместо всего этого — бакалейная лавка, польский трактир (в помещении бывшей церкви), ночное заведение, парикмахерская, да заводские ворота, поперек которых в рабочие часы опускается шлагбаум с красным огоньком, точно в каком-нибудь далеком путешествии. На этом городе не уцелеть.

Правда, есть еще четыре трубы, на которых, как было когда-то кем-то сказано, держится наше биянкурское небо. Они, если так можно выразиться, в городе нашем вместо колонн. Но разве могут они спасти дело и уберечь город от погоды и времени? Нет, они не спасают дела.

Погода туманная и черная; здесь всегда осень, если только не зной. Время идет и все меняется. Три года ушло — и это для бакалейной торговли Козлобабина, для парикмахерской Бориса Гавриловича, для постояльцев отеля “Каприз”, для клиентов ночного кабаре (где, между прочим, сильно пополнил хозяин) — все равно что для кариатиды какой-нибудь или для конной статуи три тысячи лет. Три года ушло... Была тогда гармоника в поперечной улице, Шурочка стучала там каблучками, счастливый пьяный голос разносил по Национальной площади “Мариупольского приказчика”, в полдень сельдью шла толпа от мартенов и свистящих трансмиссий, от всего этого заводского ада, куда глаза глядят: закусывать, перекусывать, замаривать червяка. Это была жизнь. Биянкур слезам

не верил. За правильное существование, за свое место в мире платили мировому равновесию работой, трудом, пахнувшим потом, чесноком и спиртом трудом. Это была жизнь. Но с тех пор поколебалось в ней что-то, как будто мировое равновесие дрогнуло, в этом не может быть никакого сомнения, особенно если принять во внимание, что Миша Сергеич идет по улице не очень твердой походкой, идет и несет в руках скрипку.

Что-то поколебалось. И тому, у кого был расчет на людей, стало поплоче, а тому, у кого был расчет на божью милость, тем, как всегда, ничего. Зато третьим, уповающим на самих себя, на четыре своих конечности и мозжечок, тем, может быть, стало лучше. Во всяком случае — Миша Сергеич шел по улице со своей скрипкой.

У кого был расчет на людей, тем стало неважно, когда люди, уволенные с работы, метнулись к Парижу или затихли у себя, вдруг перестав нуждаться и в венерологе де Гуревиче, и в зубном враче Сосе, и в ходатае по делам Гнутикове, давно уже выбравшим между вечностью и куриным бульоном куриный бульон, а теперь бегающим по всякой погоде в войлочных туфлях через улицу за табачищем. В один прекрасный дождливый день закрылась парикмахерская Бориса Гавриловича и вскоре появились над дверью развешенные галантерейные товары: теплые кальсоны, фуфайки и передники. На месте ресторана Абдулаева, где в окне всегда лежали вялые мясные туши, засыпанные петрушкой, открылась сапожная мастерская, и подметками вверх лежат теперь башмаки. Там, где был кабак, помещается прачешная, на месте пустыря, неподалеку от “Лунного света”, где, между прочим, тоже сильно поправился хозяин, — на месте того самого пустыря, где однажды нашли мертвое тело, стоит ныне доходный дом, пустой, сквозной. Не до доходов.

Да, пришлось ему измениться слегка, чем он лучше нас с вами? Объясняет это наша газета мировым кризисом. Где он произошел, где начал свой расцвет, неизвестно. Может быть, в Америке. Но это только догадка. Но не меняются некоторые вещи, к примеру — наша небьющаяся биянкурская луна или деревянная голова ярмарочного уroda, в который бьют, проверяя свою силу. Но в существе своем разве может стать иной случайная родимая наша глухомань? В существе своем она все та же. И пусть думают, что, мол, и то, и

это, и Биянкуру приходит конец. Биянкуру конца-края нет и не будет.

Миша Сергеич был роста небольшого и именно поэтому, а не почему-либо другому Соня сомневалась столько лет. “Господи, — всегда думала она, — и почему он такого роста? И может быть, я еще встречу такого же симпатичного, но высокого человека. Ведь он мне абсолютно буквально до плеча”. Она жила в Париже, у нее был миллион иллюзий, а он жил в Биянкуре, и у него был миллион терзаний. И месяцев восемь они не виделись, когда она вдруг приехала к нему.

Он пришел домой со скрипкой, и ему сказали внизу, что в комнате у него сидит дама. Дамы к нему не ходили, и он обеспокоился: не жена ли это к нему приехала, с которой он не виделся двенадцать лет? Они расстались в Африке. Оказывается, это была Соня. Худая, бледная, в чем-то нарядном и рваном, она сидела у него на диване.

— Вот так история! — сказал Миша Сергеич, от радости не понимая, что говорит.

— История впереди, — сказала Соня, очень волнуясь, — историю я вам сейчас расскажу.

Он сел на стул, поставив на стол два стакана и бутылку красного вина, ледяного и кислого. “Алло, алло, — сказал он, — я вас слушаю”.

— Говорит Париж, — ответила она, смахивая слезу с ресницы и стараясь, чтобы голос не дрожал. — Я вот уже с лета без места.

Это была история коротенькая, смешная, но с грустным концом. Из продавщиц Соня весной пошла в горничные, в первые горничные, конечно, одевала барыню (барыня, оказалось, была когда-то русской), подавала к столу, содержала в чистоте серебро и простирывала время от времени шелковые чулочки. Потом барин деньги проиграл и все в доме описали. Выходные ей заплатили ковриком и тюлем с окна в столовой. В сентябре осталась она вот так. А сейчас декабрь.

Миша Сергеич предложил ей выпить вина, но она отказалась. Тогда он выпил сам. Помолчав немного, он спросил, умеет ли она петь. Она сказала, что смотря что, и он стал слушать дальше.

Но дальше рассказывать она не захотела. Именно про эти три месяца она не захотела говорить. Она спросила:

— Вы теперь завтракать домой не возвращаетесь? И почему сейчас четыре часа, а вы не на заводе?

— Я переменял профессию, — сказал он, — и в завтрак самая горячая моя работа.

Она смотрела на него длинным, вопросительным взглядом, потом перевела глаза на скрипку, выкрашенную в слишком яркий цвет.

— Вы ходите по дворам? — спросила она.

— Да, я хожу по дворам.

Тут она вынула платок и заплакала.

Плакала она долго, и он не утешал ее, ничего не говорил ей веселого, не пытался сыграть ей бойкий фокстрот или марш “Тоска по родине”. И даже выпить не предложил. Молча сидел он и смотрел на ее длинные ноги, на руки, закрывшие лицо, на сверток, который в сгустившихся сумерках казался больше, чем был на самом деле. Когда она выплакалась, он встал, подошел к окну. Пустая площадь, забор, булочная на углу. Все это он уже видел.

— Как исхудали ваши ручки, — сказал он вдруг, — как исхудали ваши ножки.

Если бы кто-нибудь третий слышал это, ему наверное показалось бы, что эти слова лишние. В особенности о ножках. Но они были вдвоем, и он сказал еще:

— Это все временное. Будет иначе. Мы придумаем. А пока я схожу, куплю чего-нибудь. Будем чай пить.

А на улице была настоящая ночь, какая бывает только днем в декабре, задолго до вечера. Там, налево, стыла река с никому не нужной в это время года набережной, здесь, на площади, возле освещенной колбасной, стоял извечный пропащий человек и смотрел на колбасу. По случаю Нового года изукрашенное окно кондитерской сияло фольговой звездой, золотой и серебряной канителью, а под фонарем стоял сажённый детина, предлагая прохожим склеротические розы, цветы на полпути между теплицей и помойкой, схваченные поутру морозом. Они раскупались по случаю праздника, по случаю фольговой звезды и по случаю дешевого шипучего.

В комнате было темно и Мише Сергеичу представилось, что Соня нет: при свете, однако, оказалось, что она сидит там же, где сидела. И он понял, что ведь убежал он для того, чтобы дать ей возможность уйти без объяснений, если что не так. Но она не ушла,

и сверток ее был на месте. Он стал хлопотать с чайником и спиртовкой, красиво выложив на бумажке сыр, ветчину и хлеб. Соня ела. Он сел напротив, он был так счастлив, что ему захотелось объяснить ей одну теорию, но он не знал, как начать.

— И давно это вы ходите? — спросила она.

— С полгода.

— Что же вы играете?

— Классический репертуар. И военные марши. Иногда что-нибудь легкое. Тут есть цыган один, он с гитарой, романсы поет. Мы друг другу не мешаем.

— Вы всегда умели играть на скрипке?

— О, да! — Ему захотелось ей рассказать, как в Питере, когда он был студентом в психоневрологическом, у них был свой оркестр, но решил, что расскажет когда-нибудь после.

Долго он смотрел на нее, не зная, взять ее за руку или нет.

— Теория у меня такая, — наконец сказал он и положил свою руку на ее, — боже, как исхудали ваши пальчики! — Соня дрогнула, но не двинулась. — Теория такая: на эту землю мы уже не вернемся... Ах боже мой, не плачьте, я же говорю вам веселое! На эту землю мы не вернемся, а другую мы не знаем, и вряд ли узнаем. Из этого приходится исходить.

Две слезы капнули на ветчину из Сониных глаз.

— Вы вдумайтесь в то, что я говорю. Это очень важно.

Она кивнула головой.

— И если вы отдохнете немножко... впрочем, об этом потом.

Она молча и задумчиво смотрела на него. Он подвинулся к ней.

— Я могу переменить репертуар.

Она молчала.

— Я могу перейти на романсы. Если вы согласитесь петь. Это совсем не страшно. И, знаете, я уверен, что это только временно.

Она кивнула головой и улыбнулась.

— Я сейчас, когда шел с площади, видел, как двое катят лоток, муж и жена, со всякой дрянью лоток, они у завода вечером торгуют. Так, знаете, дружно его катят, руками схватились прочно, цепко, как в друг друга.

— Нам не позволят.

— Тогда мы что-нибудь другое выдумаем.

Она смотрела на него долго, и он почувствовал, что она смотрит нежно, что она в первый раз в жизни смотрит на него нежно.

— А не холодно? — спросила она тихо.

— Иногда холодно, но вместе теплее.

Она думала о чем-то довольно долго и вдруг улыбнулась.

— Я так намыкалась за последние недели. Абсолютно. Буквально.

— Вы мне все расскажете.

— Может быть.

И он понял, что она осталась с ним. И что вот это — начало их жизни.

А против шлагбаума с красным огнем уже горели фонари. И вот подняли его, и люди потекли наружу. Заиграл граммофон в том кафе, где собирались ярмарочные карлики и женщина с бородой, согреться кто чем у цинковой стойки. В половине девятого на площади должно было начаться представление.

Там протянули канат, чтобы отгородить сцену от публики, в центре постелили на булыжники истертый ковер, разложили гири для размалеванного атлета, цирковой дурак прогуливал ученых собачек. Народ начнет собираться с восьми часов. И пользуясь тем, что народу будет ждать скучно, друг Миши Сергеяча пришел со своей гитарой, сел на ящик, и цыганским своим голосом запел:

У меня есть усики,

У Маруси — косыньки.

Наша жизнь пройдет напрасно:

По одной полосыньке.

У меня есть усики,

У нее — волосики.

Наша жизнь пройдет бесцельно:

Прогремят колесики, —

и уже собирал деньги в шапку.

Иосиф Бродский**ИЗ КНИГИ “ПЕЙЗАЖ С НАВОДНЕНИЕМ”*****БЕГСТВО В ЕГИПЕТ (2)**

В пещере (какой ни на есть, а кров!
Надежней суммы прямых углов!)
в пещере им было тепло втроем;
пахло соломою и тряпьём.

Соломенною была постель.
Снаружи молола песок метель.
И, вспоминая ее помол,
спросонья ворочались мул и вол.

Мария молилась; костер гудел.
Иосиф, насупясь, в огонь глядел.
Младенец, будучи слишком мал
чтоб делать что-то еще, дремал.

Еще один день позади — с его
тревогами, страхами; с “о-го-го”
Ирода, выславшего войска;
и ближе еще на один — века.

Спокойно им было в ту ночь втроем.
Дым устремлялся в дверной проём,
чтоб не тревожить их. Только мул
во сне (или вол) тяжело вздохнул.

* Ставший последним сборник Иосифа Бродского объединил стихи, написанные после “Урании” (1987) вплоть до января 1996 года. (См. объявление на стр. 72).

Звезда глядела через порог.
Единственным среди них, кто мог
знать, что взгляд ее означал,
был младенец; но он молчал.
Декабрь 1995

* * *

О если бы птицы пели и облака сучали,
и око могло различать, становясь синей,
звонкую трель преследуя, дверь с ключами
и тех, кого больше нету нигде, за ней.

А так — меняются комнаты, кресла, стулья.
И всюду по стенам — то в рамке, то так — цветы.
И если бывает на свете пчела без улья
с лишней пылью на лапках, то это ты.

О если б прозрачные вещи в густой лазури
умели свою незримость держать в узде
и скопом однажды сгуститься — в звезду, в слезу ли —
в другом конце стратосферы, потом — везде.

Но, видимо, воздух — только сырье для кружев,
распятых на пяльцах в парке, где пасся царь.
И статуй стынут, хотя на дворе — бесстужев,
казненный потом декабрист, и настал январь.
1994

В РАЗГАР ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ

Кто там сидит у окна на зеленом стуле?
Платье его в беспорядке и в мыслях — сажа.
В глазах цвета бесцельной пули —
готовность к любой перемене в судьбе пейзажа.

Всюду — жертвы барометра. Не дожидаясь залпа,
царства рушатся сами; красное на исходе.
Мы все теперь за границей, и если завтра
война, я куплю бескозырку, чтоб не служить в пехоте.

Мы знаем, что мы на севере. За полночь гроздь рябины
озаряет наличник осиротевшей дачи.
И пусть вы — трижды Гирей, но лицо рабыни,
взявшись ее покрыть, не разглядеть иначе.

И постоянно накрапывает, точно природа мозгу
хочет что-то сообщить; но, чтоб не портить крови,
шепчет на местном наречьи. А ежели это — Морзе,
кто его расшифрует, если не шифер кровли?
1994

К ПЕРЕГОВОРАМ В КАБУЛЕ

Жестоковейные горные племена!
Всё меню — баранина и конина.
Бороды и ковры, гортанные имена,
глаза, отродясь не выдавшие ни моря, ни пианино.
Знаменитые профилями, кольцами из рыжья,
сросшейся переносицей и выстрелом из ружья
за неимением адреса, не говоря — конверта,
защищенные только спиной от ветра,
живущие в кишлаках, прячущихся в горах,
прячущихся в облаках, точно в чалму — Аллах,

видно, пора и вам, абрэкам и хазбулатам,
как следует разложиться, проститься с родным халатом,
выйти из сакли, приобрести валюту,
чтоб жизнь в разреженном воздухе с близостью к абсолюту
разбавить изрядной порцией бледнолицых
в тоже многоэтажных, полных огня столицах,
где можно сесть в мерседес и на ровном месте
забыть мгновенно о кровной мести

и где прозрачная вещь, с бедра
сползающая, и есть чадра.

И вообще, ибрагимы, горы — от Арарата
до Эвереста — есть пища фотоаппарата,
и для снежного пика, включая синий
воздух, лучшее место — в витринах авиалиний.
Деталь не должна впадать в зависимость от пейзажа!
Все идет псу под хвост, и пейзаж — туда же,
где всюду лифчики, и законность.
Там лучше, чем там где владыка — конус
и погладить нечего, кроме шейки
приклада, грубой ладонью, шейхи.

Орел парит в эмпиреях разглядывая с укором
зменяю подпись под договором
между вами, козлами, воспитанными в Исламе,
и прикинутыми в сплошной габардин послами,
ухмыляющимися в объектив ехидно.
И больше нет ничего. Нет ничего. Не видно
ничего. Ничего не видно, кроме
того что нет ничего. Благодаря трахоме
или же глазу, что вырвал заклятый враг.
И ничего не видно. Мрак.
1992

* * *

Л.С.

Осень — хорошее время года, если вы не ботаник,
если, ботвинник паркета, ищет ничью ботинок.
У тротуара явно ее оттенок,
и всюду деревья как руки, оставшиеся от денег.

В небе без птиц легко угадать победу
собственных слов типа “прости”, “не буду”.
Точно считавшееся чувством вины и модой
на темно-серое стало в конце погодой.

Нам станет лучше, когда мелкий дождь зарядит,
потому что больше уже ничего не будет.
И еще позавидуют многие, сил избытком
пьяные, воспоминаньям и бывшим душевным пыткам.

Остановись, мгновенье, когда замирает рыба
в озерах, когда достает природа из гардероба
со вздохом мятую вещь и обводит оком
место побитое молью, со штопкой окон.
1995

ПОСВЯЩАЕТСЯ ПИРАНЕЗИ

Не то — лунный кратер, не то — колизей; не то —
где-то в горах. И человек в пальто
беседует с человеком, сжимающим в пальцах посох.
Неподалеку собачка ищет пожрать в отбросах.

Неважно, о чем они говорят. Видать,
о возвышенном; о таких предметах как благодать
и стремление к истине. Об этом неодолимом
чувстве вполне естественно беседовать с пилигримом.

Скалы — или остатки былых колонн —
покрыты дикой растительностью. И наклон
головы пилигрима свидетельствует об известной
примиренности — с миром вообще и с местной

фауной в частности. “Да”, говорит его
поза, “мне все равно, если колется. Ничего
страшного в этом нет. Колкость — одно из многих
свойств, присущих поверхности. Взять хоть четвероногих:

их она не смущает; и нас не должна, зане
ног у нас вдвое меньше. Может быть, на Луне
все обстоит иначе. Но здесь, где обычно с прошлым
смешано настоящее, колкость дает подошвам

— и босиком особенно — почувствовать, так сказать, разницу. В принципе, осязать можно лишь настоящее — естественно, приспособив к этому эпидерму. И я отрицаю обувь”.

Все-таки, это — в горах. Или же — посреди древних руин. И руки, скрещенные на груди того, что в пальто, подчеркивают, насколько он неподвижен. “Да”, гласит его поза, “в принципе, кровли хижин

смахивают силуэтом на очертанья гор. Это, конечно, не к чести хижин и не в укор горным вершинам, но подтверждает склонность природы к простой геометрии. То есть, освоив конус,

она чуть-чуть увлеклась. И горы издалека схожи с крестьянским жилищем, с хижинной батрака вблизи. Не нужно быть сильно пьяным, чтоб обнаружить сходство временного с постоянным

и настоящего с прошлым. Тем более — при ходьбе. И если вы — пилигрим, вы знаете, что судьбе угодней, чтоб человек себя полагал слугою оставшегося за спиной, чем гравия под ногою

и марева впереди. Мареву впереди представляется будущим и говорит “иди ко мне”. Но по мере вашего к мареву приближенья, оно обретает, редея, знакомое выраженья

прошлого: те же склоны, те же пучки травы. Поэтому я обут”. “Но так и возникли вы, — не соглашается с ним пилигрим. — Забавно, что вы так выражаетесь. Ибо совсем недавно

вы были лишь точкой в мареве, потом разрослись в пятно”. “Ах, мы всего лишь два прошлых. Два прошлых дают одно

настоящее. И это, замечу, в лучшем случае. В худшем — мы не получим

даже и этого. В худшем случае, карандаш или игла художника изобразят пейзаж без нас. Очарованный дымкой, далью, глаз художника вправе вообще пренебречь деталью

— то есть, моим и вашим существованием. Мы — то, в чем пейзаж не нуждается как в пирогах кумы. Ни в настоящем, ни в будущем. Тем более — в их гибриде. Видите ли, пейзаж есть прошлое в чистом виде,

лишившееся обладателя. Когда оно — просто цвет вещи на расстоянии; ее ответ на привычку пространства распорядиться телом по-своему. И поэтому прошлое может быть черно-белым,

коричневым, темно-зеленым. Вот почему порой художник оказывается заморожен горой или, скажем, развалинами. И надо отдать Джованни должное, ибо Джованни внимателен к мелкой рвани

вроде нас, созерцая то Альпы, то древний Рим”.

“Вы, значит, возникли из прошлого?” — волнуется пилигрим.

Но собеседник умолк, разглядывая устало собачку, которая все-таки что-то себе достала

поужинать в грудe мусора и вот-вот взвизгнет от счастья, что и она живет.

“Да нет, — наконец он роняет. — Мы здесь просто так, гуляем”. И тут пейзаж оглашается залиvistым сучьим лаем.

* * *

Клоуны разрушают цирк. Слоны убежали в Индию,
тигры торгуют на улице полосами и обручами,
под прохуdivшимся куполом, точно в шкафу, с трапеции
свешивается, извиваясь, фрак
разочарованного иллюзиониста,
и лошадки, скинув попоны, позируют для портрета
двигателя. На арене,
утопая в опилках, клоуны что есть мочи
размахивают кувалдами и разрушают цирк.
Публики либо нет, либо не аплодирует.
Только вышколенная болонка
тявкает непрерывно, чувствуя, что приближается
к сахару: что вот-вот получится
одна тысяча девятьсот девяносто пять.

1995

СТАКАН С ВОДОЙ

Ты стоишь в стакане передо мной, водичка,
и глядишь на меня сбежавшими из-под крана
глазами, в которых, блестя, двоится
прозрачная тебе под стать охрана.

Ты знаешь, что я — твое будущее: воронка,
одушевленный стояк и сопряжен с потерей
перспективы; что впереди — волокна,
сумрак внутренностей, не говоря — артерий.

Но это тебя не смущает. Вообще, у тюрем
вариантов больше для бесприютной
субстанции, чем у зарешеченной тюлем
свободы, тем паче — у абсолютной.

И ты совершенно права, считая, что обойдешься
без меня. Но чем дольше я существую,
тем позже ты превратишься в дождь за
окном, шлифующий мостовую.

1995

AERE PERENNIUS

Приключилась на твердую вещь напасть:
будто лишних дней циферблата пасть
отрыгнула назад, до бровей сыта
крупным будущим чтобы считать до ста.
И вокруг твердой вещи чужие ей
встали кодлом, базаря “Ржавей живеи”
и “Даешь песок, чтобы в гроб хромать,
если ты из кости или камня, мать”.
Отвечала вещь, на слова скупа:
“Не замай меня, лишних дней толпа!
Гнуть свинцовый дрын или кровли жечь —
не рукой под черную юбку лезть.
А тот камень-кость, гвоздь моей красы —
он скучает по вам с мезозоя, псы.
От него в веках борозда длинней,
чем у вас с вечной жизнью с кадиллом в ней”.

1995

КОРНЕЛИЮ ДОЛАБЕЛЛЕ

Добрый вечер, проконсул или только-что-принял-душ.
Полотенце из мрамора чем обернулась слава.
После нас — ни законов, ни мелких луж.
Я и сам из камня и не имею права
жить. Масса общего через две тыщи лет.
Все-таки время — деньги, хотя неловко.

Впрочем, что есть артрит если горит дулет
как не потустороннее чувство локтя?
В общем, проездом, в гостинице, но не об этом речь.
В худшем случае, сдавленное “кого мне...”
Но ничего не набрать, чтоб звонком извлечь
одушевленную вещь из недр каменоломни.
Ни тебе в безрукавке, ни мне в полушубке. Я
знаю, что говорю, сбивая из букв когорту,
чтобы в карé веков вклинилась их свинья!
И мрамор сужает мою аорту.

1995, Hotel Quirinale, Рим

* * *

Меня упрекали во всем, окромя погоды,
и сам я грозил себе часто суровой мздой.
Но скоро, как говорят, я сниму погоны
и стану просто одной звездой.

Я буду мерцать в проводах лейтенантом неба
и прятаться в облако, слыша гром,
не видя, как войско под натиском ширпотреба
бежит, преследуемо пером.

Когда вокруг больше нету того, что было,
неважно, берут вас в кольцо или это — блиц.
Так школьник, увидев однажды во сне чернила,
готов к умноженью лучше иных таблиц.

И если за скорость света не ждешь спасибо,
то общего, может, небытия броня
ценит попытки ее превращенья в сито
и за отверстие поблагодарит меня.

1994

ТРОФЕЙНОЕ

I

В начале была тушенка. Точнее — в начале была вторая мировая война, блокада родного города и великий голод, унесший больше жизней, чем все бомбы, снаряды и пули вместе взятые. А к концу блокады была американская говяжья тушенка в консервах. Фирмы “Свифт”, по-моему, хотя поручиться не могу. Мне было четыре года, когда я ее попробовал.

Это наверняка было первое за долгий срок мясо. Вкус его, тем не менее, оказался менее памятным, нежели сами банки. Высокие, четырехугольные, с прикрепленным на боку ключом, они возвещали об иных принципах механики, об ином мироощущении вообще. Ключик, наматывающий на себя тоненькую полоску металла при открывании, был для русского ребенка откровением: нам известен был только нож. Страна все еще жила гвоздями, молотками, гайками и болтами — на них она и держалась; ей предстояло продержаться в таком виде большую часть нашей жизни. Поэтому никто не мог мне толком объяснить, каким образом запечатываются такие банки. Я и по сей день не до конца понимаю, как это происходит. А тогда — тогда я, не отрываясь, изумленно смотрел, как мама отделяет ключик от банки, отгибает металлический язычок, продевает его в ушко ключа и несколько раз поворачивает ключик вокруг своей оси.

Годы спустя после того, как их содержимое было поглощено клоакой, сами банки — высокие, со скругленными — наподобие киноэкрана — углами, бордового или темно-коричневого цвета, с иностранными литерами по бокам, продолжали существовать во многих семьях на полках и на подоконниках — отчасти из соображений чисто декоративных, отчасти как удобное местечко для карандашей, отверток, фотопленки, гвоздей и пр. Еще их часто использовали в качестве цветочных горшков.

Потом мы этих банок больше не видели — ни их студенистого содержимого, ни непривычной формы. С годами росла их ценность — по крайней мере, они становились все более желанными в товарообмене подростка. На такую банку можно было выменять немецкий штык, военно-морскую пряжку или увеличительное сте-

кло. Немало пальцев было порезано об их острые края. И все же в третьем классе я был гордым обладателем двух таких банок.

II

Если кто и извлек выгоду из войны, то это мы — ее дети. Помимо того, что мы выжили, мы приобрели богатый материал для романтических фантазий. В придачу к обычному детскому рациону, состоящему из Дюма и Жюль-Верна, в нашем распоряжении оказалась всяческая военная бранзулетка — что всегда пользуется большим успехом у мальчишек. В нашем случае успех был тем более велик, что это наша страна выиграла войну.

Любопытно при этом, что нас больше привлекали военные изделия противника, чем нашей победоносной Красной Армии. Названия немецких самолетов — “юнкерс”, “штука”, “мессершмидт”, “фокке-вульф” — не сходили у нас с языка. Как и автоматы “шмайссер”, танки “тигр” и эрзац-продукты. Пушки делал Крупп, а бомбы любезно поставляла “И.Г.Фарбен-Индустри”. Детское ухо всегда чувствительно к странным, нестандартным созвучиям. Думаю, что именно акустика, а не ощущение реальной опасности, притягивала наш язык и сознание к этим названиям. Несмотря на избыток оснований, имевшихся у нас чтоб ненавидеть немцев, и вопреки постоянным заклинаниям на сей счет отечественной пропаганды, мы звали их обычно “фрицами”, а не “фашистами” или “гитлеровцами”. Потому, видимо, что знали их, к счастью, только в качестве военнопленных — и ни в каком ином.

Кроме того, немецкую технику мы в изобилии видели в военных музеях, которые открывались повсюду в конце сороковых. Это были самые интересные вылазки — куда лучше, чем в цирк или в кино, особенно если нас туда водили наши демобилизованные отцы (тех из нас, то есть, у которых отцы остались). Как ни странно, делали они это не очень охотно, зато весьма подробно отвечали на наши расспросы про огневую мощь того или иного немецкого пулемета и про количество и тип взрывчатки той или иной бомбы. Неохота эта порождалась не стремлением уберечь нежное сознание от ужасов войны, и не желанием уйти от воспоминаний о погибших друзьях и от ощущения вины за то, что сам ты остался жив.

Нет, они просто догадывались, что нами движет праздное любопытство, и не одобряли этого.

III

Каждый из них — я имею в виду наших живых отцов — хранил, разумеется, какую-нибудь мелочь в память о войне. Например, бинокль (“Цейсс”!), пилотку немецкого подводника с соответствующими знаками различия, или же инкрустированный перламутром аккордеон, серебряный портсигар, патефон или фотоаппарат. Когда мне было двенадцать лет, отец, к моему восторгу, неожиданно извлек на свет божий коротковолновый приемник. Приемник назывался “Филипс” и мог принимать радиостанции всего мира — от Копенгагена до Сурабайи. Во всяком случае, на эту мысль наводили названия городов на его желтой шкале.

По меркам того времени, “Филипс” этот был вполне портативным — уютная коричневая вещь 25 x 35 см, с вышеупомянутой желтой шкалой и с похожим на кошачий, абсолютно завораживающим зеленым глазом индикатора настройки. Было в нем, если я правильно помню, всего шесть ламп, а в качестве антенны хватало полуметра простой проволоки. Но тут и была заковыка. Для постового торчащая из окна антенна означала бы только одно. Для подсоединения приемника к общей антенне на здании нужна была помощь специалиста, а такой специалист в свою очередь проявил бы никому не нужный интерес к вашему приемнику. Держать дома иностранные приемники не полагалось — и точка. Выход был в паутинообразном сооружении под потолком, и так я и поступил. Конечно, с такой антенной я не мог поймать Братиславу или, тем более, Дели. С другой стороны, я все равно не знал ни чешского, ни хинди. Программы же Би-би-си, Голоса Америки и радио Свобода на русском языке все равно глушились. Однако можно было ловить передачи на английском, немецком, польском, венгерском, французском, шведском. Ни одного из них я не знал. Но зато по Голосу Америки можно было слушать программу Time for Jazz, которую вел самым роскошным в мире бас-баритоновым Уиллис Коновер.

Этому коричневому, лоснящемуся, как старый ботинок, “Филипсу” я обязан своими первыми познаниями в английском и

знакомством с пантеоном джаза. К двенадцати годам немецкие названия в наших разговорах начали исчезать с наших уст, постепенно сменяясь именами Луиса Армстронга, Дюка Эллингтона, Эллы Фитцджералд, Клиффорда Брауна, Сиднея Бешé, Джанго Райнхардта и Чарли Паркера. Стала меняться, я помню, даже наша походка: суставы наших крайне скованных русских оболочек принялись впитывать свинг. Видимо, не один я среди моих сверстников сумел найти полезное применение метру простой проволоки.

Через шесть симметричных отверстий в задней стенке приемника, в тусклом свете мерцающих радиоламп, в лабиринте контактов, сопротивлений и катодов, столь же непонятных, как и языки, которые они порождали, я, казалось, различал Европу. Внутренности приемника всегда напоминали ночной город, с раскиданными там и сям неоновыми огнями. И когда в тридцать два года я действительно приземлился в Вене, я сразу же ощутил, что в известной степени я с ней знаком. Скажу только, что, засыпая в свои первые венские ночи, я явственно чувствовал, что меня выключает некая невидимая рука — где-то в России.

Это был прочный аппарат. Когда однажды, в пароксизме гнева, вызванного моими бесконечными странствиями по радиоволнам, отец швырнул его на пол, пластмассовый ящик раскололся, но приемник продолжал работать. Не решаясь отнести его в радиомастерскую, я пытался, как мог, починить эту похожую на линию Одер-Нейссе трещину с помощью клея и резиновых тесемок. С этого момента, однако, он существовал в виде двух почти независимых друг от друга хрупких половинок. Конец ему пришел, когда стали сдавать лампы. Раз или два мне удалось отыскать, через друзей и знакомых, какие-то их аналоги, но даже когда он окончательно онемел, он оставался в семье — покуда семья существовала. В конце шестидесятых все покупали латвийскую “Спидолу” с ее телескопической антенной и всяческими транзисторами внутри. Конечно, прием был у нее лучше, и она была портативной. Но однажды в мастерской я увидел ее без задней крышки. Наиболее положительное, что я мог бы сказать о ее внутренностях, это что они напоминали географическую карту (шоссе, железные дороги, реки, притоки). Никакой конкретной местности они не напоминали. Даже Ригу.

IV

Но самой главной военной добычей были, конечно, фильмы. Их было множество, в основном — довоенного голливудского производства, со снимавшимися в них (как нам удалось выяснить два десятилетия спустя) Эрролом Флинном, Оливией де Хевиленд, Тайроном Пауэром, Джонни Вайсмюллером и другими. Преимущественно, они были про пиратов, про Елизавету Первую, кардинала Ришелье и т.п. — и к реальности отношения не имели. Ближайшим к современности был, видимо, только “Мост Ватерлоо” с Робертом Тейлором и Вивьен Ли. Поскольку государство не очень хотело платить за прокатные права, никаких исходных данных, а часто даже имен действующих лиц и исполнителей не указывалось. Сеанс начинался так. Гас свет и на экране белыми буквами на черном фоне появлялась надпись: ЭТОТ ФИЛЬМ БЫЛ ВЗЯТ В КАЧЕСТВЕ ТРОФЕЯ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. Текст мерцал на экране минуту-другую, а потом начинался фильм. Рука со свечой освещала кусок пергаментного свитка, на котором кириллицей было начертано: КОРОЛЕВСКИЕ ПИРАТЫ, ОСТРОВ СТРАДАНИЙ, или РОБИН ГУД. Потом иногда шел текст, поясняющий время и место действия, тоже кириллицей, но часто стилизованной под готический шрифт. Конечно, это было воровство, но нам, сидевшим в зале, было наплевать. Мы были слишком заняты — субтитрами и развитием действия.

Может, это было и к лучшему. Отсутствие действующих лиц и их исполнителей сообщало этим фильмам анонимность фольклора и ощущение универсальности. Они захватывали и завораживали нас сильнее, чем все последующие плоды неореализма или “новой волны”. В те годы — в начале пятидесятых, в конце правления Сталина, отсутствие титров придавало им несомненный архетипический смысл. И я утверждаю, что одни только четыре серии “Тарзана” способствовали десталинизации больше, чем все речи Хрущева на 20-м съезде и впоследствии.

Нужно помнить про наши широты, наши наглухо застегнутые, жесткие, зажатые, диктуемые зимней психологией нормы публичного и частного поведения, чтобы оценить впечатление от голого длинноволосого одиночки, преследующего блондинку в гуще тропических джунглей, с шимпанзе в качестве Санчо Пансы и лианами

в качестве средств передвижения. Прибавьте к этому вид Нью-Йорка (в последней из серий, которые шли в России), когда Тарзан прыгает с Бруклинского моста, и вам станет понятно, почему чуть ли не целое поколение социально самоустранилось.

Первой оказалась, естественно, прическа. Мы все немедленно стали длинноволосыми. Затем последовали брюки дудочкой. Боже, каких мук, каких ухищрений и красноречия стоило убедить наших мамаш — сестер — тёток переделать наши неизменно черные обвислые послевоенные портки в прямых предшественников тогда еще нам неизвестных джинсов! Мы были непоколебимы, — как, впрочем и наши гонители — учителя, милиция, соседи, которые исключали нас из школы, арестовывали на улицах, высмеивали, давали обидные прозвища. Именно по этой причине мужчина, выросший в пятидесятых и шестидесятых, приходит сегодня в отчаяние, пытаясь купить себе пару брюк: все это бесформенное, избыточное мешковатое барахло!

V

Разумеется, в этих трофейных картинах было и нечто более серьезное: их принцип “одного против всех” — принцип, совершенно чуждый коммунальной, ориентированной на коллектив психологии общества, в котором мы росли. Наверное, именно потому что все эти Королевские Пираты и Зорро были бесконечно далеки от нашей действительности, они повлияли на нас совершенно противоположным замышлявшемуся образом. Преподносимые нам как развлекательные сказки, они воспринимались скорее как проповедь индивидуализма. То, что для нормального зрителя было костюмной драмой из времен бутафорского Возрождения, воспринималось нами как историческое доказательство первичности индивидуализма.

Фильм, показывающий людей на фоне природы, всегда имеет документальную ценность. Тем более — по ассоциации с печатной страницей — фильм черно-белый. Поэтому в нашем закрытом, точнее запертом на все замки обществе мы скорее извлекали из этих картин информацию, нежели развлекались. С каким жадным вниманием мы рассматривали башенки и крепостные валы, подземелья и рвы, решетки и палаты, возникавшие на экране! Ибо мы их

видели впервые в жизни! Мы принимали голливудскую бутафорию из папье-маше и картона за чистую монету, и наши представления о Европе, о Западе, об истории, если угодно, были обязаны этим лентам чрезвычайно многим. До такой степени, что те из нас, кто позже очутился в бараках нашей карательной системы, часто улучшали свою диету, пересказывая сюжеты и припоминая детали этого Запада и охранникам и союзникам, которые этих трофейных картин не видели.

VI

Среди этих трофеев иногда попадались настоящие шедевры. Помню, например, “Леди Гамильтон” с Вивьен Ли и Лоренсом Оливье. Также я припоминаю и “Газовый свет” с тогда совсем еще молодой Ингрид Бергман. Подпольная индустрия была начеку и сразу после выхода фильма у какой-нибудь сомнительной личности в общественной уборной или в парке можно было купить открытку с фотографией актрисы или актера. Самым драгоценным в моей коллекции был Эрролл Флинн в “Королевских пиратах”, и в течение многих лет я пытался имитировать его выставленный вперед подбородок и автономно поднимающуюся левую бровь. С этой последней я потерпел неудачу.

И, пока не замерли обертоны сей низкопоклоннической ноты, позвольте мне здесь вспомнить еще одну вещь, роднящую у меня с Адольфом Гитлером: великую любовь моей юности по имени Зара Леандер. Я видел ее только раз, в “Дороге на эшафот”, шедшей тогда всего неделю, про Марию Стюарт. Ничего оттуда не помню, кроме сцены, в которой юный паж скорбно преклоняет голову на изумительное бедро своей обреченной королевы. По моему убеждению, она была самой красивой женщиной, когда-либо появлявшейся на экране, и мои последующие вкусы и предпочтения, хотя сами по себе и вполне достойные, все же были лишь отклонениями от обозначенного ею идеала. Из всех попыток объяснить сбивчивую или затянувшуюся романтическую карьеру эта, как ни странно, представляется мне наиболее удовлетворительной.

Леандер умерла два или три года назад, кажется, в Стокгольме. Незадолго до этого вышла пластинка с ее шлягерами, среди которых была *Die Rose von Nowgorod*. Имя композитора — Рота, и это

не мог быть никто иной, кроме как Нино Рота. Мотив куда лучше, чем тема Лары из “Доктора Живаго”; слова, к счастью, немецкие, так что мне все равно. Тембр голоса — как у Марлен Дитрих, но вокальная техника много лучше. Леандер действительно поет, а не декламирует. Несколько раз мне приходила в голову мысль, что послушай немцы эту мелодию, у них не возникло бы желания маршировать nach Osten. Если вдуматься, ни одно столетие не произвело такого количества шмальца, как наше; может быть, ему стоит уделить побольше внимания. Может быть, шмальц нужно рассматривать как орудие познания, в особенности ввиду большой приблизительности прочих инструментов, находящихся в распоряжении нашего века. Ибо Шмальц суть плоть от плоти, кровь от крови, младший брат Шмерца. У нас у всех больше причин сидеть дома, нежели маршировать куда-либо. Куда маршировать-то, если в конце — только жутко грустный мотивчик.

VII

Подозреваю, что мое поколение составляло самую внимательную аудиторию для всех этих до- и послевоенных продуктов фабрики снов. Некоторые из нас на какое-то время стали завзятыми киноманами, но, вероятно по другим причинам, нежели наши ровесники на Западе. Для нас кино было единственным способом увидеть Запад. Начисто забывая про сюжет, мы старались рассмотреть все, что появлялось на экране — улицу или квартиру, приборную панель в машине героя, одежду, которую носила героиня, чувство места, структуру пространства, в котором происходило действие. Некоторые из нас достигли немало совершенства в определении натуры, на которой снимался фильм, и иногда мы могли отличить Геную от Неаполя, и уж во всяком случае Париж от Рима, всего по двум-трем архитектурным ансамблям. Мы вооружались картами городов и горячо спорили, по какому адресу проживает Жанна Моро в одном фильме и Жан Марэ — в другом.

Но это, как я уже сказал, началось позже, в конце шестидесятых. А еще позже наш интерес к кино стал ослабевать, по мере того как мы осознавали, что фильмы делаются все чаще режиссерами нашего возраста, и могут они нам сказать все меньше и меньше. К этому времени мы были уже законченными книгочеями, подпис-

чиками на “Иностранную литературу”, и отправлялись в кино всё с меньшей и меньшей охотой, видимо, догадавшись, что знакомиться с местами, где никогда не будешь жить, бессмысленно. Это, повторяю, случилось намного позже, когда нам уже было за тридцать.

VIII

Однажды — было мне лет пятнадцать или шестнадцать — я сидел во дворе огромного жилого дома и вколачивал гвозди в крышку деревянного ящика, наполненного всяческими геологическими инструментами, которые следовало послать на Дальний Восток, куда вслед за ними предстояло отправиться и мне, и где меня уже ждала моя партия. Дело было в начале мая, но день был жаркий, я потел и смертельно скучал. Внезапно из открытого окна на одном из последних этажей раздалось “A-tisket, a-tasket”; голос был голосом Эллы Фитцджералд. Произошло это в 1955 или 1956 году, в одном из грязных промышленных пригородов Ленинграда. “Боже мой, — помню, подумал я, — сколько же пластинок нужно напечатать, чтобы одна из них закончила свой путь здесь, в этом кирпично-цементном нигде, среди не столько сохнущих, сколько впитывающих сажу простынь и фиолетовых трусов!”

IX

Я знал эту песенку отчасти благодаря моему радио, отчасти потому что в пятидесятых у любого городского мальчишки была своя коллекция так называемой музыки на костях. Это были диски из рентгеновской пленки, с самодельной записью какой-нибудь джазовой музыки. Техника копировального процесса была для меня непостижима, но подозреваю, что это была вполне простая процедура, поскольку предложение всегда оставалось на стабильном уровне, а цены были доступные.

Эти жутковатые на вид диски (вот вам ядерный век!) можно было купить тем же путем, что и самодельные фотографии западных кинозвезд: в парках, общественных туалетах, на толкучке и в ставших тогда знаменитыми коктейль-холлах, где можно было сидеть на высоком табурете и потягивать молочный коктейль, воображая, что ты на Западе.

И чем больше я об этом думаю, тем больше я убеждаюсь, что это и был Запад. Ибо на весах истины интенсивность воображения уравнивает, а временами и перевешивает реальность. По этому счету, с преимуществами, присущими любой оглядке, я даже склонен настаивать, что мы-то и были настоящими, а может быть и единственными западными людьми. С нашим инстинктивным индивидуализмом, на каждом шагу усугубляемым коллективистским обществом, с нашей ненавистью ко всякой групповой принадлежности, будь она партийной, местной или же, в те годы, семейной, мы были больше американцами, чем сами американцы. И если Америка это самая последняя граница Запада, место, где Запад кончается, то мы, я бы сказал, находились эдак за пару тысяч миль от Западного побережья. Посреди Тихого океана.

Х

Где-то в начале шестидесятых, когда принцип романтической недосказанности, воплощенной в поясе и подвязках, стал потихоньку сдавать позиции, обрекая нас все больше и больше на ограниченность колготок с их однозначным или-или, когда иностранцы, привлеченные недорогим, но весьма сильным ароматом рабства, начали прибывать в Россию крупными партиями, и когда мой приятель с чуть презрительной улыбкой на губах заметил, что географию, вероятно, может скомпрометировать только история, девушка, за которой я тогда ухаживал, подарила мне на день рождения книжку-гармошку из открыток с видами Венеции.

Она сказала, что книжечка эта когда-то принадлежала ее бабушке, которая незадолго до первой мировой войны проводила медовый месяц в Италии. Там было двенадцать открыток в сепии, отпечатанных на плохой желтоватой бумаге. Подарила она мне их потому, что как раз в это время я весьма носился с двумя романами Анри де Ренье, незадолго до того прочитанными; в обоих дело происходило в Венеции, зимой; и я говорил только о Венеции.

Из-за того, что плохо отпечатанные открытки были с коричневым налетом, из-за широты, на которой стоит Венеция, и из-за того, что в ней мало деревьев, трудно было определить, какое на них изображено время года. Одежда тоже мало помогала, поскольку

люди были одеты в длинные юбки, фетровые шляпы, цилиндры или котелки и темные пиджаки — моды начала века. Отсутствие цвета и общий мрак изображенного подводили к заключению, которое меня устраивало: что это — зима, единственное подлинное время года.

Другими словами, их фактура и меланхолия, столь знакомые мне по родному городу, делали фотографии более понятными, более реальными; рассматривание их вызывало нечто похожее на ощущение, возникающее при чтении писем от родных. И я их “читал” и “перечитывал”. И чем больше я их читал, тем очевидней становилось, что они были именно тем, что слово “Запад” для меня значило: идеальный город у зимнего моря, колонны, аркады, узкие переулки, холодные мраморные лестницы, шелушащаяся штукатурка, обнажающая кирпично-красную плоть, замазка, херувимы с закатившимися запыленными зрачками, — цивилизация, приготовившаяся к наступлению холодных времен.

И, глядя на эти открытки, я поклялся себе, что, если я когда-нибудь выберусь из родных пределов, я отправлюсь зимой в Венецию, сниму комнату в подвальном помещении, с окнами вровень с водой, сяду, сочиню две-три элегии, гася сигареты о влажный пол, чтобы они шипели, а когда деньги иссякнут, приобрету не обратный билет, а дешевый браунинг — и пушу себе там же в лоб пулю. Декадентская, ясное дело, греза (но если в двадцать лет вы не декадент, то — когда?). И все же я благодарен Паркам, давшим мне осуществить ее лучшую часть. Спору нет: история весьма энергично компрометирует географию. Единственный способ борьбы с этим — стать отщепенцем, кочевником, тенью, скользящей по кружеву фарфоровой колоннады, отраженной в хрустальной воде.

XI

А потом был “Ситроэн” (2 л.с.), который я однажды увидел в родном городе; он стоял на пустой улице у Эрмитажа, против портика с карниатами. Похож он был на недолговечную, но уверенную в себе бабочку, с крылышками из гофрированного железа — из такого во время второй мировой войны строились ангары и по сей день делаются полицейские фургоны во Франции.

Я рассматривал его без всякой корысти. Было мне двадцать лет, машину я не водил и водить не мечтал. В то время, чтобы обладать машиной в России, нужно было быть подонком — или его отпрыском: партийным боссом, большим ученым, знаменитым спортсменом. Но даже и тогда машина ваша была бы отечественного производства, пусть и с украденной конструкцией и технологией.

“Ситроэн” стоял на улице, легкий и беззащитный, начисто лишенный чувства опасности, обычно связанного с автомашиной. Он казался легко ранимым, а вовсе не наоборот. Я никогда не видел столь безобидного предмета из металла. В нем было больше человеческого, чем в иных прохожих, и ошеломительной простотой своей он напоминал те самые трофейные консервные банки, которые все еще стояли на моем подоконнике. У него не было секретов. Мне захотелось в него влезть и уехать — не потому, что мне хотелось эмигрировать, а потому что это было все равно как надеть пиджак — вернее, не пиджак, а плащ — и отправиться на прогулку. И его распахнутые форточки поблескивали, напоминая близорукого человека в очках, с поднятым воротником. Если память мне не изменяет, разглядев этот автомобиль, я ощутил прилив счастья.

ХП

Полагаю, что моими первыми английскими словами были His Master's Voice, поскольку иностранный язык начинался в третьем классе, когда нам было по десять лет, а отец вернулся со службы на Дальнем Востоке, когда мне было восемь. Для него война закончилась в Китае, но добыча его была не столько китайской, сколько японской, потому что за тем столиком проиграла Япония. Или так тогда казалось. Главным сокровищем были пластинки. Они покоились в массивных, но весьма элегантных картонных альбомах с золотыми тисненными японскими литерами. Иногда на обложке изображалась чрезвычайно легко одетая дама, которую вел в танце джентльмен во фраке. В каждом альбоме было до дюжины блестящих черных дисков, тарачившихся на вас из плотных конвертов своими красно- или черно-золотыми этикетками. В основном, “His Master's Voice” и “Columbia”. Хотя название второй фирмы было легче произнести, на этикетке у нее красовались

только буквы, и задумчивый пес победил. До такой степени, что его присутствие влияло на мой выбор музыки. В результате к десяти годам я лучше знал Энрико Карузо и Тито Скипа, чем фокстроты и танго, которые тоже имелись в изобилии и которые я вообще-то даже предпочитал. Были там также всякие увертюры и классические “шедевры” в исполнении Стоковского и Тосканини, “Аве Мария” с Мариан Андерсон, и полные “Кармен” и “Лознгрин” — певцов уже не вспомню, но помню, что мама была от этих записей в восторге. В сущности, эти альбомы представляли полный довоенный музыкальный рацион европейского среднего класса; в наших краях он был даже вдвойне сладок, поскольку прибыл к нам с опозданием. И принес его задумчивый песик, практически — в зубах. Мне понадобилось не менее десяти лет, чтобы понять, что His Master's Voice означает именно “голос его хозяина”: пес слушает хозяйский голос. Я думал, он слушает запись собственного лая, потому что я воспринимал трубу граммофона как мегафон, и поскольку собаки обычно бегут впереди хозяина, все мое детство эта этикетка для меня означала голос собаки, сообщавшей о приближении хозяина. Так или иначе, пес этот обежал целый мир, поскольку отец нашел эти пластинки в Шанхае, после разгрома Квантунской армии. Во всяком случае, в мою действительность они прибыли с неожиданной стороны; помню, мне не раз снился сон: длинный поезд с блестящими черными пластинками вместо колес, украшенными надписями “His Master's Voice” и “Columbia”, громыкает по шпалам, выложенным из слов “Гоминдан”, “Чан-Кай-ши”, “Тайвань”, “Джу-де” — или это были названия станций? Конечной остановкой, по-видимому, был наш коричневый кожаный патефон с хромированной стальной ручкой, которую заводил недостойный я. На спинке кресла — отцовский темно-синий военно-морской китель с золотыми эполетами, на полке над вешалкой — мамина серебристая лиса, ухватившая себя за хвост, в воздухе — *Una furtiva lagrima*.

XIII

Или *La Comparsita* — по мне, самое гениальное музыкальное произведение нашего времени. После этого танго никакие триумфы не имеют смысла: ни твоей страны, ни твои собственные. Я никогда

не умел танцевать — был слишком зажатым и к тому же вправду неуклюжим, но эти гитарные стоны мог слушать часами и, если вокруг никого не было, двигался им в такт. Как многие народные мелодии, La Comparsita — это, в сущности, “плач”, и в конце войны траурный лад был уместнее, нежели буги-вуги. Никто не стремился к ускорению, все хотели сдержанности. Потому что смутно догадывались, к чему вообще всё идет. Так что можете списать на нашу латентную эротику тот факт, что мы были так привязаны к вещам, которые еще не стали обтекаемыми: к черным лакированным крыльям сохранившихся немецких BMW и “опель-капитанов”, к не менее блестящим американским “паккардам” и к похожим на медведей “студебекерам” с прищуром их ветровых стекол и двойными задними шинами (ответ Детройта на нашу всепоглощающую грязь). Ребенок всегда хочет перегнуть свой возраст, и если уж невозможно вообразить себя защитником отечества (поскольку вокруг тебя полным-полно реальных защитников), то можно унести в воображении в некое невнятное иностранное прошлое и увидеть себя в большом черном “линкольне”, с испещренной фарфоровыми кнопками приборной доской, рядом с какой-нибудь платиновой блондинкой, припадающим к ее фельдекосовым коленям на мягком, лоснящемся кожей, сиденье. Да даже и одного колена было бы достаточно. Иногда достаточно было просто прикоснуться к гладкому крылу. Говорит вам это человек, родной дом которого любезными усилиями Люфтваффе был стерт с лица земли, и который впервые попробовал белый хлеб восьми лет от роду (или же, если эта метафора слишком чужда, — кока-колу в возрасте тридцати двух). Так что спишите это на вышеупомянутую латентную эротику, но проверьте в телефонной книге, где выдаются удостоверения мудакам.

XIV

Еще был замечательный, цвета хаки, американский термос из гофрированного пластика, с похожим на ртуть зеркальным цилиндром внутри, который принадлежал дяде и который я разбил в 1951-м. Внутри цилиндра бушевал оптический водоворот, порождавший бесконечность, и я мог часами глядеть, как отражается в самом себе ее зеркало. Так, вероятно, я термос и разбил, случайно

уронив на пол. У отца был еще не менее американский и не менее цилиндрический карманный фонарь, тоже привезенный из Китая, у которого скоро сели батарейки, но почти потусторонняя непорочность его блестящего отражателя, намного превосходящая разрешающую способность моего зрачка, завораживала меня чуть ли не до конца моих школьных лет. Впоследствии, когда ободок и кнопка начали покрываться ржавчиной, я разобрал фонарик и с помощью двух увеличительных стекол превратил гладкий цилиндр в абсолютно слепой телескоп. И еще был английский полевой компас, полученный отцом от одного из обреченных британцев, чьи конвои он встречал неподалеку от Мурманска. У компаса был светящийся циферблат, и градусы были видны под одеялом. Поскольку буквы были латинские, слова были похожи на числа, и у меня возникало чувство, что мое местонахождение определялось не просто аккуратно, но абсолютно. Возможно, именно это и делало вышеупомянутое местонахождение непереносимым. И наконец были еще отцовские армейские зимние ботинки — уже не помню, какого происхождения (американского? китайского? точно, что не немецкого). Это были огромные светло-желтые ботинки из оленьей кожи, с подкладкой, напоминающей завитки овечьей шерсти. Они стояли, похожие скорее на пушечные ядра, чем на обувь, по его сторону большой двуспальной кровати, хотя их коричневые шнурки никогда не завязывались, поскольку отец носил их только дома, вместо шлепанцев; на улице они привлекли бы слишком много внимания к себе, а стало быть, и к владельцу. Как и большей части одежды тех лет, обуви полагалось быть черной, темно-серой (сапоги) или, в лучшем случае, коричневой. Полагаю, что вплоть до двадцатых, даже до тридцатых годов Россия обладала неким подобием паритета с Западом в том, что касалось предметов быта и обихода. А потом всё пошло прахом. Даже война, заставшая страну в момент замедленного развития, не смогла спасти нас от этого злосчастия. При всем их удобстве, желтые зимние ботинки на наших улицах были абсолютным табу. С другой стороны, это продлило шерстистым чудищам жизнь, и, когда я подрос, они стали поводом частых пререканий между отцом и мной. Через тридцать пять лет после конца войны они были, с нашей точки зрения, еще достаточно хороши, чтобы вести бесконечные споры о том, кому принадлежит право их носить. В конце концов победил отец,

потому что когда он умер, я был слишком далеко от того места, где они стояли.

XV

Из флагов мы предпочитали Юнион-Джек, из сигаретных марок — “Кэмел”, из спиртного — джин “Бифитер”. Наш выбор, понятно, определялся формой, не содержанием. И все же нас можно простить, ибо знакомство с содержимым вышеупомянутого было неглубоким, поскольку нельзя считать выбором то, что приносит обстоятельства и удача. С другой стороны, по части Юнион-Джека и, тем более, “Кэмела”, не так уж мы и опростоволосились. Что касается до бутылок “Бифитера”, один мой приятель, получив таковую от заезжего иностранца, заметил, что, вероятно, так же как мы приходим в восторг от их замысловатых фирменных наклеек, они заходятся от начисто вакантных наших. Я согласно кивнул. Потом он протянул руку к журнальной кипе и извлек оттуда, если память мне не изменяет, обложку журнала “Лайф”. На ней была изображена верхняя палуба авианосца, где-то посреди океана. Матросы в белых робах стояли на палубе, задрав головы — наверное, глядели на самолет или вертолет, с которого их фотографировали. Они стояли в построении. С воздуха построение прочитывалось как $E=MC^2$. “Мило, правда?” — сказал приятель. “Угу, — ответил я. — А где это снято?” “Где-то в Тихом океане, — ответил он. — Какая разница?”

XVI

Давайте выключим свет или крепко зажмурим глаза. Что мы видим? Американский авианосец посреди Тихого океана. А на палубе я — машу рукой. Или за рулем “ситрозна” (2 л.с.). Или — в желтой корзинке из песни Эллы. И т.д. и т.п. Ибо человек есть то, что он любит. Потому он это и любит, что он есть часть этого. И не только человек: вещи тоже. Я помню рев, который издала тогда только что открывшаяся, бог знает откуда завезенная, американская прачечная-автомат в Ленинграде, когда я бросил в машину свои первые джинсы. В этом реве была радость узнавания — вся очередь это слышала. Итак, с закрытыми глазами, давайте призна-

ем: что-то было для нас узнаваемым в Западе, в цивилизации — может быть, даже в большей степени, чем у себя дома. Более того, как выяснилось, мы были готовы заплатить за это чувство узнавания и заплатить довольно дорого — всей оставшейся жизнью. Что — не так мало. Но за меньшую цену это было бы просто блядство. Не говоря о том, что кроме остававшейся жизни, у нас больше ничего не было.

1986

Перевод с английского Александра Сумеркина, с обширной авторской правкой.

ПИСЬМА К ВИКТОРУ ГОЛЬШЕВУ*

* * *

Старик, как жаль, что ты не смог
сюда сорваться: тут шикарно.
Старик, ты поступил бездарно;
ты, грубо говоря, сапог.

Я, старый графоман, и то
сумел. А ты ведь член Союза;
Представь себе январь без груза
треуха, пиджака, пальто.

Небось, сидишь и портишь кровь,
дроча какого-нибудь янки,
или гниешь на оттоманке,
выщипывая на хер бровь.

А то глазеешь на актрис,
чьи обмороженные *кант*'ы
парализуют их таланты.
А здесь в окошке — кипарис

красуется, как хер, стоймя.
За ним — еще. На косогоре —
кусты. А дальше — дальше море.
И ничего, блядь, окромя.

Описывать же море мне
не стоит. Сунься в “Горбунова
и Горчакова” (пусть хреново
написано, зато вполне

подробно, старичок). То штиль,
то шторм. И поутру, бывает,
причал весь обледеневаает,
и солнце, блядь, всю эту гниль

* Составитель выражает глубокую благодарность адресату писем и г-же Мариане Фрейдиной-Сабо за содействие в получении этих текстов.

лучами алыми насквозь
просвечивает, в рот, и скалы
заснеженные также алы,
и мир, старик, как ноги врозь.

Вот это утро, старичок.
Имея это ощущение,
в пустое входишь помещенье,
где стойка радует зрачок.

Пьешь кофе, думаешь про *фак*,
глядишь на порта панораму,
и солнце греет через раму
с косыми буквами *ЕФАК*.

Заря. Ньюспэйпер. Бред числа
на наведенном марафете.
Но всё прекрасное на свете
включает и толику зла.

Зло — это люди*. Не всегда,
но часто. Жлобы, старцы, бляди,
жульё — толпа на променаде
с прихожей Страшного Суда,

пожалуй, схожа, ей-же-ей.
Усугубляет эту схожесть
столпотворение ничтожеств**.
Единственный в толпе еврей,

*Зло — это люди и людьми
же порожденное понятие,
и ежели все люди — братья,
мы, значит, братья со зверьми.

**Ничто так не терзает взгляд,
как публика второго сорта;
а здесь что ни лицо, то — морда.
А точкою координат —
чтоб не приябывался ты
ко мне с обычною туманной
фи(фа)лософией гуманной —
я выбрал бы твои черты.

так это я. Язык родной
dies от украинской заразы.
Отрывок самой лучшей фразы,
услышанной случайно мной,

рискну здесь воспроизвести:
“Когда бы мне такое тело,
давно бы, милочка, сидела
я у Генсека на кости”.

Но бздя, чтоб названное Зло,
в прекрасном с сотворенья света
рассеянное всюду, это
прекрасное переросло,

дает нам Время некий срок;
и к их ебальникам и к речи
привык я и расправил плечи.
“Бессмертья, может быть, залог”.

А сам Дом Творчества — говно.
Похож на полусинагогу-
полуобщагу. Харч изжогу
обычно вызывает; но

харч в регулярные часы, —
и можно вкалывать не хуже,
чем дома. Вечером снаружи
транзисторы вопят и псы.

В сортире плавает гондон;
Но вообще-то дом пустует.
Одни вахтеры, и бюстует
среди холла с фикусом Антон

П.Чехов. Я перевожу
и сочиняю. Впрочем, редко.
Приняв снотворную таблетку,
я сплю, не слыша, как пержу.

Говно, конечно. И спустить,
конечно, некуда... И все же

всю эту поебень и рожи
я, кажется, готов простить

за то, что, радости синоним,
сияет солнце без конца,
чертами своего лица
напоминая Веру Слоним;***

за то, что море — канонир
упорный — крошит симпатичный,
возможно, не вполне античный,
но средиземноморский мир.

За то, что зелень в синеву
здесь так же переходит точно,
как в наши сновиденья то, что
происходило наяву.

И я судьбу благодарю
за всё, что, потревожив недра
свои, мне выделила щедро
и вопреки календарю.

Должно быть, одаряя, Бог
на наши не взирает лица.
Как жаль, старик, что поделиться
всем этим я с тобой не смог.

Твой Иосиф

16 января 1971, Ялта

*** Жениться бы. Но из меня
такой же муж, как снег из ваксы
или такси из ихней таксы;
дым, кажется, сильнее огня.

* * *

Старик,
давным-давно из Ялты
я написал тебе письмо
в стихах и с кучей разных “мо”.
Оно, как после намекал ты,

тебе понравилось. Позволь
попробовать на новой почве.
Посланиями при нашей почте,
пожалуй, не набьешь мозоль.

Начнем, благословясь. Апрель,
все тает, набухают злаки.
Кругом шерифы, кадиллаки,
Америка *au naturel*.

Как ни щипли себя и как
ни дергай поредевший волос,
звезд комбинация и полос
над банком убеждает зрак,

что это — явь. И наяву,
почти привыкнув к перемене,
я ботаю на местной фене,
вожу автомобиль, живу.

А ежели что-либо здесь
и снится мне, то это чаще
всего разрозненные части
каких-нибудь красавиц, смесь

лиц, улиц, разных колоннад —
то Венской Оперы, то Биржи
(к чьим престелям ты много ближе
и, в некотором смысле, над).

Вообще же, перемена мест
(другие стены — сны другие)
есть усложнение ностальгии.
Что до меня, I do my best

под одеялом. Я, старик,
сплю долго и считаю лично,
что сны переменить логично,
переменивши материк.

Назвать Америку страной
контрастов можно лишь из башни
слоновой — или же за башли,
обмакивая ручку в гной.

Ну что Америка? Она,
посмотришь если беспристрастно,
суть продолжение пространства;
как, впрочем, всякая страна.

Так жизнь любая, жизнь вообще
(старик, предвижу возраженья)
есть тоже форма продолженья,
но только Времени. (На “ще”,

старик, есть рифмы, но искать
их скушно. Не с моим надломом!
Второй час ночи. Чаю с ромом
заделаю сейчас — и спать.

—

Чай с ромом! Не хватает свеч
и камердинера! В двадцатый
век это кажется цитатой
из классика. Но это — вещь

нормальная в U.S. Бутыль —
три доллара и тридцать центов.
Дают в кулёк. Поскольку церковь
настаивает. (Сказка? Быль!)

Чтоб русский пил Ан, Шабли,
Шато-Лафит, Бордо, Мартели,
нужны кареты, царь, дуэли
иль пребывание вдали

от стен Отечества. (Но, бля!
ром есть в Москве! Старик, попробуй:
не для того, чтоб быть Европой,
но пользы организма для).

Американский полдень. Свет,
в итоге совладав со шторой,
находит автора, который
с мучнистой мордой, неодет,

сидит перед большим столом
и, пальцем ковыряя в ухе,
следит за поведением мухи,
что охмуряема стеклом.

А за стеклом, старик, U.S.:
салуны, танки, фермы, негры
(хотя и действуют на нервы,
они — единственные без

ну, этой... примеси). На круг,
здесь больше мейеров, чем смитов.
И потому антисемитов
поменьше — но пархатый Брук

свою фамилию с двумя
“о” пишет: корчит англо-сакса.
На днях я был готов уссаться:
Сульцбергер — Солсбери. (На “мя”

есть рифмы, но искать их лень.
“Стоймя” и “окромя”, к примеру.
Х.й тебе в жопу, малOVERу!)
Но — поздно. Завтра тоже день.

—

Тут приезжал один бабец.
Блондинка. Прелесть. Родом с Кубы.
(Ты ждешь, конечно, рифмы “губы”).
А подержаться за конец

не хочешь?) Потому письмо
прервал я на похабном звуке.
Прости. Как говорится, руки
не доходили. Но само

ее явление лишний раз
доказывает: для чучмека
U.S. — желаемая Мекка.
И в сем калейдоскопе рас

когда бы кто-нибудь внедрил
(без Октября и толковища)
республики, то вышла б тыща.
Плюс — автономия педрил

и ковырялок. Тут, старик,
двуснастным самая малина.
Врубаеть ночью телек, и на
экране колоссальный крик

об ущемляемых правах.
Старик, здесь пед — правокачатель.
Ну, повернешь переключатель,
а там... ну, если в двух словах,

Ромео и Джульетта, но
в очко толкают, в черном гетто.
Потом их расчлениют где-то.
Буквально. И конец кино:

конвейер сосиски подает,
нормальные на вид, свиные.
Такое здесь кино. Иные
проводят ночи напролет

у телевизора. Я сам
был пленник этой поебени.
Но есть и польза: учит фене,
и не по дням, а по часам.

Когда бы уложить я мог
Америку в два русских слога,

я просто написал бы: МНОГО.
Всего — людей, автодорог,

стиральных порошков, жилья,
щитов с летящим “Кока-Кола”,
скайскрэперов, другого пола,
шмотья, истерики, жулья.

От этого в глазах рябит.
Тут нет смиряющего ГОСТа.
Когда несешься по Девяносто
Четвертой Интерстэйт на speed

под восемьдесят пять — миль в час
(вовек мы, рашенс, не усвоим
эквивалент), а справа с воем
летит междугородний bus,

а слева трейлер волокёт,
вихляясь, новенькие кары
в три яруса, и всюду фары,
а сзади, наседая, прет

рефрижиратор, и нельзя
прибавить: перед носом жопа
газгольдера, и — брат потопа —
дождь лупит по стеклу (на “зя”

есть рифма, безусловно, но
хуй с ней), и на спине рубаха
мокра не от дождя — от страха,
— то в мыслях у тебя одно:

Кранты. Куда глядит Творец?
Иль он перевернул бинокль?
Что здесь проговорил бы Гоголь:
“Эх, тройка” или “Всё. Пиздец.

Отъездился”. (Прости, Господь,
мне эту рифму, но что проще
чем мат для выраженья мощи
Твоей же, в сущности; и плоть

язвит он мене огня —
Тобой излюбленного средства
Свое подчеркивать соседство —
но все-таки прости меня.)

И если целым удалось
из этой вывернуться свалки,
ни о пол-банке, ни о палке
уже не думаешь. “Но, Ось,

о чем ты думаешь тогда?” —
ты спросишь. Старичок, о койке,
о жизни-хайке, смерти-гойке,
о том, что борода седа.

Вообще есть рифмы и на “лю”,
но, знаешь, в полвторого ночи
их муторно искать. Короче,
я спекся. Так что придавлю.

—

Я думаю, я первый из
письменников российских, столько
в Америке проживших. “Стой-ка, —
ты скажешь, — а Набоков?” Please,

не говорите мне о нем,
литературном василиске.
Он сочиняет по-английски.
Про писки и про ход конем.

Итак, я здесь два года. Но
все чувствую себя туристом,
натуралистом, журналистом,
и словно бы через окно

разглядываю мир, ногой
ступая по горам и долам...
Здесь главное — как сделать доллар
и как, после него, другой.

Их сделавши, стригут газон
в шесть вечера. Потом рубают.
Затем правительство ругают.
В одиннадцать слетает сон.

Правительство у них — дерьмо.
Или жулье, или вороны.
Лишь Министерство Обороны
в порядке. Но, старик, ярмо

налогов... Впрочем, ни хрена
в налоговой системе этой,
никем достойно не воспетой,
не разобраться, и страна,

внедрившая ее, вовек
непобедима. Вот в чем штука!
Что думает про невод шука,
то про налоги — человек.

Хотя — инфляция. Но тут,
при поднятом в газетах вое,
все просто вкалывают вдвое
и больше прежнего гребут.

Здесь если позовешь врача,
то год потом зубами клаять.
Здесь чашка кофе будет двадцать
пять центов. Хоть оно — моча.

Здесь башли делают на всем:
на добродетели, пороке,
на внутренней, на внешней склоке.
Мы, русские, их не спасем,

и зуб на данную страну
зря точат наши долбоёбы;
старик, чем эти небоскребы,
быстрее заселить луну.

Завоевать возможно то,
что было создано по плану.

(Приятно с циркулем тирану
прикидывать всё от и до.)

Но — Хаос. Чем его возьмешь?
Не знает Хаос Ганнибала.
Пред ним стоишь, раскрыв ебало,
и пальцы выпускают нож.

А Штаты — это хаос. Он
чужд, противоположен карте,
изученной на школьной парте.
Представь разъятый телефон,

раскромсанный будильник, мозг
вне черепа, шурупы, буквы,
труху распотрошенной куклы,
над этим — здоровенный мост,

цветных карандашей графит,
и, нитками всю вещь опутав,
Америки с двух тысяч футов
получишь регулярный вид.

Насчет их Президента. Мне
всё проще кажется простого:
он — помесь жлоба и святого.
Смесь заурядная вполне.

Когда нам говорят “говна”,
в сравнениях блестя талантом,
мы чем парируем? — “брильянтом”
иль просто посылаем на.

Что он и делает. Но зря.
Одним здесь попросту затмило,
другие дроят на кормило.
Причина: бедность словаря.

Ну, на хуй Президента (шок
такое для американца).
Но начинает заикаться,
про это говоря, стишок.

Пора кончать, как говорит
красавица под гренадером.
Я улетаю, грешным делом,
в Европу. Чемодан раскрыт,

клубится барахло вокруг.
Лечу сначала в Лондон. После
в Голландию (Петру от Оськи
нижайшее). Потом на Юг,

в Италию, в Сполето. По
делам своим оральным. Летом
в U.S. невыносимо (в этом
что рифму не ищу на “по”

пусть убедит тебя). Жара.
Ядохну при такой погоде.
Что отражается на ходе
письма и самого пера.

Старик, я покидаю текст
и данную страну, чей очерк
не в смысле, но в сплетеньи строчек
попробовал я дать. Отъезд

есть временная вещь, и я,
конечно же вернусь к обоим
(как некоторые под конвоем,
эпическую мысль тая).

Шлю данную — дойдет ли? — часть.
Я думаю, дойдет. Чего там...
У ямбов этих к перелетам
какая-то, блядь, прямо страсть.

Прощай и помни, что люблю
тебя, старуху, нашу леди,
детеныша, аз-буки-веди
зубрящего, поди, к нулю

наверно палочки пером
уж приставляющего — Боже!

как время-то летит!.. мне тоже
пора уж на аэродром.

Прощай. Увидимся ль? Бог весть.
Старик! пока на этом свете,
есть наши бабы, наши дети,
есть мы и наша дружба есть.

22 мая 1974 г., Нью-Йорк.

* * *

Старик,

ты узнаешь ли эту
строфу? С ней, вроде, ни один
из нас еще не канул в Лету
(хоть и не дожил до седин).
Ей в оны дни, при Николаше,
А.Пушкин пользовался. В наши —
ей пользовался некто Блок;
но он, увы, не поволок.
Она из моды вышла ныне,
хотя на многое годна:
на описание неба, дна
и чувств, кипящих в гражданине.
Считаю для себя лафой
писать онегинской строфой.

Итак, со мною приключился
инфаркт. Но, честно говоря,
здесь явно виноваты числа:
13-ое декабря
пришлось в тот раз на понедельник.
Пришлось надеть казенный тельник
и проваляться двадцать дней
в Сверхгороде в больничке. В ней
валяясь, прочитал я “Иды”^{*}.
Что было в жилу: я сейчас

^{*} Имеется в виду роман Т.Уайлдера “Мартовские Иды” в переводе В.П.Гольшева. (Прим. авт.)

преподаю весь этот джаз.
Понравилось. Явились виды
(рабу галеры снится плеть)
Валеры стих перепереть.

Не перепил, не перезто
при слишком медленном пере
— отсрочки заменяют вето —
ни до недо-, ни до пере-
уже давно певцу несложных
но сильных чувств. Он держит в ножнах
(в ножнах? Всегда я был глухим!)
свой меч, и порох свой — сухим.
Но — в битвах нет того азарта
хоть со щитом, хоть без щита...
Плюс — телефонные счета...
Я не Кутузов-от-инфаркта:
заманивать в такую глушь —
Старик! Да от стыда сгорю ж!

Я воротился восвояси.
Все похоронено в снегу.
Но чувство долга на атасе
стоит у чувства “не могу”.
К тому же, веры в человеке
в рутину больше, чем в аптеки:
тружусь. И, будучи еврей,
дрочу скрижали лекарей,
где к “не убий” и “не укради”
прибавились еще две-три:
“Не хавай мяса”. “Не кури”.
И “Не кирай”: не в Ленинграде.
Жизнь убирает со стола
все то, что прежде подала.

Хотя — жить можно. Что херово
— курить подталкивает бес.
Не знаю, кто там Гончарова,
но сигарета — мой Дантес.

* Валерий Катулл — один из персонажей романа. (Прим. авт.)

(Зима, тем более в пейзаже).
Она убьет меня. Но я же
ее и выкурю. Она
нам свыше, сказано, дана
— замена счастья: привычка,
строптивых вымыслов узда,
ночей доступная звезда,
без-мысленных минут затычка.
Прах не нуждается в стене:
поставьте пепельницу мне!

Мы проводили Джерри Форда.
Теперь с газетного листа
нам лыбится другая морда
(одних зубов, поди, с полста).
Жизнь продолжается при Джимми
как при любом другом режиме
она бы делала. Часы
идут. Но брови и усы
порой так прилипают к стенке,
что без ножа не отдерешь.
Что хорошо у штатских рож —
что тут они снимают пенки
четыре года, восемь лет
и — в Калифорнию билет.

Кто думает, что стал я братом
республиканцам — тот неправ.
Примкнуть что к тем, что к демократам
не в силах прирожденный граф* .
Любой издательский капитул
немедля подтвердит сей титул,
зане в строке моей любой
избыток влаги голубой.
И трёк сей звёздно-полосатый
продолжил я, чтоб утолить
а) жажду графа повторить
полет в камин Главы Десятой

* Т.е. графоман. (Прим. авт.)

(за неимением лучших дров)
б) подтвердить, что граф здоров.

Старик, темнеет. Я кончаю.
Метель, и не видать ни зги.
Уже ни кофею, ни чаю
мои не оживить мозги.
Мне тех бы апельсинов в сетке
да душных мыслей о соседке
(досугов русских грызуна).
А если мерзнуть — мерзнуть на
Тишинской площади стоянке
с крестом аптечным наравне.
Взамен чего в моем окне
в машинах проезжают янки
и негры. И, в пандан печали,
трубу терзает Паркер Чарли.

Американский свет гася
целую на ночь всех и вся,

Твой Иосиф

1977

Иосиф Бродский

ПЕЙЗАЖ С НАВОДНЕНИЕМ

В книге, работу над которой поэт завершил за неделю до своей
внезапной кончины 28 января 1996 г., объединены стихи,
написанные или завершённые после выхода сборника

Уrania (1987). 210 с.

Бум.обл. ISBN 0-87501-094-6 \$13.95

Тв.пер. ISBN 0-87501-093-8 \$24.95

Заказы просьба направлять по адресу:
Ardis Warehouse, 100 Newfield Ave.

Edison, NJ 08837

tel. (800) 877-7133

fax (908) 225-1562

Юрий Кашкаров

ОСТАТКИ СТАРОЙ МОСКВЫ (DUBIA)*

Остатки старой Москвы, еще в 60-е годы выползавшие на весеннее солнышко. Тверской, Гоголевский. Булгаковские квартиры. В подъездах специфические московские запахи — сырости, мочи, кошек, борща.

Две родственницы — машинистки, печатающие на иностранных языках, Олечка и Манечка, дочь и мать, лишенки с Лосиноостровской. Они иногда остаются в городе, чтобы пойти на концерт, спать приходят на старинный, покрытый холщовым чехлом диван под раскрашенную гравюру в ореховой раме. Перед сном слушают “театр у микрофона”, спорят об искусстве (Манечка — кузина Натальи Гончаровой, но живописи ее не любит), читают викторианские романы по-английски, пьют чай с бутербродами (калачи от Филиппова, ветчина от Елисеева). Седоусая Манечка, отрываясь от чтения, переводит вслух: “Лишь тот свободен от цепей, кто знает, что дух — только созерцатель природы”.

Наведывается слепой Горнунг, пушкинский родственник. Он тоже любит пофилософствовать:

— Говорят, что восемнадцатый век проделал великую чистку мироздания и сознания. А он ничего не проделал, только все испакостил. Впрочем, так называемой нынешней цивилизации, как и всякому страданию, когда-нибудь придет конец.

Олечка привычно пугается. Ей кажется, что в мысли Горнунга есть что-то антисоветское. Косясь на меня, шепчет Горнунгу: — Детей надо учить на положительных примерах.

* Публикуемый текст был найден в бумагах Юрия Кашкарова. Хотя на машинописи нет имени автора, в ней присутствует обширная рукописная правка, сделанная Ю.К. И стилистически и тематически этот текст соответствует характерным чертам прозы Ю.К. К печати очерк подготовил А.А.Пушкин.

Приходит купеческая дочь Любочка Куртнер по кличке Люба-Нос, приехавшая из Углича сдавать вещи на комиссию. Когда-то жила рядом, на бульваре, в отцовском доме, где впоследствии обитал писатель Платонов. С Угличем у нее давняя связь: отец торговал там ананасами, бананами. Что это такое: ананас?

Время от времени появляется Ниночка Привалова, из тех самых “приваловских миллионов”. Опять комиссионные дела.

Врывается приятно пахнувший свежей краской сосед Сережка в рваной телогрейке, художник, сын прадедушкиного денщика. Говорит об искусстве, о том, как сходил с ума Врубель, и какой он был великий художник. Любимый вопрос Сережки:

— Наталья Александровна, а когда вы лишились невинности?

— Отстань, дурак! — Оба хохочут. И опять разговор об искусстве.

В коммунальном сортире на подтирку идет “Уединенная муза Закамских берегов” казанской поэтессы Анны Наумовой и анонимное — “Геройский дух и любовные прохлады Густафа Вазы, короля Шведского”.

У Палашовских бань стоит длинная очередь, но веники давно кончились.

Дивно пахнет в августовскую темную ночь душистый горошек, купленный на Палашовском рынке.

— В 18-м папа служил в Управлении дорог, потом, знаете ли, его уволили. Жили продажей вещей. Вот, от прошлого осталась одна чашка. Чрезвычайно тонкий фарфор, дедушка купил бабушке сервиз на Парижской выставке. Что не продали — побили.

Еще одна обжитая долгими годами страхов и нужды комната. Мы в гостях.

— Как же, помню Желябужскую. Тут всегда сидела, в этом кресле, иногда вместе ходили к Екатерине Дмитриевне Бальмонт в Хлебный переулок. Екатерина Дмитриевна была женщина красивая, прохладная.

— Павел Мансуров, он был замысловат и страшно деликатен. Ужасно боялся боли, и сам никому ее не причинял. Отец его служил послом в Константинополе, а Павел умер от чахотки в Верее, возле дома дураков.

Вечер. У дома дураков за Грызином сидит на пеньке дед, рядом с ним лежат палка и злющая сука Ралька, на его худых острых коленях тяжелое бельгийское ружье. Я ползаю по поляне, собираю переспелую землянику, которую дед любит, но ему лень самому нагибаться. Дед развлекает меня воспоминаниями о своем брате:

— Митя вернулся из Сибири в жару, в бреду. Год был, если не вру, то ли 18-й, то ли 19-й. В доме жить не стал, поселился в лакейской избе с крестьянкой — нашел в Сибири. Она за ним ходила, а нам родители запретили с ними общаться. “Там эта женщина”, — брезгливо говорила маман. Новости о его самочувствии приносила горничная Груша. Да нам было, можно сказать, не до него: в дом вселился какой-то непонятный совхоз, и ориентальные девицы — одна мне чертовски нравилась — день-деньской отстукивали на машинках нескончаемые инвентарные списки. Это у них с первого дня во главе — учет. И чтобы потом распределять. Бандиты-распределители! Девица же была чудо как хороша.

Раз из Москвы приехал молодой человек, пугливый, пальцы длинные, пианистические, профиль лошадиный. Сказал, что учился с Митей в университете. Посидел у брата в лакейской, вышел будто ошупью, пошел не туда, наткнулся на мокрый куст жасмина, всплеснул руками и исчез. Потом мне сказали, что он — поэт. Пробовал читать его стихи — тьфу! Нет, лучше Жуковского и А.К.Толстого никто уже, кажется, больше не напишет.

— А что стало с братом? — спрашиваю я, подходя к деду с лукошком земляники.

— Умер от тифа, — кратко сообщает дед. Он занят теперь земляничкой, ему не до воспоминаний.

Потом мы бредем с ним домой в деревню через скошенный луг, мимо сломанной тонкой осины, между маленьких елок, через мхи, поляны, полные лесных фиалок.

Впрочем, прихотливая память допускает провалы. И перестановки. Поэтому, все мемуары врут, и большинство из них должны называться романами.

Надсадно кричат грачи, располагаясь на ночлег в высоких кладбищенских липах. На окнах ее комнаты букеты болиголова и васильков в бутылках из-под кефира. Этим летом бочки во дворе рассохлись, заросли жирными лопухами и крапивой. Через дорогу живет староверческий батюшка с ветхозаветным именем Иоиль. “В Боровске пещь огненная”, — время от времени бормочет он, поглядывая на холм на другом берегу реки — там стоит райком партии, а был когда-то острог, где томились боярыня Морозова с сестрой.

— Как я люблю то место в “Бесах”, когда Степан Трофимович уходит умирать от суеты своих сложных отношений с генеральшей Ставрогиной, от бесенка-сына в светлую умиротворенность крестьянской избы, на лежанку, в чтение жития Марии Египетской, — говорит Мария Федоровна гостю Померанцеву.

Она живет у бабки Настасьи в Высоком уже давно, с конца войны. Осенью 41-го года она вернулась в Верею из своей последней ссылки, и вскоре Верею заняли немцы. Теперь можно было попробовать пробраться к сестрам в Париж, и она уже стала собираться, приготовила серый холщовый мешок, с которым всегда паломничала, сложила туда письма, фотографии, рукописи мужа. Пришел с обыском немецкий патруль, стали рыться в вещах. Мешок вытряхнули на мерзлую грядку. Ветер разнес бумажки по саду. Она ходила среди облетевших кустов крыжовника, собирала то, что ветер не успел унести. Пробираться в Париж передумала.

— Картошечку подрумяньте, она уже приготовлена на сковороде, — просит Марья Федоровна Померанцева. Самой ей идти лишний раз к плите трудно.

Прохладный вечер. Над самоваром вьется синеватый тонкий дымок. Паша сидит вежливо на краю скамейки в беседке, пьет чай вприкуску, отхлебывая из голубого блюдца. В саду осыпается яблоневый цвет, голубеют незабудки, желтеют примулы. Бабушки снисходительно слушают Пашины рассказы.

— А вот еще у нас в деревне старуха на печи раз замерзла. Пришли, кирпичи под ней холодные, и она холодная. Да, вот как бывает. Ну, Бог с ней, замерзла, значит, не миновать ей. А еще тут погорелые приходили. Мне как раз деньги выпали. Напервое в церкву дала — услышь мое дарение, Господи, не услышь мою

хвальбу, нате вам рублевочку. И погорелым дала. Говорю: “Приходите ввечеру, чайку попьем с помадкой”. Бережно — не денежно, чего беречь.

Бабушке Наталье скучно слушать Пашины пустяки, она зевает.

— Зевотина сейчас по всем пойдет, — замечает наблюдательная Паша. — Один зевнул, она и пошла. — И продолжает: — Да чего там, весь свет на плутовстве стоит. Все озорники, все пьяницы, все воры. Один мой старичок не пьяница был. Всегда говорил: “Паша, эдак людям делать нехорошо”. Сами-то мы Богу молимся, а думаем не знаю о чем. Царь был один, пришел в церковь, молился Богу до полобедни, потом стал думать: “Как-то я дом построю, плотники какие подберутца?” Помер царь, Бог его на небе спросил: “Царь, ты был у обедни?” — “Ну, был”. — “Полобедни ты только был, а другие полобедни дом строил”. Да и о чем мы думаем? Обо зле думаем. Ныне я сама в церкву как в роскошь хожу, на людей погляжу, они на меня.

Бабушка Наталья с цветком шиповника за ухом начинает напевать романс Шуберта *Auf dem Wasser...* Бабушка Елизавета гремит перемываемыми чашками. Одаренная хлебом, вареньем и травой для козы, Паша уходит, кланяясь на прощанье:

— Господи, каких ты мне показываешь хороших людей! А вы бы меня, люди, не брезговали, а я никем не брезговаю.

— Все-таки в больших количествах Паша несносна, — говорит бабушка Наталья и встает из-за стола, отправляясь читать “Моя жизнь дома и в Ясной Поляне” Кузьминской.

Встречи, отпевания. В Обыденской церкви ко мне подходит маленькая старушка в черной шляпке:

— Мне сказали, что отпевают Наташу К. Мы с ней учились в Дворянском институте. Меня зовут Нина Подгоричани.

— Неужели? Как приятно. Мне бабушка говорила, что вы, скорее всего, давно умерли.

Нина Подгоричани подходит к гробу, наклоняется, чтобы посмотреть получше:

— Боже, как мы все постарели! И это ты, Наташа?

Отодвинув венчик, целует покойницу в желтый костяной лоб:

— До свиданья!

Любочка Куртнер умерла на чердаке в своем Угличе. Ниночка Привалова перестала появляться. Манечка умерла в больнице, а Олечка в сумасшедшем доме. Картины Натальи Гончаровой выбросили на помойку новые жильцы, въехавшие в их комнату. Они им тоже не нравились.

Юрий Кашкаров

СЛОВЕСА ЦАРЕЙ И ДНЕЙ

Повести и рассказы великолепного мастера русской прозы, многолетнего редактора "Нового Журнала", складываются в трагический портрет России от Смутного времени до брежневских десятилетий.

(266 стр. ISBN 0-89830-112-2)

Цена книги \$20.00, пересылка \$1.50

Заказы просьба присылать по адресу:

The New Review
611 Broadway, Suite 842
New York, NY 10012

Ирина Машинская

ПОСЛЕ ЭПИГРАФА

ОСЕНЬ В МИХАЙЛОВСКОМ

На ковриги, на коряги наступали мы в лесу.
Мы не жгли плохие книги, мы не мучили лису.

Мы такое время года обнаружили впадом,
чтоб горящее с исподу само плыло в самопад.

Это кто летит навстречу, мы его перевернем.
У него изнанки нету, только стороны вдвоем.

Нету тайны, нету пытки, ветер дунет второпях:
этот прыгает на пятке, этот едет на бровях.

Отчего так много пятен, очень много синевы?
Мы невнятен, непонятен, незанятен, как и вы.

Ты зачем, дурак, гордишься, ты такой, как мы, дурак.
Ты на то, что мы, садишься, то же синее вокруг.

А физическое тело завтра новое возьмем,
тупорылое орало в звездный меч перекуем.

Мы не будем разрываться, внутри нету ничего,
только эху разрыдаться *мимо дома ничьего*.

Снизу желтый, сверху синий, фиолетовый венец.
Мы спокоен, мы свободен, мы спокоен наконец.

Октябрь 1995

* * *

Хомячок, хомячок
Это ничего, что у тебя мозг с пяточок
Вот куплю тебе клетку —
внутри палку, снаружи плетку
Будешь сидеть, смотреть на дверь,
как настоящий, большой зверь.

1995

ПОСЛЕ ЭПИГРАФА

Что — *при музыке*? такая, значит, музыка.
Батарей, раковина, мусорка.
Вхлюп уходят дни мои несчетные:
в сток уставлюсь, как те — в дали светлые.
Меня женщиной родили, слово жуткое.
Уголовщина, татарщина. Ну, утка я,
а не селезень. Добро б одна лингвистика —
высохну ведь, ни цветка, ни листика.

Говорят, я в детстве была тихая.
Я и помню: было тихо. Тикало.
Двор корябал по стеклу московской коркою.
А теперь я — что, скажете, громкая?
Ну, при музыке, она одна товарищем
будет нам, как понесет пожарищем.
Говори со мною, жизнь, музыкой выпременной,
так все легче званой, может, избранной.

1995

* * *

Он вернулся из сада
и снова лег
и ноги его были холодны от ночной травы
Светлее комнаты,
горьких наволок
были только швы

улицы меж набежавших штор,
и жалость, которую ни к кому
не надо чувствовать,
ни о ком,
сама руку протягивала к окну,
к голове, еще пахнувшей табаком.

1995

* * *

Когда за тобой горизонт, как занавес,
падает, то одномерность странствия
явственна: чувство запомнит азимут,
как ни раскачивай. Странно, ведь

точно знаешь, в какую сторону
руки тянуть; и горизонтальность
этой знакомой тоски упорной
уже не требует доказательств.

...Как я тянусь к тебе, может, чувствуешь —
превозмогая земли вращение —
всей безнадежной длиною улиц
города, данного мне в ощущение.

В городе этом и сила тяжести
кажется вытянутой к горизонту,
нету поэтому большей радости,
чем разматывание узоров

этих решеток вдоль длинных улиц,
этих витиеватых лестниц,
этих, вдоль длинного неба, узких
туч, тянущихся к Адмиралтейству.

1984

* * *

К.С.

Знаешь, не будем спорить, спор — слеп.
Слишком ты умный, — скажем, — да глуп.
Лучше пойдем на пристань,
а если будет хлябь —
сапоги наденем, пойдем в клуб.

Через реку идет паром — чуть вкось.
Я люблю, чтоб туман и такой вот неяркий день.
Давай жить, не спрашивая, где пришлось.
Длинною гривой — пашня,
а лес будет — конь.

Пусть он тронется шагом, пускай мгла
снова на реку ляжет, пойдем вспять.

Потому что ночное встает, светлое А
и я чувствую — лишнее это: ять.

Видишь, след под ногами: белой воды круг.
Туда, как орган чувства, сюда плывет.
Влажное сердце ложится в туманный лог —
будто всегда оно тут живет.
1984

САГА

1-й подъезд:

Челюкановы, Пряхины, близнецы Овсянниковы, земледельцы
Китайкины, все уменьшающаяся баба Дора, Лена Кузнецова,
Юра Панфилов с матерью, Галёмины на втором, их родители
на третьем.

2-й подъезд:

хозяйственные Сьомко, хулиган Блузов Олег с матерью и бабкой,
тетя Зоя из “Спортпроката” с дядей Алешей,
Юля и Андрюша Шевченко, Коля, мы, Ядвига Густавовна,
безумные Рутковские, Лошкарёвы, Сироткины Наташа и Витя,
тетя Соня с точно такой же сестрой, Дзюенки.

1995

* * *

не растрчивай словасловаслова, —
говорилаговорила голова
я ей головой кивала, но ей-ей
укачало от учителей

слово медленное, словно сухогруз,
черный ум везет в Экибастуз
ох уж там намнут ему бока,
ох и поваляют, дурака

чтоб ему да чтоб его да ой
ты зачем не острый а тупой
но зато под угольной горой
выйдет он упругий молодой

из метаморфических глубин
из метафорических темнот
вынесет он звук, что ни один
не добыл обидчик алладин

и над полем, черным с сединой,
тот же звук, но в скорописи звезд,
напевая, повернет домой
прямиком, а стало быть в объезд

потому и тащит за собой
слово медленное как порожнюю баржу
потому и бормоча свое гугу
не посмеет “больше не могу”

80-е/ 17 ноября 1995

ШЕСТЬ С ПОЛОВИНОЙ

Пришла, теперь стою,
плачú. Потом стою
и ожидаю сдачу.
На что я время трачу.

Холодный день пришел.
Но он уже прошел.
Была бы из Заира —
Не звали б меня Ира.

Поедешь вниз: метро.
Поедешь вверх: светло,
не надо убиваться,
а надо наслаждаться.

Уже грачи летят,
остаться не хотят.
Сойти с ума по службе —
занятно. А по дружбе

сходить с ума зачем?
То был ничьим, то всем.
Перрон в бессмертье подан,
он пуст куда полон.

Я так могу нести
до десяти шести.
И то — часам заплатка.
Легка моя палатка.

Я у тебя в горсти.

Октябрь 1995

Ирина Машинская

**ПОТОМУ ЧТО МЫ ЗДЕСЬ/
BECAUSE WE ARE HERE**

Книга стихов с русскими и английскими текстами

ISSN 1074-4622 \$6.00

Lunar Offensive Publications (#7)

1910 Foster Avenue

Brooklyn, NY 11230-1902

tel. (718) 434-7354

Марина Георгадзе

ТРУДНОЕ ЛЕТО

1

Энди проснулась на даче от затекшей ноги. Потому что на ноге спала тяжелая Матильда. Надо было очень осторожно и медленно вытащить ногу из-под Матильды — сантиметр за сантиметром — чтобы она не проснулась и не обиделась на весь день.

Энди делала это очень долго, мучаясь скукой и судорожно думая о смысле жизни с того места, с которого бросила думать, засыпая. Похоже, в мире существовало всего два осмысленных занятия: писать на книжках сказки или рисовать картинки. “Нет, писать буду, — думала Энди. — Или рисовать?” Решать надо было срочно, потому что жизнь могла вот-вот начаться, и времени в ней было мало.

Наконец, нога освободилась, и Энди прыгнула с кровати. В движении было спасение от раздумий — или, по крайней мере, на бегу они не казались такими безысходными.

В окне было серо и ветер, который очень красиво взрывал кроны деревьев вдоль улицы. Энди посмотрела на деревья, и сердце у нее упало. Вот они перед глазами, прекрасные и одинаковые: Деревья-на-Ветру, так их зовут и таково их непреложное место в мире. И всякий смотрящий знает без вопросов, что они такое и зачем. А она? Беспельное существо с бессмысленным именем, с трудом верящее в свое собственное существование. И вот, опять начинается день, и надо в нем что-то делать и куда-то ходить; мучительно придумывать дела и походы, потому что чуть остановишься, и пустое время провисает как шкура на худой весенней Матильде, и ты сама начинаешь исчезать — *диссоциироваться*, как говорит Мама.

Куда лучше быть деревянной, привязанной корнями к одному месту у всех на виду, так что ни у кого никогда не возникнет сомнения в том, что это — Твое место.

А уж срубят — так срубят.

2

На самом деле ее звали не Энди, а так же, как Маму. Но Баба Киса, мама Мамы, сказала что это безобразие — назвать дитя в честь родителя; что это очень плохая примета, — и придумала временное имя Энди. И даже Папа, который обычно на слова Бабы Кисы отвечал одно: глупости! — даже он не воспротивился...

— И с тех пор все всегда тебя называли Энди, — рассказывала Баба Киса, — а придумал кто? — Быбря! — она звучно стучала себя кулаком в грудь.

Да, все так ее звали, и даже Баба Дина, мама Папы.

— Что это за Энди? — однако говорила Баба Дина, — то ли мальчишка, то ли собачка. Ты же девочка. Помню, когда я работала в техникуме, к нам пришла одна такая Люба. Я ей говорю: Люба, иди к доске, реши мне эту задачу, а она вдруг расплакалась, — ой, говорит, Дина Санна, я Вам так благодарна, что Вы меня по имени зовете! Нас в детдоме только по фамилии называли. Видишь, как бывает! А ты свое имя на какую-то кличку меняешь.

Любопытно, что Баба Дина, если рассказывала о своей жизни, то исключительно о том времени, когда она преподавала в техникуме куче поучительных мальчиков и девочек.

Баба Динин Дед, единственный дедушка на примерно семь Эндиных бабушек, вспоминал всегда о войне. Все его рассказы содержали вещи на *ки*: портянки, землянки, танки, — и еще картошка; а война в них то кончалась, то опять начиналась, то куда-то шла...

Баба Киса, та была лучше других, помнила веселые вещи: дозамужество, когда она училась на актрису в театральном институте в Тбилиси — "такое платьице мне мама пошила, в горошек, одно только платьице и было, зато как весело! не то что вы теперь, вот и ходят, опустив носы, хо-хо!" — и рассказывала, как ела пончики на Руставели, как училась у профессоров безболезненно падать перед зеркалом, и как-то даже убегала по крышам от каких-то циркачей.

Это было весело, и Энди тоже пыталась учиться падать, чтоб не было больно, и насмерть перепугала как-то бабушек-близнецов Тину и Олю, которые, вступив в комнату, застали ее лежащей навзничь и без движения у порога. А Папа вспоминал про себя смешные истории: как его чуть не убило снарядом во младенчестве: “Я лежу в колыбели, а снаряд в-з-з-з-! — врезается в стену над моей головой”; как потом любимая курица, которую он всегда носил на плече, чуть не выклевала ему глаз. “И все равно я плакал, когда ее сварили”, — заканчивал Папа.

И все-таки все они рассказывали про себя одно и то же, будто из необозримо долгой прошедшей жизни прожили каждый самое большее по месяцу, а на остальное время были поставлены в холодильник.

“Неужели и со мной такое случится — нет, никогда!” — думала Энди, и с новой силой принималась искать, чем бы заняться в жизни.

Мама рассказывала о героях прошлого, таких как Авиценна и Федерико Гарсиа Лорка — оба мужчины, хоть и с женскими именами; рассказывала о зверях — особенно подводных; о странных существах с других планет. Ее истории были всегда яркие, разные и таинственные, и никогда не имели конца. О своем прошлом Мама никогда и ничего не рассказывала, так что Энди приходилось спрашивать Папу и Бабу Кису, и они, конечно, удовлетворяли Эндино любопытство, но при этом казалось, что рассказывают они не про Маму, а опять про Авиценну.

3

Энди с трудом отодрала глаза от деревьев.

Ее глаза имели странное свойство прилипать к вещам, забывая мигать, так что для того, чтобы перестать смотреть, надо было отвернуть всю голову.

Однажды Энди подслушала сквозь картонную стенку разговор Бабы Дины и Папы. Баба Дина говорила, как обычно, громким полупшепотом:

— Смотреть не мигая — плохой знак. Вы должны показать девочку психиатру.

— Да брось ты, мама, — отвечал Папа, как обычно, полукриком. — Тебя послушать, все сумасшедшие.

Энди было обрадовалась, но к психиатру все не вели и не вели. В конце концов, Энди осторожно спросила у Мама — а когда мы пойдем к психиатру?

— Зачем? — удивилась Мама.

Уже чувствуя, что делает что-то не то, Энди объяснила. Ночью, лежа в кровати в темной комнате, она слушала, как Мама с Папой ссорятся на кухне — по отдельным словам Энди поняла, из-за чего ссора. Она никогда раньше не слышала, чтобы Мама с Папой кричали друг на друга и решила, что теперь они непременно разведутся. Думая о том, как исчезнет Папа — а с ним все игры, шутки, возня — она начала потихоньку плакать. Чем дольше плакала, тем хуже ей становилось. В тот момент, когда она решила, что сейчас просто взорвется от горя, горе вдруг кончилось, и Энди подумала со странным равнодушием: “Пускай хоть все на свете пропадает, лишь бы Мама осталась”. Она удивилась этой мысли, потому что всегда считала, что любит родителей одинаково.

Тут Мама как раз заглянула в комнату и всплеснула руками: “Что ты плачешь? Показалось что-нибудь?” — и легко убедила Энди, что никакой ссоры на самом деле не было.

...Энди вздохнула и взяла со стола список, оставленный Мамой в воскресенье вечером, перед тем как родители ушли на поезд в город. Список гласил:

“Если скучаешь:

1. Постирай сама носки, трусы и майку.
2. Почитай.
3. Нарисуй индейца.
4. Напиши новую главу Энди.
5. Не забывай каждый день менять повязку на плече, и тогда будешь хорошая девочка, мамина и папина мурка”.

Энди опять вздохнула и потрогала плечо, на котором уже третий месяц не переводились нарывы. Ощущение боли сквозь бинт было отчасти приятным. На столе лежал вчерашний портрет индейца с недокрашенным лицом: красного фломастера хватило только на одну щеку.

Энди подняла с пола тетрадь, на которой кривыми буквами было выведено: “Приключения Энди и ее Друзей”, и вместо своей кровати залезла на родительскую Купольную тахту — чтобы не тревожить Матильду. Купольная отличалась полукруглой формой. Мама ложилась на правую сторону купола и скатывалась с него к стенке, Папа ложился слева, и частенько пару раз за ночь обнаруживал себя на полу.

Энди измерила пальцами исписанную часть тетради: толсто, хорошо. Засунула в рот прядку волос и начала:

“Однажды Энди проснулась, встала, позавтракала и пошла проведать своего друга Джанбаттиста. Но его не оказалось дома. — Где же Джанбаттиста?! — сказала Энди. И она пошла его искать.

Она шла и шла полями и лесами, и наткнулась на Мотоциклиста с мотоциклом.

— Пойдем со мной, — сказала Энди Мотоциклисту.

— А что такое?

— Джанбаттиста пропал.

— О Господи! — только и ахнул Мотоциклист и без промедления прыгнул в мотоцикл. Энди прыгнула рядом с ним и Мотоциклист нажал на педаль.

Они летели полями и лесами, и пролетели над оградой одного замка. Они спросили людей в замке, не видели ли те Джанбаттиста. Но люди ответили коротко: нет.

Скоро они проголодались и увидели банановое дерево. На нем висели бананы.

— Чего не съешь с голодухи! — сказала Энди, и они быстро наелись бананами.

Они сели в мотоцикл и поехали дальше.

Они заезжали во все кусты справа и слева от дороги, но Джанбаттиста все не было и не было. Энди стала волноваться. Вдруг...”

Энди остановилась и задумалась: что — вдруг? Бешеный слон, немцы, милиционеры, взрывчатка в Университете — все это уже было. Энди вздохнула еще тяжелее, чем прежде, и написала:

“И вдруг перед ними привстала стеклянная гора”.

Потягиваясь задними лапами, из-за ее локтя вышла Матильда, раздраженно понюхала страницу и легла на тетрадь. Энди замерла. Чтобы Матильда сама пришла и легла к тебе — это была великая честь. Теперь как бы не обидеть. Матильда любила Маму и даже иногда сидела у нее на руках. Иногда — но не всегда — терпела Энди. Остальные живые существа она ненавидела глубоко и страстно.

— Энди, подъем! Завтрак готов! — раздался с террасы крик Бабы Дины.

4

Трудное лето — на этом Баба Дина и соседки Катерина и Толстенькая Тетя соглашались. Баба Дина и Катерина окучивали и пололи каждая на своем участке, а утомившись, сходились в теньке у забора. Толстенькая же Тетя была слишком толстенькой, чтобы окучивать, и просто заходила то на один, то на другой участок постоять с ними у забора.

Энди обожала слушать разговоры взрослых и всегда оказывалась поблизости, делая вид, что обнюхивает какой-нибудь пион.

Разговоры взрослых завораживали ее своей горячностью и бессмысленностью. Они как-то умудрялись никогда даже намеком не затронуть хоть сколько-нибудь интересную тему. Все, о чем они говорили, было бессмысленно от начала и до конца. И тем не менее, произносилось столько слов; говорилось часами, с необъяснимой, но очевидной страстью... Тайна, тайна... Только Мама говорила осмысленно, но очень мало и редко. А Папа не говорил, а шутил или спорил.

Баба Дина и соседки обсуждали знакомых, приходя к выводу, что все они до одного — сумасшедшие, и ругали трудное лето. Было жарко и сухо, ничто не росло как надо, хотя, сколько помнила Энди из предыдущих лет, оно никогда не росло как надо. И в округе горел Торф — огромный человек с бородой, или даже просто борода без человека.

5

Лето и впрямь было трудное.

Во-первых, надо было ждать Маму и Папу с понедельника по субботу, и эти пять дней тянулись лет тыщу, а суббота и воскресенье длились час — и вот родители опять уходят через кукурузное поле и лес к станции — в город, на работу. Энди не могла привыкнуть к этой несправедливости, и каждый раз устраивала, по словам Папы, “безобразный рев”.

Кроме того, Энди поссорилась буквально со всем светом.

Поссорилась — впервые в жизни — со старшей кузиной Ириной. Прошное воскресенье они стояли на террасе, слушая как взрослые за столом спорят, как обычно, о капитализме и социализме, то есть, все хором кричат на Эндиного папу, а он кричит один на всех — и перекрикивает. Болея за Папу, Энди тихонько подпрыгивала на месте от возбуждения. Ирина внимательно разглядывала свои пальцы, то на одной, то на другой руке.

— Форма рук у меня — как у Анны Австрийской, — сказала она, поднося руку к Эндиному носу, — видишь?

— М-м-м—да... вижу, — сказала Энди, покосившись на ее ладонь. — Слушай, а скажи мне... вот ты знаешь, что ты будешь делать, когда вырастешь?

— Конечно знаю, — пожалала плечами Ирина, — то же, что и все. Пойду учиться, потом выйду замуж и рожу детей — мальчика и девочку.

— Зачем?

— Что зачем?

— Детей?

— Глупый вопрос. Каждая женщина должна иметь детей, — сказала Ирина поучительным тоном.

— Не знаю... по-моему, котят гораздо приятнее, — прошептала Энди себе под нос.

— Что?

— Ничего. Ну, а дальше? Родишь ты своих детей — а дальше что?

— Буду работать. Зарабатывать на пенсию.

— И все?

— А что тебе надо? — начала раздражаться Ирина.

— Мне ничего не надо, — сказала Энди. — Только, по-моему, это ужасно скучно. Зарабатывать всю жизнь на пенсию, когда ты станешь старая и все равно скоро умрешь. Тогда надо сразу умереть, чтоб не возиться.

— Ты просто маленькая еще и дурочка, — сказала Ирина.

— Ты очень умная. Как Анна Австрийская, да? А сама Трех Мушкетеров только сейчас прочитала, и то только потому, что мой папа тебе книжку подарил на день рожденья. А я, между прочим, их уже тыщу раз читала. И Геродота.

(Когда-то давно Папа гордо говорил по телефону: “А моя четырехлетняя дочь читает Геродота”, — и Энди это хорошо запомнила.)

Ясно, они поссорились.

А вскоре Энди поссорилась с Андрюшкой-и-Андрюшкой из-за Америки. — Когда мне исполнится пятнадцать лет, — сказала она, — я сяду на коня и поеду в Америку.

— И никуда ты не поедешь, — сказали Андрюшка-и-Андрюшка. — Никто никогда в Америку не ездит, и ты не поедешь.

Теперь было не с кем воровать иргу у Толстенской Тети.

6

Энди поссорилась с Ириной и Андрюшками, а вещи, как видно, решили поссориться с Энди.

Энди любила вещи, очень привязывалась к ним; взять хоть ложечку с попугаем, или елочного цыпленка с пластырем вместо одного крыла. Но любила она их старыми и грязными, и непрерывно теряла — может, потому?

В серванте на кухне стояла красная чашка, из которой по неизвестным причинам никто никогда не пил. И вот, с некоторых пор, стоило Энди переступить порог, — чашка начинала смотреть на нее своим красным боком — насмешливо и зловеще. Даже стоя спиной к серванту, Энди чувствовала неприятное прикосновение этого взгляда. В результате за завтраком — завтрак обычно ели на кухне — у нее совершенно не было аппетита.

Однажды вечером Баба Дина уложила ее спать и ушла на террасу смотреть с дедом телевизор. Энди, как всегда, лежала с открытыми глазами и думала разное; скоро глаза привыкли к темноте и вещи стали проявляться: Купольная, стол, стул, ком одежды на стуле, этажерка — все одинакового ночного цвета. Тщетно пытаюсь заснуть, Энди почему-то не могла отвести глаз от полосатого стаканчика с зубными щетками на верхней полке этажерки; в конце концов, ей стало казаться, что стаканчик не такой бесцветно-серый, как все остальные вещи в комнате. Она присмотрелась: теперь ясно стали видны яркие оранжевые и синие полосы на стаканчике. Похоже было, что он даже слегка светился изнутри.

Если посмотреть на яркую лампу, а потом выключить свет, в глазах еще долго будут плавать яркие комки — эхо выключенного света. Но сколько времени они могут плавать?

Еще немного — и свечение перешло на зубные щетки. Энди, как предписано, зажмурилась, ущипнула себя за руку, шлепнула по щеке, потом опять посмотрела: от щеток исходило пышное, как Матильдин мех, свечение. Едко светясь, зубные щетки подпрыгивали вверх-вниз. Энди сошла с кровати и сделала два шага по направлению к этажерке. Щетки прыгали. Одна — зеленая — прыгнула выше других, выскочила из стакана и пошла отплясывать по полке. За ней другая. Живот Энди сжался в кулак, она хотела бежать, но колени превратились в кисель. Она не могла оторвать глаз от светящегося стакана, из которого уже почти все щетки вылезли и разбрелись по полке.

Сколько времени это продолжалось — трудно сказать, но точно до тех пор, пока откуда-то с потолка не спрыгнула с громким вопросительным мурчанием Матильда. Энди нагнулась, схватила кошку на руки и спрятала лицо вместе с глазами глубоко в мягкую пышную шерсть, напоенную ароматом рыбных тефтелек. Матильда долго позволяла прятать лицо в своем меху, а потом просто вылилась из рук, стукнулась об пол, и тут же взлетела на кровать. Энди последовала за ней, и только тогда осмелилась оглянуться в сторону этажерки.

Там ничто больше не светилося, и щетки в стаканчике с трудом можно было различить среди общей массы наваленных на полке темных предметов.

7

Наутро Энди потрогала щетки: обычные, слегка пыльные щетки. Еще несколько скрепок на дне стаканчика. Трудно поверить, что ночью эти же щетки так издевательски прыгали по полке; или что Матильда, в то утро особенно злая, когда бы то ни было могла сидеть у Энди на руках.

И тем не менее Энди даже сама перед собой не могла притвориться, что все это ей приснилось.

— Хуже всего, — думала она, сидя после полудня в своем любимом кусте, — хуже всего, что это так не просто невероятно, но и смешно: какие-то дурацкие щетки. Если бы на этажерке бешенные слоны плясали, было бы далеко не так страшно.

Нечего и думать о том, чтобы кому-то об этом рассказать: поднимут на смех. Единственный человек, который мог поверить — Мама (а Папа будет смеяться громче всех) — не появится до субботы, или, в лучшем случае, пятницы.

Пожалуй, впервые Энди, привыкшая — и любившая — выкладывать про себя абсолютно все абсолютно всем, вынуждена была держать нечто важное в тайне. И это оказалось трудно.

8

День оставался серый, но удушливый. После завтрака Энди вышла за ворота дачного поселка, хотя детям младше десяти это запрещалось; ушла в Футбольное Поле, разбитое за Канавой рядом с участками, легла в траву и приблизила глаза к зеленым стеблям. Иногда, если полежать так подольше, можно было попасть в Зеленый Город. Стебли травы превращались в зеленые остроконечные здания, ростом каждое этажей в сто, не меньше: острые как иглы здания; зубчатые здания, пирамидальные. Верхушки зданий сияли и раскачивались высоко в небе, а вокруг жужжали вертолеты. Улицы в Зеленом Городе были прямые и вдоль них всегда дул ветер. По улицам, хохоча, шли люди одетые кто в просторные балахоны, кто в обтягивающие гимнастические трико. Но больше всего Энди нравились лица людей: не то чтобы особенно красивые, но каждое лицо имело свое собственное выражение, а вовсе не одно на всех, как в реальных городах.

— Ну, и как ты расцениваешь свой поступок?

Энди вздрогнула и села; Зеленый Город ушел водой в песок. Над Энди возвышалась Баба Дина, и выражение ее лица не предвещало ничего хорошего.

— Какой поступок? — пробормотала Энди, и тут же поняла: ворота!

— Мама разрешила мне выходить за ворота, если днем. Не веришь — спроси у нее в субботу.

— Какие ворота? Не притворяйся. Ты прекрасно знаешь, о чем я говорю.

— Правда не знаю. О чем?

Энди судорожно перебирала свои грехи. Грехов, как правило, бывало много. Но как раз сегодня, как ни странно, она, кажется, чиста. Баба Дина посмотрела ей в глаза, увидела там невинность и засомневалась.

— Кто же как не ты? Я? Дед? — продолжала она менее уверенно, и вдруг при слове дед нахмурилась, будто осененная неприятной догадкой.

— Что — “кто как не я”?! — крикнула Энди.

— Понимаешь ли ты, — заговорила Баба Дина уже совсем не обвинительным тоном, — что твои родители трудятся с утра до вечера, чтобы заработать на еду дочери? А ты выбрасываешь их усилия в мусорное ведро. Я уже не говорю о детях в Южной Африке — тысячах и тысячах детей — которые даже и не мечтают получить на завтрак сырники.

При слове сырники молния вспыхнула в Эндином мозгу. Конечно, как она могла забыть! Сегодня утром, стоило Бабе Дине выйти из кухни, она тотчас переложила эти огромные сырники из тарелки в стоявшее под столом мусорное ведро — причем, положила сверху, даже не позаботившись прикрыть слоем мусора. О чем она только думала?

— Если тебе не хотелось есть, — продолжала Баба Дина, и голос ее звучал все мягче, — почему не сказать мне?

— Я не выбрасывала, — сказала Энди мертвым голосом, созерцая собственные пальцы, которые рвали травинку на мелкие кусочки. Случай безнадежный. Всего-то их, евших сырники, было: она, Баба Дина, Дед и Матильда. Кто из оных мог выбросить сырники в мусор — угадать не трудно. Как она могла настолько потерять

бдительность? — видно, сказала городская привычка выворачивать тарелку в окно: еда летит с высокого этажа и пропадает навсегда. Но здесь, на даче... врать дальше бесполезно — и все-таки Энди продолжала врать.

— Не выбрасывала, говоришь? — повторила Баба Дина, скорее вопросительно, нежели угрожающе. — Хорошо, идем домой, там разберемся. Ну, если это он опять...

Энди так удивилась, что забыла свой страх. “Он” мог быть только Дед — но как Баба Дина, такая разумная, могла допустить, что Дед, который никогда ничего не оставлял на тарелке, ел жадно и быстро, и почти всегда по две порции, — что он вдруг возьмет и выбросит совершенно съедобные сырники в мусорное ведро?! Загадка. “Да, здесь какая-то тайна”, — думала Энди, плетясь за Бабой Диной обратно на участок.

Вечером, полежав некоторое время в темноте, Энди уже собралась было включить под одеялом фонарик и начать читать, потому что, во-первых, не хотела спать, во-вторых, боялась этажерки со щетками, — но тут в комнату вошла Баба Дина, зажгла свет, пододвинула к кровати табуретку и села с торжественным видом, отчего лежавшая на одеяле Матильда раздраженно передернула кожей спины, демонстративно встала и ушла под кровать.

— Энди, — сказала Баба Дина, — я была несправедлива к тебе сегодня утром. (Энди могла только, как Матильда, вопросительно мурлыкнуть). — Я имею в виду сырники, — продолжала Баба Дина торжественно, — видно, процесс воспитания доставлял ей неизменное удовольствие, даже если воспитуемым оказывалась она сама. — Я несправедливо обвинила тебя. Твой дедушка признался, что он совершил этот некрасивый поступок.

— Не может быть! Я имею в виду: з-зачем?

— Поэтому, в виде компенсации, я решила почитать тебе на ночь. Я ведь знаю, что ты все равно не спишь, — тут Баба Дина попыталась заговорщицки подмигнуть.

— Ба! Зачем дед выбросил сырники?

— Я почитаю тебе Носова. Слушай.

И Баба Дина принялась читать “Веселую семейку”, которую Энди знала наизусть, — и хорошо, — Энди обожала перечитывать. Но Баба Дина читала слишком медленно и не пропускала скучных мест, поэтому, вместо того, чтобы слушать, Энди предалась раз-

думьям: бедный Дед, зачем же он признался в сырниках?! — бедная Баба Дина, даже подмигивать не умеет, и все ее обманывают! — бедная она, Энди, всё на ее голову, и щетки, и сырники! Энди пожалела даже сырники — за что их выбросили, вместо того, чтобы нормально съесть? — но до южноафриканских детей не дошла, и начала было тихонько всхлипывать, но представила, как грузный краснолицый дед воровато оглядывается, ныряет под стол с зажатыми в зубах сырниками и вжимает их в теплый мусор — и захрюкала в подушку.

— Смеешься? — спросила Баба Дина, довольная результатами чтения.

Но Энди уже бросила и плакать и смеяться, представив, как бы она стала рисовать картину “Дед и Сырники”. Начать надо с сырников (и сразу раскрасить их в желтый), потом пририсовать сжимающие их дедовы челюсти, сверху полукруг стола не дает видеть затылок Деда. Энди дорисовала до конца, самым лучшим образом, но, мысленно положив перед собой картинку, поняла: этого недостаточно, чтобы отделаться от истории. Картинка картинкой, а историю все равно требовалось написать.

— Знаешь, я решила. Точно буду писателем, — сказала Энди громко, взламывая на середине плавно читаемую Бабой Диной фразу про устройство инкубаторов.

9

К счастью, на следующий день у Энди случился, как ей сказали, солнечный удар, и оставшиеся до приезда родителей два дня она провалялась в постели, защищенная высокой температурой от необходимости управляться с действительностью. Вечером в пятницу Баба Дина посмотрела на часы и сказала: “Ну, я пошла встречать твоих, а ты сиди в тени, не выходи, слышишь?”

Конечно, как только она скрылась из виду, Энди пролезла через дырку в заборе, пересекла участок Катерины и побрела короткой дорогой к кукурузному полю. Идти почему-то было трудно, как если бы воздух превратился в воду, особенно после того, как она вышла на солнце. Потом захотелось лечь. Потом все, из чего она состояла внутри, захотело отныне быть снаружи.

Энди стояла на обочине дороги, поджав одну ногу, беспомощно глядя, как по другой стекает внутреннее, решившее стать наружным, — а со стороны кукурузного поля уже бежали к ней две фигуры с рюкзаками — двое самых лучших людей в мире.

10

С приездом родителей в комнате сразу стало уютно: на полу валялись кеды, плавки и рюкзаки; Мамин биофизический словарь едва помещался на столике, из-под которого вечно вываливались ножи; сервант заполнился лекарственными пузырьками с красивыми иностранными словами на ярлычках.

Они пили чай, ели и разговаривали на кухне допоздна; красная чашка по-прежнему перилась в спину, но не враждебно. В субботу ходили с Папой на Старый Карьер, играя по дороге в крокодилов, ползущих на антилопий водопой, а на обратном пути наворовали на колхозном поле кукурузы. Мама заново перестирала Эндины носки, перебинтовала как надо плечо с нарывом, объяснила как узнать, где у штанов зад, где перед, и прочитала новые главы “Энди”: сказала, что писать надо больше, похвалила стеклянную гору, и велела вычеркнуть главу, в которой Энди с друзьями пошли воевать и сделали шашлык из врагов.

Оказалось, что Мама останется на даче всю следующую неделю, — “потому что она не очень хорошо себя чувствует”, — объяснил Папа.

— Ты рада?

— А через неделю ты будешь хорошо себя чувствовать? — подозрительно спросила Энди.

— Конечно.

— Ну, тогда рада.

Энди решила, что расскажет Маме про зубные щетки и сырники в понедельник, когда они останутся одни, — а может и вообще не расскажет. А вдруг это ей и в самом деле приснилось?

Но вышло не так.

В субботу вечером Папа и Дед отправились на ночную рыбную ловлю на Канаву, а Мама и Энди пораньше легли спать. Мама спала у стенки на Купольной, Энди перилась в темноту на своей кроватке.

ти. Тут ее глаза упали на пол: по полу двигалось нечто едко светящееся.

В следующее мгновение Энди уже стояла на четвереньках, обмотав одеяло вокруг себя, с ужасом наблюдая две светящиеся фигурки — не то человечков, не то животных. Они скользили по полу неестественно легко и быстро, как существа из рисованных мультфильмов. В полуметре от кровати остановились, задрали головы кверху и, в свою очередь, уставились на Энди.

Теперь они были достаточно близко, чтобы разглядеть их подробно. На одном торчало нечто вроде красного колпачка. Каждый был не больше пинг-понгового шарика. И конечно, — поняла Энди, — это не человечки и не животные. Что они такое, она к своему изумлению знала, и знала очень давно, но название для них ускользало, пряталось где-то за углом то ли памяти, то ли глаза; чтобы увидеть его и вспомнить, надо было слегка повернуть голову, но отклеить взгляд от светящихся существ она не могла. Она напрягла память — еще одно усилие — и все раскроется... Тут Красный Колпачок сдвинулся с места и заскользил прямо к кровати. Энди опять охватил ужас.

Когда Красный Колпачок достиг ножки кровати и легко поехал по ней вверх, Энди придушенно взвизгнула и, не касаясь пола, перемахнула на Купольную. Там она прижалась к худой маминой спине и зашептала: — Мао, проснись, здесь всякие ужасы бегают, — взглянула наверх, на стену: по всей длине стены, выныривая из ничего и ныряя обратно в ничто, скакали черные рыцари на черных конях, копыта наперевес... Но Энди уже устала бояться; кроме того, рыцари ничем не угрожали: они не светились едко; не пытались добраться до нее — просто скакали себе отрешенно, опустив забрала, из стены в стену. Через некоторое время стало слышно, что их движение сопровождает какая-то грустная, не черная, а темно-серая музыка. И Энди смотрела на рыцарей зачарованно, с голодным любопытством и непонятной тоской, не отнимая ладоней от едва теплой маминой спины.

— Мама, проснись, посмотри. Мао! Ты должна это увидеть.

— Не кричи, я не сплю, — вдруг раздался из-за спины тихий ровный голос Мама.

— На стене...

— Не смотри на это. Закрой глаза, прижмись ко мне и спи.

— Но... — Энди хотела сказать, что смотреть на рыцарей важнее; что она не может и не хочет спать, и уже никогда не сможет заснуть, по крайней мере, в этой комнате; хотела рассказать про светящихся человечков и о том, как важно понять, что они такое; но внезапно на нее навалилась огромная приятная усталость. Она закрыла глаза и провалилась в глубокий и прочный сон.

11

Энди проснулась рядом со спящей Мамой и долго лежала, пытаюсь вспомнить, кто же такие на самом деле светящиеся человечки. Она больше не сомневалась в реальности того, что произошло ночью. Чувство ужаса тоже исчезло. Теперь, глядя в потолок, она чуть ли не жалела, что по нему не скачут черные рыцари.

Она осторожно скатилась с Купольной (Маму велено было не будить ни под каким предлогом), натянула старые мамины бермуды, когда-то синие, а теперь бледно-розовые, с фиолетовыми пятнами; стянула их пояском от банного халата. Матильда, шумно дыша ребрами, спала на маминой подушке.

Энди вылезла в окно, как всегда приземлившись на Баба Динину каменную розу, обошла дом и увидела всех в саду за столом под засохшей яблоней — они пили чай и лениво обсуждали горящий торф и несуществующие деньги.

— Крокодил, — сказал Папа, — садись! — и похлопал себя по коленке.

— Сначала пусть почистит зубы, — сказала Баба Дина.

На полпути к умывальнику Энди снова подумала о светящихся человечках, остановилась, и решительно повернулась лицом к сидящим за столом.

— Я должна вам рассказать, — начала она решительно, — что я видела ночью, не во сне, а по правде. Я видела, как зубные щетки на этажерке плясали сами по себе. Я видела, как светящиеся человечки — но это на самом деле не человечки и не животные — бегали по полу. И как черные рыцари скакали друг за другом по стене, прямо по обоям...

Потом она углубилась в детали. Как ни странно, никто не прерывал и не смеялся. Когда Энди кончила, секунду стояла тишина,

потом Дед сказал: “Мм-да. Тараканы...” — и громко отхлебнул чаю. “Все это тебе, девочка, приснилось”, — сказала Баба Дина. Зато Папа прореагировал не так, как она ожидала.

— А почему, — сказал он, — ты говоришь как Зоя Космодемьянская? Мы тебя что, расстреливать собрались?

— К тому же, все это правда, — раздался тихий голос из-за Эндиной спины. — Я тоже все это видела.

Энди с изумлением обернулась. Там стояла Мама с Матильдой на руках. В ярком утреннем свете вдруг стало видно, какое у нее бледное лицо, и как на этом лице нос и скулы выступают как горные пики.

— Значит, ты видела? — прошептала Энди. — Я думала, ты так и не посмотрела... Я думала...

Мама смотрела на нее своими огромными темными глазами, в которых никогда нельзя было прочесть ответа. “Давайте пить чай”, — сказала она.

12

Они хорошо жили — хотя не легко, потому что Мама заставляла Энди заниматься: запоминать стихи, спрягать иностранные глаголы, складывать цифры, и даже готовить яблочный пирог. Зато не надо было постоянно выдумывать, чем же заняться или мучительно искать смысл жизни.

Большую часть дня Мама лежала в комнате или в тени деревьев на раскладушке, — “боюсь получить солнечный удар”, — говорила она; и только вечером они шли смотреть закат на Футбольное Поле, лежали там в траве, прогуливались по Зеленому Городу и разговаривали. Энди торжественно объявила о своем решении стать писателем, а потом, поколебавшись, рассказала, что помогло ей решиться, то есть о сырниках. Она понимала, что Мама ее не похвалит, но удержаться не могла: рассказала, повинилась и потребовала разгадки дедового поведения. Мама знала все, но часто специально говорила, что не знает; или, загадочно улыбаясь: “вырастешь и поймешь” — как, например, случилось, когда Энди спросила, что такое любовь. Но на этот раз Мама просто не стала ничего объяснять, только молчала и хмурилась, расстроенная явно больше,

чем того заслуживала очередная Эндина мелкая ложь. Думая о чем-то, она перестала слышать, что говорит Энди.

— Что?

— Ма, я уже третий раз спрашиваю. Я думаю, эти сырники и Дед... ну в общем, что все это связано со щетками, и фигурками, и рыцарями. А ты как думаешь?

— Нет. Никакого отношения к щеткам твой дедушка и твои сырники не имеют, будь уверена.

— А к чему они имеют отношение?

— К совершенно неинтересным явлениям, которые не стоят того, чтобы о них говорить, — сказала Мама твердо, и некоторое время они лежали молча. Энди дулась. Мама покосилась на нее.

— Что действительно интересно — так это светящиеся человечки.

— Да! — воспряла Энди, — я уверена, что знаю, кто они такие. Но точно не тролли и не привидения, как в книжках, а что-то гораздо более... близкое? И не только я, — и ты про них знаешь, и Папа, и даже... Баба Дина... все. Надо только правильно вспомнить.

— Надеюсь, ты когда-нибудь вспомнишь, — сказала Мама.

— И скажу тебе первой, да?

Прошла пауза.

— И скажу тебе первой, да? — упрямо повторила Энди, отводя глаза от Мама и вбивая взгляд в пустоту между травинок. Прошло еще пол-паузы.

— Да, — твердо сказала Мама, вздохнула и поднялась с травы. — Пошли домой. Мне пора принять лекарство.

На следующий день было ярко — идеальная погода для купания, но после обеда Мама сказала, что попробует поспать и ушла в комнату. Одну Энди на Карьер не пускали.

Она слонялась по участку без дела, думая о словах без вещей и вещах без слов, пока не затошнило в голове. Время от времени заглядывала в открытое окно проверить, не проснулась ли Мама.

Мама лежала на спине, сцепив руки на груди. Ее лицо и руки ярко белели в полутьме комнаты. Энди долго смотрела на резкий четкий профиль, увенчанный гордым орлиным носом. Папа называл нос “Эверест-Джомолунгма”. Сейчас Мамин профиль более чем когда-либо напоминал цепь ледниковых гор. Мама спала совершенно бесшумно. Никакого, даже слабого звука дыхания не бы-

ло слышно. Ресницы не вздрагивали, губы не приоткрылись, а были плотно сжаты, ноздри не раздувались. Люди так не спят. Энди уже не могла отвести глаз от Мама — глаза, как всегда, прилипли; она смотрела и смотрела, и в конце концов ей стало казаться, что это не Мама, а какая-то вещь лежит на кровати.

(Мика — единственная из бабушек, которую звали просто Мика, без Бабы, учила: — Никогда не смотри на спящего человека. — Почему? — Плохо так делать. — Почему? — Так говорят.

“Так говорят” было Микиным обоснованием всего на свете, что страшно злило Энди; и она грубила Мике, и за это Мама очень на нее сердилась: голос у нее становился совсем тихий и ужасающе холодный).

Энди с усилием отвернулась, пошла было к калитке, но тут одна короткая, издевательская, как пляшущие щетки, мысль, наконец, превратилась в слова — и кто-то отчетливо произнес эти слова у нее в голове чужим скрипучим голосом.

Энди вернулась к окну.

“Я подожду. Сейчас она повернется набок. Или пошевелит рукой”.

Она стояла и стояла у окна, но Мама оставалась неподвижна.

— Мао? — вполголоса позвала Энди.

Ничего.

— Мама! — крикнула Энди.

Ничего.

Энди взвыла, полезла на окно, сорвалась, в кровь окорябав колено о какой-то гвоздь, но боли не почувствовала — тело стало как деревянное; наконец, влезла коленями на подоконник, позвала еще раз — напрасно, и в отчаянии саданула кулаком по столику у окна.

Из-под столика с готовностью выпали ножки; он сложился, и биофизический словарь с жутким грохотом рухнул на пол.

И — о чудо! — Мама со стоном повернулась набок.

— Ну что за наказание? За три дня в первый раз заснула! Неужели ты не понимаешь?! Неужели нельзя играть где-нибудь еще?!

— Прости, пожалуйста, — прошептала Энди и бесшумно спрыгнула спиной назад, прямо на каменную розу.

Она долго сидела тут же у стены, не двигаясь и ни о чем не думая, пока не почувствовала прохладу на ободранной коже. Она открыла глаза: солнце скрылось; по небу быстро шли серые облака. Наверно, где-то кончил гореть торф. “Хорошо, что когда Мама проснулась, я еще не успела заплакать”, — подумала Энди с незнакомой себе деловитостью. Она чувствовала себя так, будто вернулась очень издалека, и теперь заново привыкает к дому, находя его точно таким как когда-то, не изменившимся ни в чем, кроме одной малости. Да, все то же самое, только... солнце чуть желтее? Странно. Будто все предметы мира: окно, грабли у забора, юбка Бабы Дины на веревке, ветка яблони в небе — сдвинулись на один сантиметр влево. Или вправо. Или вперед-назад.

Энди повернула голову: деревья опять полоскались на ветру.

Она осторожно, не заскрипев калиткой, вышла на улицу. В конце улицы раскачивались огромные тополя, а под тополями на сером утоптанном песке Андрюшка-и-Андрюшка одиноко играли в ножички.

Энди медленно пошла по улице к Андрюшке-и-Андрюшке.

Некоторое время назад в их уличной компании принято было ходить, разворачивая носки наружу, как балерины и клоуны; а теперь стало модно волочить ноги и сутулиться.

Она подошла к Андрюшкам и молча встала, глядя как они, сидя на корточках, расчерчивают песок.

Они подняли на нее две пары испуганных светлых глаз.

— Привет, — сказала Энди. — В ножички?

— Привет. Сыграем?

— Сыграем. Ножик у вас тупой.

— А ты нам из Америки острый привезешь? — извиняющимся тоном спросил И-Андрюшка.

— Привезу. Даже два, — сказала Энди, кинула ножик и не пошла.

Нью Йорк, 1995

ДЕТИ КАПИТАНА ЗИНГЕРА

— А помнишь капитана Зингера?

— Еще бы! “Капитан Зингер! Кнопка! Кнопка!” Какая кнопка? Почему — кнопка?

— Н-н-не помню, — стонал Яша, складываясь пополам от смеха.

Кто бы это ни сказал — что, мол, если беседа между старыми друзьями протекает на ноте “а помнишь?” — то их отношения исчерпаны, — он был катастрофически неправ. Бедняга, наверно, не знал, что единственный способ уберечь коллекцию воспоминаний от иссыхания, выветривания, обесцвечивания, соленой воды, землетрясений и огня — это перебирать ее время от времени вместе со старым другом. В одиночку тут никто не справляется — даже те, кто пытается записывать на бумаге. Бумага! — какое заблуждение! Жизнь — одно, а на бумаге выходит совсем другое, даже если очень похоже.

Общая часть наших с Яшей коллекций была небольшой — но красивой и антикварной. Наши родители дружили и три года подряд ездили в две полу-семьи на Север, в поморскую деревню. Там родители собирали грибы, ягоды, подпирали ветхие потолочные балки горницы тесаными столбами, отчего внутренность избы походила на лес; таскали с реки черную торфяную воду, за водку арендовали у мужиков морские карбасы и на них изучали хитрый фарватер залива, удили рыбу. А мы с Яшей — играли. С ним замечательно было играть. Не приходилось руководить, подстегивать, тащить за сценарием, придумывать за него роль, покрикивать, чтоб не отвлекался — или спорить часами из-за незначущих деталей. Он тоже не рвался к главенству. А как часто — потом и до — игры расстраивались и приходили в упадок, потому что играющие не умели не разделяться на вождей и рабов. Мы с Яшей оба вели игру; наравне выдумывали по ходу повороты сюжета, роли, обстановку действия. Оба увлекались так, что ничего не замечали вокруг себя. Вообще-то “игры” — мое изобретение. Но Яша наверняка раньше меня дошел бы до этой идеи, столь естественной для единственного ребенка в семье, если б не был так занят: его с детства готовили к роли гениального еврейского мальчишка.

Мы играли в капитана Зингера. Этот старый космический волк был обязан своим рождением швейной машинке. Он странствовал по планетам и с ним происходило разное. Капитаном Зингером бывали попеременно то Яшка, то я, а второму игроку доставались все остальные герои. Мы играли всюду: на прогулке в лесу (сражения и космические перелеты), в избе во время дождя (капитан Зингер застрял в плену), за обеденным столом (капитан пирует). Мы не замечали странной, хватающей за душу красоты этого края — ни тайги, ни моря. В разгоряченных глазах задерживались разве что белые песчаные дорожки, усыпанные хвойными иглами, по которым ходили, подвывая в тон (двигатель звездолета), капитан Зингер и его спутники. Тишина улыбалась нам в спину. Мы дошли до такой слаженности в фантазиях, что почти уже не объясняли друг другу только что придуманные перипетии: во что каждый из нас одет и что видит вокруг себя. И так было ясно, когда Яшка в скафандре, а когда — в ковбойской куртке и джинсах, с колечком для кольца на ремне, с кольцом в колечке. И что он на самом деле проделал, дрыгнув левой ногой и схватившись руками за воздух. Перед началом игры он всегда надевал Синюю Кофту — свою вечную, любимую, чудовищно растянутую, всю в каких-то пятнах и подтеках, без намека на изначальную синеву. Не верилось, что она когда-то принадлежала маленькой, аккуратной Яшиной маме. Правда, с тех пор кофта долго принадлежала Яше. Он таскал ее за собой повсюду. Перед отъездом обратно в город его мама сделала попытку забыть кофту в избе, но Яша поднял детсадовский вой. Его мама говорила, что сын так любит кофту потому, что его заворачивали в нее младенцем. Мне это рассуждение почему-то не нравилось. Не знаю, по-моему, он ее *просто* любил.

А я любила ножи. У меня даже был настоящий, правда деревянный, ножик, выточенный (папой) из можжевельника по образцу мальтийского кинжала — единственный материальный предмет нашего военного реквизита.

Мы дергались как бесноватые и визжали на разные голоса. Родители тихо обалдевали. Как-то раз я была вражеская красотка, соблазняющая капитана Зингера — сидела у Яши на коленях, закинув руку ему на плечо — то есть, соблазняла. Страшно многое в судьбе капитана зависело от того, устоит ли он против вражеских чар, поэтому от изумленного вопля отца: “Вы чего?!” — мы пона-

чалу просто отмахнулись: отстань, играем, но вдруг вспомнили, что Яша — мальчик, а я — девочка, и в смущении отскочили друг от друга. Впрочем, через пять минут опять забыли про эту чепуху.

Время от времени Яшу засаживали за стол писать математические формулы, состоящие из разнообразных цифр и скобок: осенью ему предстояло в очередной раз сдавать экзамены, чтобы перепрыгнуть через класс. Но он и за математикой умудрялся играть в капитана Зингера.

— А как капитан Зингер играл в футбол, помнишь?

— Это ты припутал свой дурацкий футбол.

— А как у нас были звездные кони? Помнишь, как твоего звали? А я помню.

— Подожди, не говори, я сама!

Яша был тогда нормальный мальчик — ленивый, живой, с пышной негритянской шевелюрой. Играл в футбол и бегал на лыжах. Но его отец был великий ученый — и Яшу готовили на заклятие во имя науки. Мне прочили тот же дистиллированный жребий, но я способностями не блистала, да и заставлять меня заниматься ни у кого не хватало сил, поэтому и не составило труда вскорости вывернуться из-под родительской опеки и по самые уши провалиться в жизнь. А Яшу застрашали ужасами еврейства в советских условиях, да и математика ему нравилась, — “потому, — объяснял он, — что это самое легкое”. Он таки закончил школу в два раза быстрее, чем обычные дети, и с четвертой попытки поступил — не на мехмат, а в не очень важный институт, куда евреев все-таки изредка брали. Учась там, посещал лекции на мехмате, и за два года разделался с высшим образованием. К окончанию института он уже был первым специалистом в страшно редкой и сложной области, и профессора подмосковного научного городка, где он жил с матерью, становились в очередь у дверей квартиры, чтобы поговорить о науке с чудо-мальчиком. Яша дирижировал мелом у грифельной доски, висевшей над столом в кухне, и разбивал их доводы в пух и прах.

В ту пору я виделась с ним лишь однажды, и он произвел на меня жалкое впечатление. В двадцать лет он облысел и был на голову ниже меня. Весь был покрыт аллергическими пятнами. Видно было, что ему страшно хочется со мной поболтать как прежде, но ни о чем, кроме науки, он больше говорить не умел, а научного

языка я не понимала. Тогда я принялась рассказывать о своей жизни и рассказывала плохо и невнятно, но, видно, дух странствий и романов, и грязь, и счастье, все-таки почудились ему в моем рассказе, потому что Яша вдруг сказал:

— Ты как с другой планеты! — и жалобно посмотрел на меня детскими рыжими глазами.

“А ведь он мог бы — мог бы! жить куда интереснее меня!” — подумала я с тоской и обидой неизвестно на кого. Мы скоро распрощались. И опять не встречались несколько лет. А потом до меня дошла весть, что Яша вдруг женился, и — еще более неожиданно — переехал вместе с женой из располагающего к умственному труду академического городка в шумную Москву, где за непомерно большие деньги снимает квартиру. Жену звали почти жена — Жанна. Я сказала себе: эге! неужели мальчик вывернется?

А потом отец пожаловался: Яша вместе с женой приехали к нему летом в нашу поморскую деревню и — “ни черта не делали, даже посуду не мыли, только на печке валялись и лизались”. И наконец, во время побывки в Москве я узнала, что Яша с женой вот-вот уедут в Штаты, — “потому что, — объяснила Яшина мать, — здесь он не может найти работу по специальности”. Я быстренько набрала Яшин номер.

— Привет! Говорят, ты решил двигать науку Нового Света?

— Кто... ой! это ты? Привет! — ответили мне хриплым нежным басом. Наконец-то мы с Яшей сможем привести в порядок нашу общую коллекцию воспоминаний! Я позвала их в гости. Яша пришел один.

— Жанка не смогла. Но я вас обязательно хочу познакомить. Придешь к нам? — спросил он серьезно. — Еще целых две недели до отъезда.

Яша щурился блаженно, как котенок, в его странной внешности появилось то взрослое обаяние, которое приходит вместе с уверенностью в себе. Он окреп, раздался в плечах и обзавелся вальяжными рыжими бачками. В голосе появились протяжные кошачьи интонации. И разговаривать с ним снова стало просто, как в детстве. Мы выпили немного красного вина — аллергия и мама больше не мешали Яшке пить, — и долго, со вкусом вспоминали капитана Зингера. Оказалось, он помнит гораздо больше, чем я.

— Слушай, а ты не подался часом в иудаизм? — спросила я, глядя на его бачки и вспоминая большое число знакомых, для которых решение покинуть советскую родину совпало с возвращением к религии предков.

Яша удивился. Потом засмеялся. Потом ответил важно:

— Нет, религиозного аспекта действительности я еще не исследовал.

Затем он долго живописал их хождение по бюрократическим инстанциям. Он захлебывался как школьник, рассказывающий приятелю о событиях перемены, типа: он мне: дурак! А я ему: сам дурак! А он мне как дал, а я ему так врезал, что он покатился!

— Тут вьетнамцы волокут рояль... а этот человек, ну, который начальник, ткнул в нас пальцем и завопил: “БОМЖи? БОМЖи?” Я не врубился, а Жанка сообразила и орет в ответ еще громче: “Нет, мы ПМЖ! Мы — пэмэжэ!” Представляешь?

Я хотела и не решалась спросить о предотъездных ощущениях — боялась сделать больно. Но Яша сам, и очень легко, заговорил об этом.

— Приходи все-таки в гости. Там дикий бардак, в вещах еще конь не валялся. Часть отправили багажом, остальное так и лежит. Я больше собрался внутренне. Расстался со всем и попрощался, — он солнечно улыбнулся, — меня, знаешь, нет, я уже уехал.

Мы хором посмотрели в окно. Там был холм, на холме райком, на райкоме флаг, аленький; под холмом проходила линия метро, поминутно с ноющим воем разгонялись и тормозили поезда. К длинному гастроному по двум дорожкам трусили люди. Дорожки пересекал свежевырытый ров, и можно было наблюдать, как по-разному люди через него прыгают. Ров вел к небольшому котловану неизвестного назначения, из которого торчала лапа дохлого экскаватора. Мы переглянулись.

— От этого *можно* отвыкнуть.

— Есть другие места, от которых отвыкнуть труднее. Но и от них можно... я думаю.

— Надо ехать, когда причин для этого уже нет, — сказал Яша. — Были — но уже нет. Тогда можно отвыкнуть. Я вот постарался — и отвык. Как колобок: и от Пушино ушел, и от Москвы ушел, и в нашу — то есть вашу — деревню съездил, но и оттуда ушел. Он

вдруг как-то болезненно поморщился, напомнив на секунду подросткового Яшку. — Пряма всю родину предал.

— С ней, с родиной. А люди? — осторожненько спросила я. — Твоя мама. (Я подумала, что Яшина мать вряд ли бросит бессребреную науку русской интеллигенции ради торгашеской западной.)

— Мать? Да нет, она приедет со временем. А так люди — они везде есть, — он снова беспечно улыбнулся.

Тут я задала самый главный, выпестованный, в сердце бьющий вопрос:

— А скажи, колобок, с чем было труднее всего расставаться?

Обычно мои главные вопросы, хоть и призваны моментально открывать все шлюзы людской откровенности, почему-то бьют мимо цели, если не хуже. Но Яшка прореагировал идеально: весь порозовел от волнения. Видно было, что на этот раз я попала в точку.

Он некоторое время помялся, и выпалил: — С кофтой!

— С чем-чем? — не сразу сообразила я.

— Ну, с кофтой! С Синей Кофтой! Ты что, не помнишь? — Яша был смущен и раздосадован, как любовник, который после долгих уговоров выдал другу имя возлюбленной, а тот не врубается, о ком идет речь.

— На севере у меня была — помнишь? — кофта.

— Ах да! — Кофта.

— Я же с ней всегда спал, — заговорил Яша, отскребывая что-то от совершенно чистого стола. — Один раз ее чуть не съела моль. Потому что она — моль то есть — любит грязное. Но я нашел закрепляющий состав, спас. Даже когда Жанка появилась, — он ухмыльнулся, — я клал Кофту под подушку. Ну вот. От нее было трудно отвыкнуть. Но я это сделал, — сказал Яша гордо.

— Да?

— Да! Сначала выгнал ее из кровати и отправил спать в кресло. Она висела на спинке кресла. Потом, — он опять поморщился, — убрал в кладовку. Очень тяжело было. Не мог заснуть. Но постепенно отошло... И тогда я ее сжег.

— Что?!

— Я ее сжег.

— Сжег?

— Да.

— Зачем?! — вырвалось у меня. Яша вдруг побледнел и его круглые глаза стали детскими и умоляющими. — А что? — спросил он упавшим голосом, — не тащить же с собой в Америку старую драную кофту, а?

— Ну да... действительно... смешно тащить... ты правильно поступил, — спохватившись, бормотала я, не понимая, что со мной творится. Кажется, если бы Яша сообщил, что он умер, это бы меньше меня поразило.

С Яшей, я уже говорила, хорошо было играть — он все понимал с полуслова. Понял и теперь — выпил подряд два стакана вина и скоро ушел. Тогда я побежала в спальню, подняла крышку дивана и бросилась искать в груде пыльных старых игрушек Голубого Мишу — медвежонка, подаренного мне на трехлетие, с треугольной мордочкой и петелькой на загривке, чтобы вешать. Вот он! Я отряхнула пыль. Голубой синтетический мех давно выцвел и слипся: я никогда не стирала Мишу, чтобы не испортился. Закрыла диван и посадила Мишу на подушку. Я редко с ним спала даже в детстве — в общей очереди с другими игрушками, чтобы никто не обиделся. А потом вместе с другими он годы валялся в диване. Но я-то не забыла, я-то помнила, что люблю его больше всех.

— Прости меня, Миша, — сказала я медвежонку, — больше не уберу тебя в диван. Больше мы с тобой не расстанемся. Видишь, что получается, когда детей, вместо игры в капитана Зингера, заставляют писать математические формулы? Ничего. Яша — умный мальчик, это его последняя ошибка.

Отвыкнуть можно от чего угодно — ради свободы, ради небоскребов над морем, ради чужих планет и воя звездолетов; в крайнем случае, ради этого всех можно бросить и забыть: мать, любовь, друзей, город. Они проживут и без тебя. Но кофта, старая, драная, слепая и бесчувственная кофта — она-то чем виновата? Она-то и есть свобода.

Вскоре я переехала в Грузию и, верная своему обещанию, взяла Голубого Мишу с собой. Там-то его у меня и украли.

МЕЖДУ КРОЙДОНОМ И БРИСТОЛЕМ...

Между Кройдоном и Бристолем наш поезд — Септа Р7 — сбил человека.

Если бы не это, имена Кройдона и Бристоля никогда не всплыли бы.

Эти два городка валяются где-то по маршруту Септы между парком-арборитумом в Немецком Городе и Трентоном; в нулевом пространстве, назначенном к проезжанию.

Нулевое пространство заполняет мир между точкой А, где ты садишься в поезд-самолет-машину, и точкой Б, где ты из всего этого вылезашь. Это — мир для того, чтобы смотреть, но не видеть; замечать, но не запоминать; мир, от которого взгляд отскакивает как теннисный мячик от стены, прыгает назад в мозг, и тотчас снова летит навстречу проезжаемым вещам, нужным только затем, чтобы от них оттолкнуться, поддержать ритмическое постукивание, мелькание мячика взад-вперед, создать аккомпанемент для активной дорожной мысли.

Собственно, каждое *куда-откуда* представляет собой нечто вроде гнезда, слепленного из кусков значащего и сорного пространства, причем сорного всегда больше, чем значащего, замечаемого и запоминаемого, — и хорошо, иначе память бы переполнилась, а мозг взорвался от усталости.

Значащее лепится к остановкам, запланированным и случайным. Поезд тормозит, скольжение вещей за стеклом замедляется, бутафорские образы превращаются в настоящие деревья и дома; они начинают скрипеть, шуметь, расти, и разгулявшаяся бодрая дорожная мысль в ужасе лезет под диван. И остановившееся было время трогается с места.

Что касается времени: оно вообще...

Ну ладно.

В Филли значащим было пространство вокруг Мэри: арборитум, остров зеленых джунглей и двухсотлетних голландских домов посреди усталых негритянских почти-трущоб. Там жили Симон и Аманда — дядя и тетя — в сером голландском доме с ками-

ном и розовыми клумбами, и винным погребом, и парником, и часами 18-го века, которые надо было заводить каждое воскресенье специальным ключом, следя в окошко, чтобы подвес поднялся до нужного уровня — не больше и не меньше. Это был единственный полновесный Дом на всю большую и странную семью; и потому время от времени кто-то из членов семьи на излете сваливался в арборитум, и жил там у дяди и тети, приходя в себя, то несколько месяцев, то несколько лет, — а потом летел дальше. Только так члены семьи и знакомились друг с другом, остальное время шатаясь по разным и далеким странам.

И существовало собственное жилище Мэри в Западной Филадельфии около Университета, которое называлось Квартира: — А сейчас поедем в Квартиру!

Существовало кафе Белая Собака рядом с магазином сувениров Черная Кошка. Оба помещались в подъездах одного и того же дома, на втором этаже которого жила охраняемая старушка с черной кошкой и белой собакой. Существовал длинный парк вдоль реки Скулкил, где Сабра бегал, вспугивая уток, а мы шли следом, делая вид, что вовсе не сплетничаем о мужчинах, а просто рассуждаем, кто из общих знакомых мог бы составить приличную собаку, — а в это время нам навстречу трусили мелкой рысью всадники из Клуба Езды, упакованные для безопасности в средневековые доспехи.

Наконец, на пути из Филли в Трентон немножко существовала и Северная Филадельфия — как место, где застревать противопоказано: пустая платформа с маленькой, навсегда закрытой кассой посередине. Крыша кассы обвалилась, будто в нее попала бомба, окна забиты фанерными щитами, белесые стены покрыты красными и черными граффити.

А за платформой, за белым забором тянулось на заднем плане бесконечное царство горячих летом и сырых зимой красных кирпичных домов, где беспокойная ночь проходит под громкую капель из вывешенных из окон задов кондиционерных ящиков, в которых квартируют сварливые толстые белки; где за стеной песня на полуслове превращается в истошный вопль ссоры, глухо падает мебель,

плачет ребенок, лает собака, — и вдруг снова — нет ссоры, только слаженное пение мужского и женского голосов. Белые граффити на красном кирпиче. Сорняки на асфальте, ободранные кресла ножками вверх на пустырях. Бурые пятна крэка на мостовой. Обнесенные проволокой пустые спортивные площадки, напоминающие места для прогулки заключенных. Одинокй дом на пустыре, узкий как книга, без крыши и фундамента, обвешанный гирляндами белья. Железнодорожный запах тревоги, военного времени — или Великой Депрессии — бурой, голодной и надеющейся Америки, которая сгнула навсегда во славу Америки Зеленой Листвы и Белой Футболки. И только те, кто сами не хотят... или пришельцы из обществ, запоздавших на век по причине влияния скорости на массу тела и время, ностальгически вдыхают, проезжая Северную Филли, этот запах, желанный запах войны и помойки.

Так же и с Мэри, с ее двумя матерями и полутора отцами, тремя десятками стран обитания, так что весь мир для нее — не более чем Квартира, где все — значаще, до всего можно дотянуться рукой: Африка, Австралия, Уругвай, Цейлон — не более чем второй член метафоры в сравнении; расширяет ассоциативный аппарат — и не более чем. И все эти языки, все эти любви, — ларингальный звук *x* в международной транскрипции, секс в пустыне под верблюдом — и не более чем, а жизнь все никак не кончается.

И тут помог Кай, сотворивший вокруг себя Дом и Мир, зеленый кокон арборитума, потому что, как ни сопротивлялась Мэри перед рождением Кая переезду из своей военного времени квартиры к дяде и тете, но все-таки оказалась там; и там Мэри и Кай должны были быть.

Присутствие Кая вернуло меня к глубоким и неизлечимым воспоминаниям детства: радужные, троящиеся в неумелых глазах лица и руки, гудение голосов, хаос мыслей, лишенных слов, вечный голод, вечная боль в желудке, словно распертом строительными лесами изнутри; звук собственного крика. И в Септе это продолжалось — мои ноздри как раз вспоминали запах кефира в коляске, когда наш поезд задавил человека.

Человек внезапно появился на путях перед самым носом поезда, и хотя скорость была жалкая и машинист сразу нажал на тормоза,

к тому моменту как состав полностью замер, тело было уже под четвертым вагоном. Поезд был местный, принадлежал медленной и дешевой компании. По соседней суперукрепленной колее неслись так, что воздух хрустел, серебристые остроносые Амтраки. Тех не остановило бы и стадо динозавров. Они только иногда перевертываются от своей чрезмерной скорости — как раз на том пороге, когда скорость вот-вот увеличит массу тела и остановит время. А полупустые поскрипывающие вагоны Септы солнце окрашивало в золотистые старинные тона; и болталось в них, как мелочь в кошельке, всего лишь несколько одутловатых, как непропеченный хлеб, белых, и горстка смеющихся мужскими и воющих детскими головами негритянских семей.

Начальник поезда, откинув голову и придерживая на бедре, как кольт, брякающую связку ключей, пробежал по проходу, приговаривая:

— Извините, ребята, кажется, мы задержимся.

Большинство пассажиров спешило в Трентон, чтобы тут же пересесть на челнок в Нью-Йорк. Но никто и звука не издал: торчать в поезде, сбившем человека, куда интереснее.

Начальник поезда пробежал в обратном направлении. Теперь за ним трусили два механика и два кондуктора, а также приземистый пассажир, которого остальные именовали то инженером, то доктором. Он на бегу выпростал из брюк ремень, и держал его, свернув петлей, будто собрался ловить сусликов.

— Кажется, он еще жив. Да прикончи ты его совсем!

Первое относилось к задавленному, второе — к мотору.

Машинист вырубил мотор, и сразу стали слышны наружные звуки.

По одну сторону путей стоял лес и, видно, неподалеку скрывалось место для пикников, а может и озеро, поскольку из леса уже начали выныривать красные от солнца воскресные люди в шортах, с детьми, собаками, с банками пива в руках. По другую сторону пролегали бетонные амтраковские пути; за ними дорога, красные дешевые дома. На дороге, возбужденно сигналив, тормозили одна за другой машины, и выскочившие из них люди выстраивались вдоль путей и замирали, вытянув шею, как суслики в Канзасе.

Экипаж поезда, инженер-доктор, и пара молодых пассажиров, стриженных под ежик, необоримо похожих на Beevis and Butthead, чья роль состояла в размахивании руками со значительными лицами, ползали вокруг поезда. Мы, остальные, были заперты внутри, но, по крайней мере, находились в центре событий. С космическим воем подъехала скорая; из нее, пригнувшись, выпрыгнули медбратья с чемоданчиками, таща за собой нечто вроде доски для серфинга. За ними последовала женщина могучего телосложения ремонтницы. Она несла на вытянутых руках капельницу. Медбратья, все еще пригибаясь, как под обстрелом, сиганули через амтраковские пути, обогнули поезд и присоединились к кучке топтавшихся у четвертого вагона со стороны леса. Пассажиры стаей бабочек порхнули с мест к лесным окнам. Дальше все произошло быстро и ловко, как при съемке хорошо отрететированного дубля. Доску для серфинга сунули под вагон, и в ту же секунду вытянули обратно, уже с человеком на ней.

Пассажиры дружно ахнули: теперь не могло быть сомнения: наш поезд сбил человека.

Ползая под поездом, экипаж и инженер-доктор успели многое с человеком проделать: шея и подбородок его оказались замкнуты огромным розовым воротником, и ремень инженера-доктора скромно торчал сбоку жгутом на левом плече. Вот для чего был ремень, для жгута. Пассажиры смотрели с нечеловечески прямым, почти обнюхивающим любопытством — так лошади смотрят на автомобиль, или что-то вроде того.

— А что, значит голова отрезана, и эта штука ее держит?

— Как отрезана?! Ты гляди, он же ею шевелит.

— А если шевелит — то не отрезана.

Грудь человека тоже была заранее обнажена и рубашка спущена до локтей. Человек принадлежал к странной черно-белой расе: торс и плечи — белые, рука от локтя до кончиков пальцев и лицо — черные. Я вспомнила фотографию Кая сразу после рождения — черное изогнутое тельце, и поняла: просто с груди успели обтереть кровь.

— Хорошо они поработали, — сказал пожилой негр с трубкой.

— А руку нашли?

— А как же! Вон лежит.

Тут только я увидела, что у человека нет одной руки. Место, где больше не было руки, скромно прикрывали остатки рубашки, перехваченные докторским жгутом. Отсутствие руки трудно было заметить еще и потому, что все-таки у человека оставалось довольно много конечностей: целых три, и они были на виду. Между ног был вставлен какой-то красный огнетушитель, не говоря уже о правой руке, которая непрерывно плясала в воздухе. Человек воздевал ее к небу жестом новорожденного, пытающегося выпростаться из пеленок, — и силился поднять голову.

— Смотри, как шевелится! — встать хочет. Ой, представляешь, Сисси, как бы ты так шла, шла, и вдруг — бац! — руки нет и боль такая.

— Ох, Рой!

— А как ты думаешь, Сисси, он уже понял, что произошло? Я бы не понял. Может, ему кажется, что если он сейчас встанет и пойдет — то ничего этого не будет, — и рука на месте, и никакого поезда, а? — и молодой коричневый мальчик, произносивший эти слова, посмотрел на человека внизу страстно и умоляюще, будто призывая его встать и пойти, притворяясь, что ничего не случилось, — а вдруг трюк удастся?

— Ох, Рой!

Белые пассажиры приникли к окнам вместе с черными. Только один одутловатый белый так и сидел в углу, отгородясь газетой, да востроносая рыжая дамочка строчила в блокноте, бросая в окно частые короткие взгляды, будто списывая со школьной доски.

Из головы состава донесся газированный шум — машинист вел переговоры с вертолетом. Снаружи продолжалась суета. Вокруг задавленного совершалось нечто вроде танца: откуда ни возьмись появились огромные, ослепительно белые носилки, и двое медбратьев нерешительно вертели их в воздухе, имея в виду опустить на землю. Еще двое пытались уговорить лежащего не двигать рукой и головой. Толстая ремонтница мусолила капельницу в руках, как банку пива, примериваясь, как бы приладить ее к телу задавленного.

Его грудь вдруг стала хорошо видна. На левой стороне груди, на уровне сердца, зияла идеально вырезанная овальная дыра размером с яйцо; и в ней пульсировало что-то жидкое, нежно-розовое..

На темени у Кая было овальное темное пятно, тонкая пульсирующая корочка.

— Посмотри на голову — видишь, как бьется сердце? — сказала Мэри.

— Иисус, — прошептала сбоку молодая мулатка, — посмотри на грудь! Я такого еще не видела!

Ее голова была покрыта косичками, от нее пахло пудрой и конфетами.

Толстая ремонтница застенчивыми движениями упаковывала лицо человека в пластиковую маску, от которой провод шел к капельнице, а медбратья изготовились набросить кусок пластика на розовую дыру — как сачок на бабочку. Глядя на группу около поезда, я чувствовала странное спокойствие и усталость, как бывает на закате. А солнце и вправду заходило, лес темнел, поезд на Нью-Йорк давно ушел из Трентона; а мы все были здесь, в месте между Кройдоном и Бристолем. Любопытствующие машины на дороге зажгли фары, чтобы в горячке не забыть и не схлопотать штраф.

Вдруг все как-то быстро разрешилось: медбратьям удалось поставить на землю большие носилки; другие подняли доску с человеком и ловко перевалили тело на носилки; розовая дыра продолжала пульсировать под пластиком, и ремонтница гордо держала прилаженную капельницу. Руку и ноги мигом прикрутили к носилкам широкими лентами. Сверху раздался рокот снижающегося вертолета. Вертолет завис над домом по ту сторону дороги, и, слув красную пыль, сел легко, как муха. Группа с носилками резко снялась с места и побежала через пути. Зеваки на дороге прянули. Очень медленно, звоня во все колокола, по соседним путям прополз Амтрак и, миновав нас, сразу взял с места в карьер. Вертолет меж тем уже поднимался.

— А руку, руку не забыли? — волновался Рой.

— Не забыли... Вокруг этого парня, видать, в жизни не было такой суеты. И на вертолете он наверно никогда не катался.

— Я тоже не каталась, — тихо сказала мулатка с косичками.

Начальник поезда вновь пробежал по проходу, объявил, что нас подберет следующая по расписанию Септа, и доставит в Трентон, где уже будет ждать очередной челнок.

В голове моей все слиплось: Кай, спящий на брюшке между едой и едой, с пульсирующим теменем, с розовой дырой на носилках, который должен научиться владеть своим телом, — разучиться владеть им; еще живой, пока не живой, — какая разница? — смерть — жизнь, Цейлон — Австралия; страшно до, а после... Что-то тут было не так, что-то важное роковым образом ускользало как и в случае с этой проклятой скоростью, которая, сильно разившись, будто бы бесконечно меняет массу тела и останавливает время...

Я так долго смотрела на Кая — на бродягу, сбитого поездом, что существование обоих звучало и длилось во мне, сливаясь, тяжело и долго тормозя, смешивая запах молока и крови... Требовалось много сорного пространства и одиночества, чтобы вернуться к себе.

Вторая Септа подошла сбоку, двери открылись, и нас, не спуская на пол, то есть землю, перегрузили из дверей в двери. Пухлый белый с газетой переходил последним, недоуменно оглядываясь.

— А что случилось? почему?

— Наш поезд человека сбил. Стало быть, дальше не идет, — спокойно ответил негр с трубкой, и улыбнулся. Белый рванулся было к окнам, — но было уже поздно, все кончено; и новый поезд, звякнув, оставил место между Кройдоном и Бристолом.

Нью Йорк, 1994

ИЗ НОВЫХ СТИХОВ

* * *

Первую тыщу лет после смерти я буду рисовать,
сказал Черчилль.

Первую тыщу лет ты будешь солить и перчить,
а я буду в мебель кидать свой черный металлический ножик.
А за окном на заборах пузатый Черчилль
будет красным мелком рисовать прохожих.

Господи! отпусти, дай нам делать лажу
— на голове стоять, продавать зубную
пасту, — это в жизни надо быть важным
— рисовать, летать и писать стихи врасписную

— а после смерти все хорошо, красиво:
в белых рубашках чистые дети рая.
Можно лежать на пляже и быть счастливым,
раз в тыщу лет занятие свое меняя

— не надоест, не станет тошно и скучно,
и на душе не мрачно, как в чашке с черным
кофе, и не удастся себя замучить
ради того чтоб поэтом быть и актером.

...Первую тыщу лет Эйнштейн будет держать аптеку
Рабиновича,

продавая в ней панацею.

...Я иногда поднимаю голову кверху,
чтоб посмотреть, как проходят, тихо белея,
по небу наши жизни как лев и лодка.
Вон они мы — это ли не утешенье?

Кто там внизу ищет себе решетку
и надрывно летает по дням рожденья?

БЕЙТ-ХА-КВАРОТ*

Над могилой не виснет листва и надгробье мое —
без портрета.

Ни ограды вокруг — никакого подобия дома.
Чтобы прямо и быстро взлетела душа, как ракета.
Чтоб взлетая она не запуталась в чем-то знакомом.

Чтоб она по дороге не сделалась птицей на ветке
или рыбой в ручье; не смешалась бы с дымом сигары.
Чтоб она не помчалась к заветной любовной отметке,
как собака несется к столбу своего писсуара.

Чтоб она на себя не взяла никакую личину.
Чтоб не знала она ничего кроме грома и свода.
Чтоб взлетая забыла кем — женщиной или мужчиной
— ковыляла она по путям, спотыкаясь о годы.

Потому что мы были упрямые косные люди.
И отдали земному и Божью и царскую долю.
Кто умел полюбить — тот умеет забыть.

Мы забудем.

Мы послушались Бога, как Он повелел — и довольно.

Пусть душа начинает опять, как когда-то — в пустыне.
Пусть не будет за яркой чертой ни войны ни охоты.

Только желтые камни ко мне приносите отныне,
Только круглые желтые камни — отточье свободы.

* * *

Мальчики, нарисованные у окна.
Круглые красные шапки, как галька лица.
Веки припухли то ли от слез, то ли от сна.
Кроме окна, не к чему прислониться.

* Еврейское кладбище (*иврит*).

А там — горы, моря, пустыни лезут в одно
отверстье, как горожане в вагон пиковый.
Мальчики Пинтуриккьо, вам все равно.
Мальчики Боттичелли, вам все не ново.

Города как грибы
режутся из холмов.
Пашет бедняк. Скачет король.
Бога ради,
что там лежит
на дне вечно скучных зрачков
— жалость святого или терпенье бляди

— которая только и ждет
чтобы Пинтуриккьо и Боттичелли
отошли от холста
чтобы вдарить им там где тонко

— за всю их любовь, любовь,
за любовь, любовь, господа,

— лелея предательство как цыпленка.

ЧАЙКИ

Весь день они стояли, и в упор
смотрели в океан, как камень темный,
где строй за строем волн головоломных,
разбившись, возвращался в общий хор,
рассеяв на резиновом песке
тела дрожащие медуз белесых;
где мальчик, выгнувшись как знак вопроса
по небу волн катался на доске
— они стояли...
Каждый раз, на дне,
когда уже нет сил на выживание,

как будто искра вспыхнет в глубине
белесого дрожащего сознания,

— и я стою как чайки на камнях
и перююсь вдаль с бессмысленным спартанским
упрямством; бормочу себе: “Не сдамся!”
И скрежешу кому-то: “Не отдам!”

* * *

Я взошла на горы Сан-Бруно
за себя и за тех кто умер.
Я за них навела глаза
на дома, на млечные горы,
под горами — львиное море.
в море — клонятся паруса.

Я несла их вверх по дороге
так, как носят детей в утробе;
так, как носят бревна в руке.
Как другие под гору честно
в жизнь несут прибавленье веса
— так я в гору шла налегке.

С тех кто умер — что с них получишь?
Не накормишь их, не научишь.
С ними пламя не развести.
Лишь стоят они где-то сзади,
на тебя неотрывно глядя,
— лишь стоят они впереди,

— и тоска словно голод гложет.
Тем кто умер — кто им поможет?
С эвкалиптов стекает дождь.
Дети, деньги, пирог в долине...
Вверх на гору, по красной глине.
Мимо рощ, мимо рощ, мимо рощ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

*(Асе, которая хочет, чтобы после смерти все продолжилось,
как есть.)*

Как по "Шварцу" гуляет дитя, в магазине игрушек
среди кукол, конструкторов, монстров, пушистых зверей.
Тех обнимет и бросит; тех по полу волочит за уши,
забывая о них, чтоб до третьих добраться скорей.
Наступив на медведя, ищет в пузе у львенка рычало.
Надевает на руку сову — и сдирает ее наизнанку;

— так и наши любви. Ты хочешь продолжить? Все мало?
Ну кого мы еще не убили, зевнув, спозаранку?

Кто и нас не убил, в темноте оставляя межзвездной,
где рыданья, от стен отражаясь, становятся смехом?..
Что ж, умрем и продолжим смесь водки и паровоза
под названием жизнь, подсыпая стихи для потехи,
— устрасаясь свободы и жалости больше чем Бога,
опасаясь оливковой рощи сильнее чем стона,

— чтобы только никто не простил, не помог;
чтобы только
умереть — и остаться булыжник катить вверх по склону.

* * *

Я пришла в сумасшедший дом,
чтобы было с кем говорить.

Мне сказали:

— Смотри на огонь.

Он поможет тебе ожить.

Он поднимет твои волоса,

он разбудит память и страсть.

А как научишься воскресать

— ты должна на море попасть.

Где остался от всех речей,
диалектов, судеб, племен
только профиль волны ничей,
только гладкий песчаный склон.
Где так просто оставить след
и так просто его стереть...

— Ты должна на море смотреть.
Оно поможет тебе умереть.

СЛЕД ДИНОЗАВРА

Машина умерла под Туба-Сити,
где хопи на столах огромных жили,
насиленно вдетые в своих врагов навахо,
как центр мишени — в семь кругов пристрела.

К нам вышел человек с бензоколонки.
Величиною с муравья сначала,
по почве красной, тверже чем железо,
шел, увеличиваясь с каждым шагом.

Он подошел и утешал фальшиво
как раковых больных, но оказалось,
что нужен был всего глоток бензина

— и он пошел обратно, уменьшаясь.
И мы увидели, взгляд уронив случайно
на красной почве, тверже чем железо
огромный след, трехпалый и глубокий.

И испугались, не поняв сначала,
что вовсе и не он его оставил.

* * *

Душная ночь в Нью-Йорке.
Спишь полчаса на рассвете.
Снятся любовник и деньги,
объятия и машины.

Окна бывшего мелькают
как спицы в велосипеде.
Где, на какой планете
проснешься, упав на спину?

Где? — не поймешь спросонья.
Глаза кружатся от страха:
— обратно, в тюрьме, в Китае,
на родине, на Востоке

— где любят и убивают.
Но нет: цветная рубаха
висит на спинке; снаружи
смеются на солнцепеке...

Генрих Сапгир

СТИХИ 1982-1995

СТИХИ, КОТОРЫЕ НАПИСАЛ БЫ МОЙ УЧИТЕЛЬ ЕВГЕНИЙ
ЛЕОНИДОВИЧ КРОПИВНИЦКИЙ, ЕСЛИ БЫ БЫЛ ЕЩЕ ЖИВ

1

Я весь во власти ощущений скверных:
То мебель падает, то стенка налезает.
Я вижу вас отлично, Генрих,
Я вас не вижу — вижу сквозь — и за — и...

2

Я все же прожил восемьдесят шесть.
Измученный, себе сказал я: будет.
И если *там* еще чего есть,
О, Господи! — пусть ничего не будет.

3

Я еще могу водки выпить.
И знаете, о чем я думаю:
Я вам напоминаю мумию,
А мне — что вы, что весь Египет!

4

Мне кажется, реальность как бумага,
Что стоит только руку протянуть —
И можно небо синее проткнуть.
Но ведь на то нужна еще отвага.

5

А если *там* еще одна ловушка —
И в вечности ловушек без числа:
И плоть, и дух и спор добра и зла...
Но я же не под скальпелем лягушка!

6

Я жил — довольно, мыслил — много.
“Дай отдохнуть, — прошу теперь у Бога, —
Останови дыхание мое”.
Скорей, скорей в твое небытие.
1982

ПОХОРОНЫ

мой брат был честный коммунист
на рынке — август и астры
в квартире — от горя черно
все были растеряны
и не знали как надо
кто-то привычно командовал
и дело двигалось
(ушибая гроб о стенки)
вынесли тело —
автобус еще не подъехал —
автобус подъехал —
а тело еще не вынесли
на кладбище
две белокурые женщины
так плакали убивались —
родственники? кто это?
гроб ехал по дорожке
как именинник
кого-то казалось забыли
кисли лиловые астры
в изголовье — лицо брата
сырой нашлепок с синими пятнами
видно долго мяли
лепили — приводили в порядок
все равно непохоже — не он
но вдова упала закричала
и сразу — пожелтела березовая прядь
запахли сыростью комья цветы

наступила осень
старые коммунисты были верны себе
у могилы произносили
товарищи
на поминках вставали
товарищи
седые с впалыми висками
себя не жалел
если что — жилистые
ни себя ни тебя не пожалеют
бедная моя Мария
горе — нож с черным черенком
столько резали — сам притупился
а его втыкали в колбасу и мясо
покраснев осатанев от водки
все вставали и произносили
честные коммунисты
они и подумать не могли
что пришельцы их давно изучают
что мафия уже купила город
что родился антихрист
и что брат возможно снова родится
на этот раз у мулатки в Аргентине

В СТРАНЕ БУДЕТЛЯН

в полутемном пустом музее
под портретом Велимира
на пыльном полу
на газете
без трусов
раздвинув полусогнутые ноги
ты его торопила
серая полураскрытая щель
и только-то?
нет он сразу освоился
он окунулся в ослепительные райские

(неожиданно с хлопанием взлетали)
он погрузился в восхитительное
шевелиющееся лунными складками
он уходил все дальше и дальше
странный путешественник
возвращался всхлипывая от восторга
чтобы скорее снова уйти
и все возвращался
начиная раздражаться распалиться
(дурной характер)
одним переходом
перебежкой
прыжком—
(какие далекие там в горах фигурки флажки!)
и умереть
в небе оргазма
между тем глаза видели
белые волосы мотающиеся по пыльному полу
этажерку похожую на летатлин
на стене — фотокопии рукописей
самолет похожий на этажерку
почему-то кусок стекла
окна РОСТа (треугольные людишки)
и все эти “бул дыр щиры”
когда-то новые
теперь бесконечно старые
как монокль в воловьем глазу Бурлюка...
ты тихонько постанывала
прислушиваясь
не шелкнет ли ключом уборщица
вы знали: завтра все повторится
путник будет уходить и возвращаться
уходить и возвращаться
у вас не было будущего
в стране будетлян

СТАРЫЙ КОСТЮМ

1

Так долго я смотрел
(кафе — стекляшка)
на девушку и старика
(краснеет ушко...
облака...)
что провалился я
во мрак

—

в овраг
сплетающихся рук
и ног —
и два лица в оскале...
как будто дьявола ласкали —
и было столько ярости
у юности
и старости
что одеяла
простыни
швыряло...
шторм без пристани!

2

кривой каблук
протершаяся кожа —
да на башмак
душа твоя похожа
все ходишь
вижу
все к себе прислушиваешься:
там тоже ходят
шаркают —
изнашиваешься

3

закрыв глаза:
разбилась ваза
шиповник вырос
на балконе

где пробегают
на бал кони
где эрос
легкий точно старость —
и обнимает
он ее — бедняжку
манишка —
шелковую комбинашку
ей ветер
надувает груди
гляди
совсем как люди

4

штукатурка
дырка
трещина —
раскоряченная
женщина

ошупал языком
дупло во рту —
лазейка
в темноту
и немоту

5

постель как гроб
и видом
и размером
засохло мыло
точно гриб
и мухи сдохли
под фужером
на теле
отпечатки —
чьи-то пальцы...

“в отеле
пропадали
постояльцы”

6

сияла
ванна
пел
бачок
но таракана
сбил
щелчок

7

разлетелась —
лбом о дверцу
— а достать хотела
перцу...
мешочки круп
мушиный крап
мышинный труп
усохла мышь —
 давно лежишь

мышинный труп
мышинный труп —
в кошачий суп!

8

застынет в жилах кровь
и пресечет
дыханье
когда покажут
на экране
за грустными глазами
Познера
руины Сталинграда
Грозного
и скажут:
ничего серьезного

думал я о хулиганах —
эти мальчики в погонах
замечательную вещь —
город

взяли поиграли
и разбили —
зачем брали?

9

рассыпалась кровать
и смех и грех!
и стул ебена мать
трюх трюх на трюх
трусы держу в руке —
так торопила
старик...
... на чердаке
трещат стропила

10

прежде вещи
нас переживали
все стояли
все переживали...

а теперь
блестят как неживые
на клеенке —
раны ножевые

11

вилку гнул
гнул гнул —
зуб согнул
сгинь рогатый!
сатана ты!..
сadanул

12

где проходят электрички
в редколесье
дуб стоит —
забрeдаю по привычке

— здравствуй здравствуй

воздух синий
будь старик
сто лет здоров!
...понарежут древесины
...понаделают столов

13

вещи зловещи —
хозяин кощей —
любитель вещей
хранитель вещей
смеется малыш —
погубитель вещей
и время летит —
истребитель вещей

14

лягу во гроб —
в шкаф-гардероб
и забуду себя там
насовсем
вылетит моль...
— Господи! старый костюм...
— Боже мой! прежняя боль...

15

умерли!
вы слышите кретины?
на стене —
рисунки
и картины
телефон звонит
— Какой вам номер?..
Это ты?
Но ты же
тоже умер

Март 1995

КАК БУДТО ГЛАВНОЕ

1

...И станет рай
утробой —
адам
ведь яблоки
и гусеницы
рядом

2

что я?
мало
или много?
рот с ушами?
свечка Бога?

3

как будто главное забыл
еще минута —
и вспомню...
вспомнил!
вспомнил но как будто...

4

не мне ль дана свобода?
Боже мой!
не сам ли стал
решеткой
и тюрьмой?

5

в тоске и страхе
прижимаясь к стенкам
срастаюсь
узник
со своим застенком

6

жжет изнутри
слепительная
точка! —
из живота —
ни жабы
ни росточка

7

огрызок яблока
вот —
на глазах ржавеет...
и человек
в свою реальность
верит?

8

проснулся
ночь —
и весь в поту...
и *знание* —
от затылка
по хребту

9

...и с визгом —
в мозг!
усвой его
развей —

чужой зародыш
гибели своей

10

малыш
играет
с голым
пузом
и смотрит старичком-
маркизом

11

...и числа
без смысла
...и травы
неправы —
и птицы...
зачем умножаться?
к чему продолжаться?
еще — шевелиться?

12

крылья
вырастают —
только спонта...
тень моя
растет
до горизонта

13

на потолке
квадратом
дышит солнце
но всякий атом
в истине
спасется

14

Бог
смотрит
нашими глазами
вот отчего
мы видим сами

15

о чем звезда
поэту говорит?
ритм
ритм
ритм
ритм
ритм

ЧЕЛОВЕК СО СПИНЫ

1

Он всегда уходил. Потом выяснилось, мы жили с ним на одной лестнице, вернее, вокруг одного лифта, дом-то двадцатидвухэтажный. Но почему когда я выходил из подъезда или возвращался с работы, всегда видел его спину, чаще в плаще, реже в пиджаке. Плащ был светлосерый, пиджак в мелкую клеточку.

Таким я и запомнил его со спины. Это была выразительная, о многом говорящая спина, если можно так сказать. Например, в толпе я ее сразу узнавал. Широкая, плотная, сутуловатая, она нависала над ее носителем. Она требовала к себе уважения. Пробиваясь в очереди, устремившейся в двери троллейбуса, она так энергично работала локтями и лопатками! Все невольно сторонились. Эта спина была камешком, который нелегко было расколоть. Над чем она склонялась там на работе, не знаю. Но мерещились какие-то планы, линии, стрелки, кружки.

Спина была довольно молода, иногда носила рюкзачок, но было заметно, эту спину ждало определенное будущее. Темный, некоторко стриженный затылок был как перец с солью. Время поджимало. Вот почему она была так целенаправлена — моя спина.

Видел неоднократно, спина поддерживала под локоток или обнимала за талию другую узкую округленную спину, обтянутую темным шелком или ситчиком. Посередине линия позвоночника изгибалась волнующей канавкой. Узкая спина была беззаветно предана широкой спине, смуглая шея с крупной родинкой, увенчанная узлом темных волос, клонила ее на плечо. Но ни лица спутницы, ни самого мне никогда не удавалось видеть. И это казалось очень странным. Что за человек? Все-таки сосед, и всегда со спины. Но однажды...

2

Но однажды, уже не помню где, во дворе или на улице, я увидел эту спину так близко, как видишь порой стену, захотелось обогнать и посмотреть с фасада, а какой он? Такой ли, каким я его себе представлял невольно? Каков затылок ведь, таково и лицо, и если сзади плотно прилегающий воротничок рубашки, то спереди скорее всего — галстук, наверно, яркий, крупными цветами или обезьянами, — подумал я. Потому что спина была так уверена в себе, плечи

довольно широки, и видно было, как играли мускулы под модной материей в мелкую клеточку, поигрывали, так сказать, выдавая человека широкого и любящего земные удовольствия.

В общем, ускоряю я шаги, но и спина ускоряется в своем движении. Думаю, может быть случайно. Я еще прибавляю маршу, спина — тоже, локтями мелькает, норовит за угол завернуть. “Ну что ж, — думаю, — неужели никогда так и не увижу фасад, это в конце концов унижительно! Все время он показывает мне задворки, не говоря о том, что пониже спины — такие выпуклые, обтянутые брюками, честное слово, оскорбительно даже!”

Он быстро зашел за киоск, за угол. Я бросаюсь следом, в три прыжка настигаю его. Он недовольно оборачивается...

— Что вам от меня надо? Вы с ума сошли!

Это мне напомнило какую-то любительскую фотографию: снят человек со спины. Кажется, повернешь и увидишь его лицо, а там — белый испод.

Так и я — лица не увидел, ни того, которое ожидал, ни другого — неожиданного, вообще ничего. Передо мной замелькало нечто; какие-то черты там, видимо, были, потому что все выглядело естественно. Я даже оглянулся, прохожие посматривали на нас, но без особого интереса. Значит, лицо было. Просто я его не запомнил сразу. Причем, не запомнил сразу. И сколько я ни глядел, оно тут же выветривалось. Иначе я объяснить не могу. И говорило оно, лицо — отсутствие лица — что-то такое неуловимое, в общем понятное, все равно непохожее, попытаюсь воспроизвести. В общем, представьте себе речь, где все перемешано, как в борще или в каше, и все на равном основании и в одинаковом положении, смысл ускользает, энтропия речи. И голос высокий, пронзительный.

— Молодой человек, что вам угодно? ... Что вы предлагаете?.. Почему на лестнице и во дворе?.. Главное за гаражами... почему за гаражами я вас спрашиваю?.. И в метро тоже преследовали... Тут и девушки и знакомые... А если... предположим... подумайте... Кошмар. Конечно, вас можно понять, я вас понимаю, все вообще понимают друг друга, но этого я не могу понять, никто это не поймет и не рассчитывайте понять, это сегодня невозможно... Прежде да... В те времена, прежде прошло, минуло, уехало, улетело, мигрировало, амнистировано, неподсудно... В те времена вы имели бы полное право в любом месте и за гаражами: пройдемте побеседовать, договориться, признание, какое признание? это ваши знакомые? это наши знакомые? да они эти наши знакомые — нам вообще незнако-

мые, и никогда не знакомились, может быть они знакомились, а мы то есть я не знакомился принципиально.

— Вы думаете, я “оттуда” и слежу за вами?

— А почему каждый раз всегда по пятам, по следам, по пути, я же вижу, даже когда не по пути, все равно по пути. И светофора не ждете, служба такая, светофоров не ждать, все равно не оштрафуют.

— Нет, нет, вы ошибаетесь. Просто так получается, что я вас всегда со спины вижу.

— А я вас, простите, извините, спиной слышу, вижу, осязаю, узнаю постоянно.

— Чуткая у вас спина, и не подумаешь. А мы ведь живем на одной лестнице.

— Один, два, три, четыре, пять... (Тут он углубился в подсчет.) Если подсчитать разные походки и припрыжки, сто двенадцать человек живет на нашей лестнице, справа квартира номер 94, а слева уже 96, моя как раз посередке.

— Понятно, 95, — говорю.

— Не то чтобы 95, на моей двери номера нет.

— Понимаю, понимаю, это чтобы не привлекать к себе внимания квартирных воров.

— Вот именно, — и даже улыбается непонятно чем.

— И в то же время, — говорю, — чтобы отличаться от остальных жильцов. У всех номера, а у вас ничего, — говорю, стараясь быть любезным.

— Видите ли, здесь вы не совсем попали в точку. Не вообще ничего, а след от таблички с номером.

— Вот именно это, я понимаю, вас это и отличает, делает, можно сказать, неуловимой личностью.... Тут он быстро перебил меня: — Это замечательно, что “личностью”, что вы так сразу все поняли, редкий случай, удача, можно сказать, вообще никто не понимает, что личностью, не только в нашем доме, говорят, спина какая-то, а я ведь своей спиной не хвастаюсь, на работе тоже, все в спину мне нороят неприятное сказать, небось, так боятся...

(А куда, думаю, тебе говорить, если не в спину?)

Между тем продолжает, да так легко, мелькая быстрыми улыбками:

— Удивительно, что вы меня понимаете, нам надо общаться, нет, не просто общаться, не грубо, размахивая руками и дыша друг другу в лицо, а так, касательно, будто нечаянно, будто не замечая друг друга, общаться экспромтом, не дружить домами, все время

обоня запах чужой несвежей квартиры, а так, по-светски, случайно встречаясь на улице, где много красивых женщин... Рад познакомиться, рад, рад, рад...

Он еще бормотал, щебетал по-птичьи, обдавая меня безликим радушием. И уходил, ускользал. Я не уловил, когда он повернулся снова ко мне спиной. Но при виде этой в клеточку спины мне стало легче, все-таки что-то определенное.

3

Конечно, в глубине я несколько огорчился, что мой новый знакомый подумал, будто я слежу за ним. В следующие дни, где только ни завиху его спину, сразу отворачиваю, другой дорогой иду, хоть мне туда и не нужно совсем.

Но однажды пасмурным утром, когда не поймешь, утро это или вечер, и вообще, предстоит ли день, заметил, в просвете уличной двери, ее — широкоую, выплывающую из подъезда, как камбала. Задержался. Не спешу выходить. Подождал две минуты, распахиваю дверь, а оно тут как тут, безликое, мелькающее, и на птичьем языке говорит:

— Что же вы, как же вы, куда же вы? Избегаете, уходите, убегаете, манкируете, можно сказать...

Я растерялся.

— Что же делать, вы все время впереди. Подумаете еще, что преследую.

— Но это вы — последний, крайний, кто за вами, никого, привыкли...

— Да, — говорю, — проклятая интеллигентская привычка.

— А вы посмейте, обойти, обогнать, обмануть, обдурить, обжечь меня, время, начальство, настроение отличное, лично я не обижусь, держайте...

— Если ничего не имеете против, тогда... Тогда я впереди вас пойду. Надо посмотреть, почувствовать, как это, быть впереди.

— Понравится, еще просить будете, не идите только слишком быстро, мои башмаки пожалейте...

— Ну, я готов. А вы как?

— В фарватере...

Трудно было первый шаг сделать. Само сознание, что ты — первый, а за тобой может быть не только этот безликий, а множество таких, целая партия, поколение может быть... Ответственность.

Тут я о своей спине и подумал.

— Ну, как я со спины?

— Ничего, пиджак помятый, плечи худощавы, но ничего, попривыкнете, посолиднееете... У меня друг не такой спиной начинал, вообще горбатый был, походил, походил впереди, задние “никакого горба, говорят, не замечаем” — или выпрямился, хотя навряд ли, когда хоронили, ничком положили в гроб под высокую крышку...

Это он говорит мне в спину и вслед мне топает. Я иду, стараюсь не сутулиться, плечи назад отвожу, чтобы спиной шире казаться. Странное дело, думаю, такая солидная стать и такой тонкий высокий голос. Впрочем, встречал я таких — мужиков с Украины. Я иду и он идет. С удовольствием, чувствую, идет. Может он всегда мечтал вторым ходить, вот и голосок тонкий, не начальственный. Спину свою расправить стараюсь и, кажется, она у меня шире и сам я постарше.

— Ну как, говорю, за моей спиной?

— Ничего, — говорит, — как за каменной стеной, если, — говорит, — пуля — защитит, а снаряд — так и так дырку сделает...

Я обиделся.

— Я, — говорю, — не танк. Пожалуйста, я и уступить могу.

Голосок сзади заметно потвердел, вроде как стальная проволока стал.

— В жизни надо быть танком.. Люди уважают танки, танки принимают всюду в обществе, танкам дорогу уступают в конце концов. (Вон как заговорил!) Любая женщина под гусеницы ляжет. Дави, скажет, меня, не жалко. Танком еще суметь надо быть. А ты: не танк!

Я иду, он — следом да еще учит меня первым быть. И нравится мне это, вот что я скажу. До того увлекся своим первенством, что сам не знаю, куда иду. Сначала дома были кругом обыкновенные и тротуары побитые, потресканные. Мусорные баки под арками, пьяный валяется, никуда за мной не идет, чудак. А потом дома стали поновее, улицы попрямее и тротуар поровней. Старые дома, правда, попадают еще, но в лесах, кисеей завешены, тут и там медными ребрами новая крыша торчит, ремонтируются. И оптимизма во мне прибавляется. Лучше жить людям становится, вот и строиться начали. А тут, как нарочно, солнце — навстречу да полной улицей. Улица, смотрю, прямая, дома по обеим сторонам свежевыкрашенные, всех оттенков желтого и белого, как из терракоты. Это оттого, думаю, что я впереди всех иду. И чудится мне, все прохожие не просто идут, а за моей спиной. В меня закатное солнце бьет, а их не слепит. Ну, думаю, повезло вам, что я впереди иду.

Обернулся я, а сзади идут, идут — и все закатом обезличенные, со света в глазах темно.

И я иду, иду, марширую. И все за моей спиной, как за броневой плитой, маршируют: раз-два, раз-два.

Только солнце затянуло, снова потускнело, и не поймешь, то ли вечер, то ли еще не рассветало.

Голосок за спиной: — Куда ты нас завел? Оглянись.

4

Поглядел я вокруг. Пустыри. В беспамятном сером небе шаткие тонкие мостки над канавами. На земле битые кирпичи, голое стекло, всякий мятый пластик бесстыдных форм, а жестяных банок — тысячи. Будто была здесь битва и всех пивными банками поубивало.

И никого за мной нет. Только безликий маячит, дергается будто от смеха.

— Спина у тебя как у быка. — И щебетать перестал.

— Ну куда зашел, знаешь? Предводитель. Вождь.

Подозрительно мне стало. Как-то ловко у него получилось. Как в шахматах. Предложил мне отчаянный ход. А я согласился. И угодил в ловушку. Поставил меня первым и зашел я неизвестно куда. А сколько людей завел? Тоже неизвестно. Может быть, все по дороге погибли. Кроме безликого.

— Ты что за мной увязался? — говорю.

— Я — за твоей спиной.

— Как отсюда выбраться, хоть знаешь?

— Я — за твоей спиной.

— Понял я, тебе следить за мной приказали. А я-то дурак иду впереди, иду. Давай лучше разберемся по-хорошему.

— Я за твоей спиной.

Вот ничтожество, блин, и лица-то порядочного не имеет, а заладил: “Я за твоей спиной”. Прилипала или еще хуже. И так мне захотелось от него отделаться, убежать, забыть. Как припущусь по каменистой земле! Бегу, будто ноги меня по воздуху несут. А он — следом. Не ожидал, приотстал сначала. Однако, вижу, догоняет.

Я — по откосу, он — по откосу. Внизу — асфальт, широкое шоссе. Грузовики, машины, цистерны — чирк, чирк. Боковым зрением вижу, коляска милицейская на обочине. Сейчас, думаю, сдаст. И между машинами несусь как заяц. Пронесло, перескочил на другую сторону.

Слышу, сзади такой противный длинный скрип. Лязг, тишина. Стою с краю асфальта, мокрый кусок шлака созерцаю, не спешу поглядеть. И так знаю.

Вот он лежит плашмя на животе, пиджак в мелкую клеточку, широкий затылок, почему-то седина сразу проступила. И темная лужа по гудрону растекается, по чуть заметной ложбинке. Жалко мне его стало. Хорошая какая-то, добротная, внушающая доверие спина; вспомнил я, как я за ней шел, и все было хорошо и нормально. Проклятое любопытство сгубило. И зачем он за моей спиной пошел, побежал? Ведь я впереди быть непривычен.

Между тем и шофер, и милиция, и еще подошли — кучка обрвалась посредине шоссе.

— Переверните его на спину, — говорят.

Двое взяли и перевернули. И сразу какое-то смущение там у них произошло. Милиционер посмотрел вниз и быстро перевел взгляд на шофера.

— Ты зачем с неположенной скоростью ехал?

А тот, шоферюга, чумазый такой, с цистерны.

— Под уклон, — говорит, — бандура тяжелая.

— Выпишу тебе штраф или акт составить?

— Выписывай.

А тут — которые позже подошли, голоса подают.

— Что, — спрашивают, — кошку раздавили?

— Нечего вам здесь делать. Идите к своим машинам. Да побыстрее.

— Чудак, чего тормозил?

— Гудрон скользкий, мокрый. А тут под уклон.

— Вот и влип.

Я заранее это предчувствовал. Как перевернули его на спину, на асфальте только слабое мельтешение, будто рябь на воде — и ничего. Пусто.

Сергей Петрунис

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

* * *

Вас не удивляет, что в Тибете, на рассвете,
часто умирают дети?
А ведь медицина тибетская
не какая-нибудь албанская
и даже не советская,
ведь медицина тибетская
с древнейших времен в фаворе
и помогла не одному Васе
и не одному Боре...
и все-таки дети в Тибете —
не умирайте так часто,
как поэты.

22 июня 95

* * *

Булату Окуджаве

Гитара моя — бессонница,
негромкая собеседница,
некогда — робкая школьница,
все годы — любовь-наперсница.
Кружили мы по Арбату
с гитарою под полою...
Пиджак перешили старый,
пока не купили новый.

По нотам — легли листочки,
по расписанью шли электрички.
В весеннем бешенстве рвались почки
и прилетали с зимовья птички.

1985

* * *

Нежнее рук не создавал Господь,
Вернемся в прошлое — тогда ветвями были
те пальцы, что меня ласкали,
чуть-чуть шершавые, с налетом пыли —
они любили.

Нежнее глаз твоих не создавал Господь,
в зрачках металась радуги земные
и обводили потом моих слез,
тогда, как будто мы дружили.

1980

* * *

Она пусть говорит едва-едва
то ли буквы, то ли первые слова,
но друг друга никогда нам не понять —
разную дал, Господи, кровать.

* * *

Когда прощаюсь с вами —
не грущу,
и постылыми бессолнечными днями
курюк рулетки
не спущу,

ну а ночь, ровесница,
пусть приснится мне
тобой.

21 июня 95

УПЫРЬ

(Из цикла "Нечистая сила")

Деревенька — село Покатово.
В церкви ночует мертвое тело —
выражение лица Гипократово,
на шее — “Андрей Первозванный”
то ли мерцает, то ли горит...
Рядышком притулился гость долгожданный —
упырь Константин — брашно творит...

Зеленые мышцы со вкусом жует,
ковыряет в печени и селезенке,
и мурлычет — колыбельную поет:
словом, печется, как о ребенке.

Выходит из храма добрым молодцем,
то ли печенегом, то ли половцем.
Комолые бесы вокруг резвятся:
шлепают губами, плещут хвостами,
но добра молодца сторонятся:
то ли брезгают, то ли боятся.
1987

ИЗ ЦИКЛА “С ФАЛЕСА НАЧАЛАСЬ ИГРА”

1. ЗЕМЛЯ

Земля спешит, качается,
Человек на Земле кончается —
Он все больше воздухом лётает
И по фене какой-то ботает,
И в скафандрах любовью балуется —
С саламандрами забавляется.

Жрет пилюли нектаром вонючие
И при каждом удобном случае
Норовит по Земле то бомбочкой
Замастырить ей в тело жирное,
То — газочком прикрыть ей кожицу
(Время наше похвально мирное),
А Землица пусть корчит рожницу
Да глотает его отбросы —
Экологии, бя, вопросы.
И трясет Земля всеми членами,
И течет Земля магмапенами,
И меняется с чертом генами...
Снявши голову —
Плачет в бороду:
Мстит Земля деревне и городу.
Земля-Землица!
Мне опять не спится,
Дай дождю пролиться,
Дай воды напиться,
Дай огня — погреться,
Сеном надышаться.
Дай дереву — одеться,
А траве — примяться,
Мне с тобою спеться
И в тебе остаться.

1981

2. ВОЗДУХ

Воздух — с неба,
Воздух — из-под крана,
Воздух — с боку,
Где — живая рана.

Воздух — густ,
Домик — пуст,

И кого — за ус,
А кто — златоуст.

Воздух — тесен,
Воздух — серебрист,
Значит — время песен,
Значит — звездный свист.

Воздух — жидок,
Воздушок — горяч,
Потолочек — низок,
Человек — палач.

Воздух — рус,
Да тучами чернобров,
Кто — за Русь,
Кто — так, за кровь...

И в дрожаньи воздуха,
Как в отмене ветра,
Есть значенье отдыха
От вельня спектра.

.....

Воздуха мосточки —
Между нами,
Воздуха росточки —
Между рукавами,

Воздуха цветочки —
На его палитре,
Воздуха кусочки —
В приступе молитвы.

Александр А. Пушкин

СОНЕТ ВЕНОКОВ

1

Наш первый год подобен был измене:
Себе, другим, привычкам и словам;
Дотоле не встававший на колени,
Я их протер, в угоду только Вам.

И даже спьяну не тонувший в Лене,
Я в Вас погряз, в пучину, как в бальзам,
Навстречу сну в венерианской пене,
На волю прихотливейшим волнам.

Измена прошлому — обычная измена,
Как ни крути — планида — что полено,
Судьба окрутит скрюченным перстом,

И все вернется на свои начала.
Ну, а пока — измены да скандалы...
Наш год второй — то Э-дем, то Со-дом.

2

Наш год второй — то Э-дем, то Со-дом,
Кавказ и Волга, раны и микстуры,
От перевалов — в скользкий волнолом,
И с поездов — в недельные амуры.

Дедов наследие — за грош, за день вдвоем,
За пару литров местной политуры,
Чтоб на билет хватило, а потом —
Гори огнем: что деньги, что культура.

Последний день — который завтра день,
Покуда ночь — об этом думать лень,
Долги — на совесть лучших поколений.

Но вечный рай — прочитанный обман,
Билет был взят — и тем продлен роман
На третий год под горестные пени.

3

На третий год под горестные пени
Гудок вокзальный прогудел “не быть”,
В стене ль размазаться без слов и обвинений,
Не жить, не пить, — а впрочем, что ж не пить?

Шипеть незряче на людские тени,
Ползти, одну нащупывая нить,
Сквозь снег московских сумрачных метелей.
Не слышать — не смотреть — не говорить.

Перележать в сугробе до капелей,
Глядишь: жива душа в тщедушном теле,
И свет видать за почерневшим льдом.

Аэрофлот подъехал прямо к дому,
Был чемодан к тому давно готовый.
Четвертый год явился в новый дом.

4

Четвертый год явился в новый дом.
Кому-то Новый Свет, а нам — не ново.
Что ново русскому в сем мире? Он знаком
С яйцеобразностью строения земного.

“Любовь”, “авось”, а там — хоть “суп с котом” —
Залог Ивана, вечно молодого;
Забыть, что ведал, и пропить притом,
Платона с Кантом, Ницше и Толстого.

Моя одна шестая — значит — вся!
 Доехал бы, да баба на сносях;
 Залез на пень, взглянул через плетень, и —

Вон там в песках скребется Поло Марк,
 Колумб причалил... Нансен... Скотт... — Однако,
 Нам пятый год вокруг глаз наставил тени.

5

Нам пятый год вокруг глаз наставил тени.
 Житейский быт не скрыл свой грязный грим,
 И ностальгическая легкость нототений
 Не раз пригрезилась сквозь долларовый дым.

Скучать пришлось по Лене и по Сене,
 По коктебельским холмам золотым,
 По маме тоже... Новые явления
 Являлись нам под градусом иным.

То вспомнишь БАМ — в сабвее против бама,
 А то — бичи на Брайтон-Бич упрямо
 Знай, лезут в голову, меж негром и жидом.

Простых попок с добрыми друзьями...
 На пятый год остались нам — лишь снами.
 Шестой восшествовал стахановским трудом.

6

Шестой восшествовал стахановским трудом.
 То — за рулем, угрюмо сдвинув очи,
 С отбойным молотом — едри его в кондом!
 То — с трубкой в ухо за столом рабочим.

Я потом пробовал, и катом, и мытьем, —
 В кармане рупь зеленый спать не хочет,
 Я матом пробовал, так он меня — рублем!
 И джян глушить не стало больше мочи.

Осталось главное — тот рай, что в шалаше...
Кошерный кот орет как оглашен,
Нерезанный, как голубой Есенин;

Спешат по трассам выблестки машин,
Шесть лет — шести цилиндров пережим.
Седьмой случился в день такой осенний...

7

Седьмой случился в день такой осенний...
В год Лошадей, Некованых Кобыл;
Лишь календарь отметил надпостельный
Долги, долги... Те помню... Те забыл.

Конец недели — значит Воскресенье;
Спи — не проспи, чтоб ужин не простыл,
Покройся плесенью натуре во спасенье,
Как камамбер — вот каламбурский сыр.

Домашнего бы съесть “наполеона”,
“Тройного” нет вкусней одеколона,
Блокаднику — в охотку суп с котом.

Под Рождество — гадать одна забота,
Семь лет прожить — не в поле мять кого-то,
Восьмой... А впрочем, про восьмой потом.

8

Восьмой... А впрочем, про восьмой потом.
Куда б махнуть в часы его досуга?
В каньон, на Запад, в карту ткнув перстом?
На Север, к Лондону? Или — туда, где вьюга...

Восток. Манит. Распяленным крестом,
Магнитом заколдованного круга,
Железным пестиком и Каменным мостом,
И дрекольем, чтобы идти на друга;

И стужей лютою, чтоб продрало до дыр
Короткого дыхания пунктир,
В Земле, куда — не суйся Датский Гений!

А жаль ее за глупость и за блуд.
Нам с ней делить с тоской, как рабский труд —
Девятый вал невиданных волнений.

9

Девятый вал невиданных волнений
Перевернет, как карточный марьяж,
Всю стройность прежних Божьих построений
Во имя новых Божьих. Где был пляж,

Леса взрастут, свои раскинув сени,
А где был дом, гора и город аж —
Волна неспешная сокроет, как мираж,
Под слой кораллов и морских растений.

Лишь, может, где-то детский башмачок
Случайно выбросит с приливом на песок;
Да ржавый рупь, на коем стертый Ленин,

Иль стертый Кеннеди, или китайский бог...
Мечтатель будущий их подберет в залог
Десятикратно вятных упоений.

10

Десятикратно вятных упоений...
Познав страданье, осознать вину
Своих отцов и дольных поколений,
Их сотни вин сведя в свою одну.

Десятикратно вятных упоений
Вкусить порой, как горькую слюну
Давно умерших, грешных иступлений
Смешную и кровавую войну,

И хмель бахвальств и унижений язвы;
Отцов давно прощенные маразмы —
Их жен наследовать и свадебных колец.

До старости — за них считать обиды,
А там глядишь — к тебе ж ползет, как гнида —
Прекрасный и губительный гонец.

11

Прекрасный и губительный гонец.
Как Азраил, в пыли и пене конской,
Терзающий неопытных сердец
В ночи — наречьем среднеавилонским.

А день придет — трудолюбивый жнец,
Сменив доспех на серые поноски,
Пойдет косить... Он вам и жнец и швец
И на трубе игрец. Иерихонской.

До полу-дня, не покладая рук —
Снопам он завалит целый луг,
А там — обед, и платье голубое...

Наш Азраил, он знал и боль и глад,
Да вот теперь — свой выстроил уклад,
Из дюжины измен и мордобоев.

12

Из дюжины измен и мордобоев...
Скучна мне эта жизни ипостась.
А хвост прижмет — забудешь все святое,
Заверещишь, как на крючке карась,

Пороков рыло вылезет рябое,
Что усомнится самый Ночи Князь,
Опустит руки пайнкой Рембо, и
Матрос захнычет: — Временные, влазь...

И Берия очки протрет, слезясь;
И Хомейни промолвит, поклонясь:
— Иди, Рушди, иди, Аллах с тобою...

А мир вздохнет и, помолясь с утра,
Начнет процесс зализыванья ран,
И смен — от полушарий до обоев.

13

И смен — от полушарий до обоев,
От вех общественных до частной смены вех, —
Все недостаточно, чтоб изменить любое
Лицо нам данное. И с фото — детский смех.

Сам гул иерихонского гобоя
Натуры не изменит. И — не в грех.
И Колобок, беглец и блинный воин, —
Выходит, твердый на разлом орех.

Взгляни в свой лик, давно уже отснятый, —
Аль нажил более, чем ты имел когда-то,
При бабушке?.. Кисель да холодец...

С тем и помрешь, забыв доход и бабу;
Детей твоих, возможно, примет Рабба.
Всяк сказочке — пленительный венец.

14

Всяк сказочке — пленительный венец.
Хоть за концом — бездонность драм грядущих.
Иванушке с Аленушкой — киндец,
Прости их, благо Боже, присносуший.

В ответчика сыграем. Пусть истец
Навешает лапши колючей куши, —
Его б в колодец — прёт он на крылец
И достает, крапивы горькой пуше.

Нам — наплевать. Люблю оно — как есть.
В том чести нет. А маленькая месть —
Необходимость рифм да неврастений.

Мы — ни при чем... Но естество — куда ж?
Поэтому — себя ж — на абордаж, —
Наш первый год подобен был измене.

15

Наш первый год подобен был измене,
Наш год второй — то Э-дем, то Со-дом,
На третий год под горестные пени
Четвертый год явился в новый дом.

Нам пятый год вокруг глаз наставил тени,
Шестой восшествовал стахановским трудом,
Седьмой случился в день такой осенний,
Восьмой... А впрочем, про восьмой потом.

Девятый вал невиданных волнений,
Десятикратно вмятых упоений —
Прекрасный и губительный гонец.

Из дюжины измен и мордобоев
И смен — от полушарий до обоев, —
Всяк, сказочке — пленительный венец.

1990

Константин Плешаков**ИРТЫШ**

Я приехал в Баку по ничтожному иностранному поводу в начале лета восемьдесят седьмого года. Не помню, кто тогда стоял у власти в Азербайджане, помню только, что люди уже понемногу начинали говорить, упиваясь холодком собственной дерзости. Мы прилетели в ночь. Баку раскрывался под крылом самолета, как ювелирная лавка. Я устал и хотел спать. Впрочем, слабо, сквозь самолетные сухость и лязг, я все же предвкушал новый город.

В дверях аэропорта я нашел молодого мужчину с маленьким непрофессиональным плакатиком в руках, на котором было коряво написано мое имя.

Я пожал ему руку, он представился. Я не расслышал.

Черная обкомовская “волга” понеслась в гостиницу. Усталость обрушилась на меня. Я не хотел ничего, ни нового города, ни новых знакомств, ни, тем более, милости этого грёбаного обкома. Все, что я хотел, это завалиться в постель и спать, спать, спать — по крайней мере, до раннего утра.

Мой сопровождающий, признаться, смотрел на меня волком — самолет опоздал на три часа, он прождал в бесчеловечном аэропорту, я вяло пытался представить, что он думал о представителях гордой Москвы вообще и обо мне в частности. По всей вероятности, ничего хорошего он не думал и был прав.

Впрочем, он любил бы Москву еще меньше, если бы знал подлинную причину задержки.

Все три часа мы просидели в трюме самолета во “Внукове”, купаясь в поту. Никаких объяснений нам не давали. К концу второго часа стюардесса стала грациозно разносить минеральную воду. — Не знаю, ничего не знаю, — с насмешливой загадочностью отвечала она на стенания очнувшейся публики. — Скоро полетим.

И эта значительность тона, даже какая-то светскость, с которой она отметала негодования, заставили меня вспомнить слух, кото-

рый я мимоходом подцепил сегодня утром. Когда стюардесса док- ланялась до меня, я тихо спросил: — Он уже в воздухе?

Стюардесса моментально замкнула улыбку на ключик и впи- лась в меня глазами эльзасской овчарки. Я смотрел на нее при- стально, не мигая, и даже слегка кривил рот. Она порыскала гла- зами по моему пиджаку, пытаясь догадаться, какое удостоверение лежало у меня в кармане, но не догадалась и слава Богу, потому что удостоверение было пустяшное, поколебалась, наконец, нагну- лась и нежно шепнула: “Еще нет”.

Прошел еще час и, не глядя ни на кого, виляя задом, как соба- ка, несущая палку, стюардесса прошла через весь салон ко мне, наклонилась и с партийной улыбкой шелестнула:

— Первый улетел. Через пятнадцать минут взлетаем.

Я кивнул, откинулся и закрыл глаза.

Слух, который я подцепил утром, оказался верным. Сегодня из “Внуково” улетал куда-то Горбачев.

Надо было рассказать все это человеку, который три часа про- ждал в аэропорту не столько меня, сколько Горбачева, но сил го- ворить и объяснять у меня не было. Я притворился, будто пожираю глазами новые виды. Из окна машины открывались обычные ко- ричневые сумерки большого города.

Когда сопровождающий поселял меня в гостиницу, он говорил по-азербайджански, и я снова не расслышал, как он представился, если он представился вообще.

В номере я первым делом открыл окно. Полумертвый от уста- лости, я все же наконец понял, что у Баку определенно имелся сильный восточный шарм.

Я не знал, в чем он, собственно, заключался. Может быть, ко- ричневый цвет бакинской ночи носил отчетливый кофейный отте- нок, а огни были преувеличенно самоцветны, хотя, казалось бы, что может быть особенно самоцветного в электрических огнях? Может быть, сами линии улиц, обозначенные огнями, как взлетно- посадочные полосы в аэропорту, повторяли какие-то древние, сугу- бо восточные, городские силуэты. Несомненно, бакинская ночь пахла иначе, чем московская или сочинская. Возможно, все дело было в тысячелетних наслоениях запахов деревьев, трав и племен, я не знал. Пожалуй, что-то доносилось до меня и с бакинских ку- хонь, запах каких-то особых специй, травы-регана, быть может?

Так или иначе, я слабо улыбнулся и стал устраиваться на ночь. Отвернув одеяло на койке у окна, я злобно ахнул. Белье не меняли, чьи-то лобковые волосы — мужские или женские, как я мог понять? — гнездились на простыне.

Я метнулся к кровати у шкафа. Белье на ней было просто скомкано. Я выругался. Объясняться с горничной во втором часу ночи было бессмысленно.

Поколебавшись, какую кровать выбрать, я, наконец, выбрал ту, что с волосами. В скомканном белье мне мстился слишком отчетливый запах пота, которого, на самом деле, возможно и не было.

С немалым отвращением я лег и уснул.

Наутро я сухо выговорил давешнему сопровождающему про белье. Как истинный москвич я инстинктивно считал его обязательным посредником между мной и местным бытом.

Он побледнел, медленно подошел к стойке и вдруг бросился на красавицу-администраторшу, как Шамиль на русскую колонну. Мне стало стыдно.

— Подожди, — сказал я, трогая его за локоть, — я сам.

Но он отмахивался свирепо, выхаркивая исполненные ярости слова. Я разобрал “Москва”, “обком” и снова “Москва”.

В который раз пытаюсь пересмотреть свою жизнь, я мысленно покаялся, не переставая, впрочем, вслушиваться в разговор. Но, как я ни старался, имени нового полузнакомца уловить не сумел.

Наконец, когда он, отерев низкий лоб, бросил мне: “Сменят белье”, я со всей возможной виноватостью в голосе сказал:

— Спасибо.

Он глядел с ненавистью.

— Напрасно я тебя дернул, — продолжал я. — Сам должен был.

— Ничего, — сказал он, не прощая.

— Слушай, — сказал я, не любя себя в этот момент, возможно, так же, как меня не любил он, — я вчера не разобрал, как тебя зовут. Я с самолета был. Извини.

Он бегло глянул на меня и буркнул:

— Иртыш.

Уже в машине некоторое время я размышлял, не ослышался ли, и как вообще возможно такое имя, Иртыш? Но, наконец, я услышал, как обкомовский водитель, небрежно, снисходя до молодого

го сопровождающего, обратился к нему. Ошибки не было. Его действительно звали Иртыш.

Иртыш? Что за странное имя, даже в Баку!

Весь день мы ездили сумасшедшим маршрутом. Я готовил поездку неких важных японцев. Сначала — так велел Иртыш, и я, чувствуя свою бесконечную вину, согласился, — мы поехали в совхоз, выращивающий гвоздики. Гвоздик я не люблю по определению, считаю их цветами похоронными, разговоры о теплицах мне никакого удовольствия не доставили, и я твердо решил, что сюда японцев не повезу. Потом мы поехали на фарфоровый завод, заводы ненавижу, считаю их адом на земле, полагаю, что рабочие обречены на восстание, и что в этом смысле Карл Маркс был прав. Однако директор обещал керамические сувениры, “производство” было чистым и бойким, Горбачев не уставал напоминать о промышленном потенциале Родины, и японцев сюда везти было надо. Потом мы отправились на нефтяные вышки. Вышки мне понравились. Они стояли в ослепительно-синей, какой-то ковровой воде Каспийского моря, никакой пресловутой масляной пленки не оказалось, директор был элегантно одет, горячий ветер летел, вероятно, из самых горьких пустынь Туркмении, через все старое море-озеро, и я решил, что на вышки повезу японцев всенепременно.

Японцы на самом деле приезжали вовсе не по промышленной, а по некой научно-политической надобности, поэтому мы закончили смотр экономических достижений и отправились к помощникам местных вождей. В те времена страна еще не была избалована вниманием визитеров извне, в каждом кабинете нам подносили чай в маленьком грушевидном стаканчике и сласти. Разговоры тоже были по большей части приятные.

Под вечер я изъявил желание осмотреть, наконец, город. И дальше произошла маленькая, но все равно удивительная странность. Иртыш повез меня к руинам шахского дворца на небольшом холме недалеко от моря; руины не обещали ничего сногшибательного. Но как только я вылез из машины, то моментально понял, что наверху, под стенами, увижу кусты граната в цвету — и действительно увидел.

Что может быть естественнее, чем встретить южный, тем более, любимый тюрками куст в тюркской же стране? Но поскольку

это был первый случай, когда я предвидел что-то, какое-то дикое ощущение счастья всерьез охватило меня.

Это странное ощущение объяснялось не одним лишь внезапно обнаружившимся даром мелкого бесполезного пророчества, а еще и тем, что Восток вдруг сомкнулся вокруг меня алым кольцом. Кусты граната, о которых я говорю, подпирали и обрамляли рыхлые рыжеватые стены, сад бормотал стихи про солнечную древность и недолговечность страсти. Гранат был не дикий, низкорослый и темно-розовый, с оттенком влажности, недаром цветет он в мартовские туманы, а садовый — в мелкий лист над тугими стволами, с вычурными цветами; их обрамляет жесткая, цвета темного апельсина, звезда-чаша, а сами цветы бледно-розовые, со смутной белой каемкой по краю, лепестков много, они взбиты в пышную тончайшую юбку — казалось бы, естественно сравнить эти цветки с балетной пачкой или бальным платьем, но они исключительно восточны, и никоим образом невозможно соотнести их с обнаженными по-западному женскими плечами.

Я влюбился в Баку. После граната все казалось мне роскошным — и пузатые балконы домов, и тугие улочки, и самые обыкновенные клумбы, даже советские дворцы обретали здесь черты обиталищ восточных сатрапов — каковыми они, строго говоря, и являлись в политическом смысле. Впрочем, в тот момент мне было не до политики.

Иртыш оценил произошедшую во мне перемену. Мы говорили уже вполне дружелюбно. Я быстро понял, что его хмурость первых часов объяснялась общей нелюбовью сатрапии к Москве, а также моим поведением, вполне соответствующим представлениям о московском хамстве.

Иртыш был мягок без застенчивости, деликатен, но не манерен, несомненно, имел твердое ядро в сердце, некую цель в жизни и, наконец, был благороден, как рыцарь, и, как рыцарь же, одинок — так мне, во всяком случае, показалось.

К своим тридцати годам он изрядно облысел, но, как это обычно происходит на исламском Востоке, его голова не приобрела вид облупившейся тыквы, а преобразилась в голову шахматной фигуры. В России так благородно лысеют евреи. В фас голова его напоминала пешку, а в профиль — туру. Сложение его говорило о

ежедневном общении с турником и гантелями, что он охотно и подтвердил.

На исламском же Востоке не только самые красивые мужские головы, но и самые красивые мужские пальцы — длинные, филигранные и какие-то нервно-бешеные, как кони-ахалкетинцы.

“Одним словом, везет бакинским девушкам”, — подумал я.

Вечером мы встречали японцев. Ошеломленные той сдержанной паникой, которая всегда царит в “Аэрофлоте”, как во время предвиденной, но плохо организованной эвакуации беженцев, в темных костюмах, страдая от жары, они вежливо пожали нам руки и уснули прямо в машине.

Иртыш заметно волновался, и тут уж мы с ним работали на пару, и я в той же мере, сколько по обязанности, столько и из солидарности, сам проверил белье в номерах на предмет лобковых волос и пота.

Высочайший визит был коротким. С утра мы зарядили на керамический завод, где японцы с ужасом осмотрели “производство” и с не меньшим ужасом приняли сувениры. Впрочем, их порадовала обложка из грубого ракушечника в здании дирекции, они сказали, что это близко к природе, и самый молодой член делегации даже сфотографировал ее к немалому смущению директора. Затем мы поехали к очень высокому чиновнику, чуть ли не президенту или, во всяком случае, полу-президенту сатрапии. Пока мы ждали в прихожей, его помощник с гордостью сказал: “Он настоящий коммунист”. “Что вы имеете в виду?” — спросил я. — “Он сам готовит себе ужин”.

Полу-президент сообщил японцам, что президент Рейган — дурак. В ответ на их деликатный вопрос, что привело его к столь замечательному выводу, полу-президент посмотрел в окно и сказал: “С однопартийной системой гораздо проще”. И неопределенно пошевелил пальцами, как будто пытаюсь нащупать эту простую систему, которая к восемьдесят седьмому году начинала выглядеть уж и не такой простой.

Потом мы поехали в шахский дворец, который не произвел на японцев никакого впечатления, а дальше — к местным академикам, которые впечатление, к сожалению, произвели. Вернее, впечатление произвел один, Зиятов — громадный мужчинец, про-

шедший войну, Московский университет и, кажется, какую-то партийную школу.

“Никаких островов мы вам не отдадим! — заревел он с порога, врываясь в комнату, как Александр Матросов. — Курилы наши! Русские и азербайджанские — советские. Грудью станем!”

Иртыш стал бледен; год назад Зиятов попытался ударить его, и Иртыш оказался первым из молодых, кто ответил ударом на высокий удар. “Что же делать? — говорил он. — Что же делать?” “А ничего не делать, — отвечал я раздраженно. — Он же пышной левой грудью стал. Вечером японцы будут звонить в посольство”.

Потом были нефтяные вышки, и японцы радовались чистоте воды, делая вид, что Зиятов забыт. Но вечером, после протокольного ужина, в посольство они все-таки позвонили. Я узнал об этом от горничной, которая интересовалась, кто будет оплачивать счет.

Иртыш был убит, да и я находился не в лучшей форме, давно уже подозревая, что как бы ни хорохорился Горбачев, а повсеместно, в Москве или в Баку, наступало время именно Зиятовых.

Мы пошли в гостиничный бар, пили водку. Зиятов забылся. Мы стали говорить о нашей вообще бессмысленной жизни. Вдруг Иртыш озлобился, поволок меня куда-то, как выяснилось — смотреть на огромное здание местного КГБ, прекрасно видное с верхнего этажа.

Бар закрывался, всё, абсолютно всё было еще недоговорено.

Иртыш помчался в ресторан и купил у официанта вина. Мы поднялись в мой номер.

В восемьдесят седьмом году разговоры о политике, пожалуй, сближали теснее, чем койка. И мы говорили о политике до одурения и, наконец, выстроив общую политическую платформу, которая была подытожена тостом “за нас с вами и за хуй с ними”, перешли к более тонким вещам. Семьи, опыты, неудачи, неудачи, неудачи. В какой-то момент — не помню почему, я спросил:

— А откуда имя — Иртыш?

Иртыш покраснел и сказал, что имя дал дед, патриарх, в знак того, что тюрки пришли из Сибири и что имена их первородны.

— Господи, — закричал я, — да я всегда хотел поехать на Иртыш! Замечательная река!

И мы разом решили, что поедем на Иртыш.

Тут я, хоть и пьяный, насторожился и стал прислушиваться к себе. Когда я приглашал кого-то ехать авантюрой в дальние края, это всегда значило одно и то же.

Симптомы были безошибочными, и я помрачнел.

Но разговор все равно несся, как па-де-де вырвавшихся на свободу коней, и, наконец, мы стали вязнуть в солончаках темы Бога.

— Ты что-то недоговариваешь, — восклицал Иртыш, пошатываясь даже в кресле и грозя мне пальцем, — ты что-то имеешь против Бога! — И он испуганно осекался, потому что Бог в то время был для нас еще одной ипостасью свободы.

А в то время я действительно уже кое-что имел против Бога.

Один мой приятель, не утешенный браком, подцепил на стороне триппер и заразил им жену. Мне казалось диким, что Бог, сотворив половой инстинкт и наделив им людей — им, разнообразным, как коллекция бабочек, диким, как лес и неотвратимым, как жажда, потом назвал все это искушением и наставил по тропам дикого леса хитрых венерических ловушек (как раз в то время до нас стали доходить вести о СПИДе).

— Станный получается Бог, — закончил я с вызовом. — Не то жестокий, не то любопытствующий, не то просто неумелый.

Иртыш опустил голову.

— Нет, — тихо сказал он спустя какое-то время, — плоть надо смирать.

И он с подозрительной поспешностью заговорил о суфизме, а я поддакнул дзен-буддизмом.

— Слушай, — спохватился Иртыш, — как же я доберусь домой?

Шел четвертый час ночи.

— Переночуй здесь, — сказал я.

Мы разобрали кровати, и у обоих, я думаю, было чувство, что мы недоговорили самого важного, как недоделали чего-то.

Иртыш ушел в ванную, я стал к окну.

Внизу расстилался Баку, со всей его восточностью, со всей отчаянной смелостью большого города, в котором, как кажется, всем позволено все, и любой стыд можно укрыть под своим огоньком, держать его в тайне от других огней.

Я погасил свет и лег. До рассвета оставалось совсем немного, а рано утром я увозил японцев в Ленинград. Надо было вжаться в

сон, как в родную подушку, но я был дальше от сна, чем, наверно, когда-либо в жизни, и все ворочался, ворочался, сердился и даже как-то лютел.

Через час или два я решительно сел.

Иртыш лежал на спине. Он сбросил простыню, и мне было видно, как мерно ходит его тяжелая грудная клетка, как будто вдруг ровно задышала эллинская статуя в музее.

Я наведалься в ванную, потом, сидя на своей кровати, закурил, довольно-таки сильно сотрясаемый ознобом в эту отчаянно жаркую, черешневого цвета и вкуса, ночь. Иртыш дышал так же ровно, и даже сигаретный дым не будил его.

Уснуть я не мог уже по определению и злобно проворочался до утра. В шесть, как и было условлено, я поднялся.

Иртыш открыл глаза и сказал:

— А я тоже не спал.

Я отправился будить японцев.

По дороге в аэропорт меня мутило от вина, водки и недосыпа. У Иртыша под глазами темнели исламские полумесяцы. За все время, что мы ехали, он только один раз повернулся ко мне и спросил: “Каких поэтов ты любишь?”

В самолете я стал сочинять что-то рифмованное, начинавшееся словами, как сейчас помню, “А внизу расстилался Баку”, но стихов писать я не умел и в конце концов уснул, проснувшись только в зареванном от дождя ленинградском “Пулково”.

Потом мы перезванивались. В октябре Иртыш сказал, что приезжает.

Мы встретились в метро, на станции “Кировская”. Как-то очень не по-московски он погладил мою руку, улыбнулся и сказал:

— А я женюсь.

Невесту его я возненавидел с первого раза. Звали ее Гуля. Оставим в стороне то, что она беспрестанно мысленно как бы примеряла Иртыша на себя, как шубу, а потом смотрела на меня с премьерским вызовом. “А ну-ка отними!” Оставим то, что она была некрасива, имела плохие зубы, казалась старше Иртыша лет на десять и слегка косила на левый глаз. Скажу только одно. В ее комнате в коммуналке стояла огромная золоченая арфа. По какой-то не вполне очевидной причине этот невинный ни в бакинской ночи, ни в общей невозможности нашей жизни предмет пока-

зался мне сволочью. А когда я узнал, что Гуля иногда еще и играет на арфе “просто так, для себя”, я только скрипнул зубами. Когда же я узнал, что сосед-алкоголик арфу не любит, скандалит, и что вчера Иртыш чуть не подрался с ним, я мстительно протянул:

— Да-а, для арфы нужна отдельная квартира.

Глаза Гули наполнились слезами.

— Как вы недобро говорите. У меня всего и есть, что эта комната. Вы хотите сказать, что Иртышу надо было найти невесту с отдельной квартирой? Вы думаете, он женится на мне из-за московской прописки?

“Да, да, да! — хотелось закричать мне. — Именно, именно из-за московской прописки, и не делай вид, дура, что это плохо! Два моих друга женились из-за прописки! Но зато какие у них жены! А ради чего еще он на тебе женится? Чья это застеленная раскладушка стоит за твоей грёбаной арфой? Он даже не хочет залезть к тебе в постель, и ты наверняка устраиваешь ему истерики каждую ночь, говоря, что он тебя недостаточно любит”.

Но вместо этого я скучно сказал:

— Неужели вы считаете, что друзья Иртыша думают о нем так скверно?

В общем, мой визит прошел отвратительно, и я совратил Иртыша приехать на другой день ко мне.

Он приехал, сказав смущенно, что только на два часа, потому что Гуля боится оставаться одна. Мы пили мерзкий портвейн — из-за фортелей Горбачева с вином тогда еще было плоховато — и опять говорили за жизнь. Снова крутились политика, Бог и река Иртыш, но как-то все это было не то чтобы и очень нужно нам обоим. В то же время Иртыш не хотел уходить, и я не хотел, чтобы он ушел, и вместо отведенных ему Гулей двух часов он просидел у меня все восемь. О своей женитьбе он только сказал застенчиво: “Отец говорит, что мне пора жениться”. Потом проскользнула фраза, что он задыхается в Баку, время Зиятовых поистине пришло, и хотя люди говорят все больше, но как-то все не о том.

Я не удержался и помянул арфу.

— Выбрось ее и поставь турник, — сказал я.

Иртыш тихо засмеялся, снова погладил мою руку и сказал:

— Вот перееду в Москву, будем вместе ходить в спортзал качаться.

— Переезжай, — сказал я, только что не облизываясь, воображая скоромную раздевалку спортзала и Гулю, ждущую Иртыша дома. Интересно, как долго простоит там его особая раскладушка, подумал я.

На другой день Иртыш улетел в Баку. В тот же вечер Гуля позвонила и сказала:

— Вы слишком много пьете. Это ваше дело. Но я запрещаю спаивать Иртыша.

— Извините, Гуленька, — сказал я, зверея. — Вы меня в канаве видали?

Эта опытная истеричка мгновенно поняла, что ссориться с пока что единственным московским другом будущего мужа преждевременно, и заюлила.

— Нет-нет, я имею в виду культурные различия. Русская культура питья принципиально отлична от исламской.

Распираемый злобой, я пересказал этот разговор матери и друзьям.

Мать печально сказала, что я в самом деле много пью и что, вот, уже чужие люди стали замечать. Друзья смеялись. Я хорошо имитировал гулино сюсюканье.

Приближался день свадьбы.

Иртыш позвонил и попросил встретить его на вокзале. — Я везу фрукты, — сказал он растерянно. Я сказал, что встречу. В тот же разговор он попросил меня быть свидетелем. Почти следом за ним позвонила Гуля и вела себя томно-мило. Мы договорились встретиться у Курского вокзала.

Была зима, не слишком холодный день, впрочем, но сумрачный и промозглый. Гуля была одета в песцовую шубку, раскраснелась от волнения и держала меня под руку. Я был с ней ласков, и она даже спросила:

— Как мне лучше убрать комнату к свадьбе?

“Арфу в жопу себе засунь, милая”, хотел сказать я ей, но, конечно, не сказал.

Поезд опаздывал всего минут на двадцать. Мы смотрели в мутную зимнюю даль. Гуля все держала меня под руку.

Наконец, раздался гудок, и локомотив, освещая себе дорогу фарами во мгле, потащил к перрону гулино счастье.

Люди выходили — многие с фруктами, как обещал приехать и Иртыш. Фрукты смотрелись в московской зимней хляби, как атлеты в больнице.

Иртыша не было. Перрон пустел. Гуля уже не шутя опиралась на мою руку, глаза ее налились слезами, она закусила губу.

— Посмотрю в вагоне, — сказал я.

Вагон был пуст, но у меня было дурацкое ощущение, что я все же найду Иртыша, может быть — дикая мысль! — забившегося куда-то в угол под полкой. Каким-то телепатическим образом я ощущал его страх. В верности этого чувства я нимало не колебался.

Я вернулся на перрон. Гуля закрывала лицо руками. Так прошло не знаю сколько — минут двадцать. Потом поезд пошел в тупик.

— Он не приехал! — закричала Гуля и бегом бросилась к подземному переходу. — Спасибо за всё! — бросила она мне через плечо с невероятной злобой.

Я покурил на пустом перроне и поехал на работу

Я был зол. С одной стороны, я не мог не радоваться, что свадьба расстроилась. С другой стороны, Иртыша не будет в Москве.

С третьей, почему я должен выслушивать истерики его так называемой невесты, которой он вез какие-то баснословные фрукты?

Но, в конце концов, может быть, что-то случилось?

Поколебавшись, я набрал Баку. В конторе, где работал Иртыш, сказали, что он сидит в библиотеке. Что-нибудь передать?

— Нет, — сказал я и повесил трубку.

Через каких-нибудь три года я снова оказался в Азербайджане. Прошедшие годы казались вечностью. Я женился, а Союз стал распадаться.

Меня пригласили в Азербайджан для очень платных консультаций по одному деликатному делу. Помощники новых вождей передавали меня с рук на руки, пока я не оказался в совершенной глуши, в горах, на границе с Карабахом. В Баку я на этот раз, по сути, не был, меня встретили у трапа самолета и препроводили в депутатский зал, где я и просидел до рейса в глубинку.

Шел февраль. Большею частью было сумрачно. Не то горы плавали в тумане, не то туман плавал в горах. Когда выходило солнце, оно золотило неопавшие стручки акаций и бесстыдно-обнаженные

стволы платанов. По сухим озябшим улицам несло пыль веков, за глухими стенами домов лилась невидимая вода и звенели невидимые же тазы. Русских почти не осталось. Вернее, они были, но это были солдаты нескольких полков, размещенных там, где шла война. Солдаты жили в горах, в пионерлагерях. Проезжая мимо этих “Орленков” и “Зарниц” — по делу, или просто в какой-то заветный ресторан, в котором, впрочем, подавали то же, что и везде — пережаренный шашлык, помидоры, огурцы, зелень и водку, — я видел, как бэтээры со своими непристойными стволами неуверенно выруливали из ворот пионерлагерей и озирались по сторонам.

Однажды, после очередного пира, обещавшего изжогу, мы остановились на перевале. Помощник вождя вывел меня к обрыву и показал на село, хлебной лепешкой расплывавшееся в мгlistой долине.

— Осиное гнездо, — сказал он мрачно. — Армяне. Скоро прихлопнем.

Через три месяца так оно и вышло, но тогда я этого, конечно, не знал. Все, что я знал на тот момент, это то, что обе стороны были готовы драться всерьез, с нетерпением ожидали, когда русские решительно выступят за тех или за этих, или, что тоже неплохо, вовсе уберутся из Закавказья. Еще я знал, что академик Зиятов со всей убедительностью доказал, что Карабах был, есть и остается самой азербайджанской из всех азербайджанских земель. Кажется, теперь он был советник премьер-министра. В последнем, впрочем, может быть, я и ошибался.

В двух шагах от нас стоял бэтээр. Русские солдаты с автоматами наперевес сутулились на сквозняке перевала.

— Закурить не будет? — спросил самый смелый, шмыгая носом.

Я полез в карман.

— Конечно, конечно, дорогой, — засуетился помощник вождя и быстро сунул парнишке “Яву”.

Пряча глаза, не желая показать, что он думает о нас, солдат отошел к товарищам. Они неспешно закурили.

Некоторое время я еще смотрел на село, солдат и туман, а потом помощник вождя тронул меня за плечо, мы сели в машину, и черная “волга” покатила нас под гору.

Дело шло к вечеру, и пока мы добрались до города, стемнело. Я наскоро обтерся холодной водой — душ не работал, надел свежую рубашку, повязал галстук и спустился вниз. Сегодня вечером я должен был встречаться с человеком без каких бы то ни было титулов, но при упоминании о котором помощники вождей закрывали глаза в немом поклонении, а сами вожди начинали нервно барабанить карандашом по пепельнице и пить чай частыми глотками.

Я спустился в вестибюль немного раньше срока. Как всегда по вечерам, там в неподвижности стояли или сидели на корточках мужчины всех возрастов. Только один этаж гостиницы был отведен проезжающим. На трех других размещался публичный дом.

Мужчины молчали и посматривали на лестницу. Когда кто-нибудь спускался, они нервно взглядывали наверх, ожидая, когда появится старик в белой рубахе и махнет им рукой.

Восемь часов назад на главной площади города, напротив гостиницы, хоронили председателя совхоза и его шофера, убитых армянами накануне. Может быть, поэтому сегодня ожидающие мужчины были несколько более нервны, чем обычно, и даже переговаривались шепотом.

— Присядьте! — ласково пригласила дежурная из окошка. Она знала, что меня пасут помощники вождей и, может быть, даже знала о предстоящем мне сегодня вечером разговоре.

— Спасибо, нет, — сказал я, отвечая улыбкой на улыбку.

— Вы знаете, что случилось вчера? — спросила она, страдальчески глядя на меня.

— Да. Я видел похороны.

— О-о, все это кончится, все это очень скоро кончится, — нараспев сказала она с полной убежденностью в голосе. — Раньше наши мужчины только шутили. Теперь это серьезно.

— Да? — сказал я.

— Конечно, конечно, — зашептала она в азитации. — Нам просто были нужны хорошие командиры. — И, придвигаясь поближе — как видно, я внушал ей доверие, а, может быть, ей сказали, что я внушаю доверие, расширив глаза, она продолжила. — Теперь он есть, есть. Например...

И она назвала фамилию человека, с которым я должен был встречаться сегодня вечером.

Ну да, конечно, она назвала фамилию Иртыша.

— Тот, — шептала она, — он очень могущественный, очень, очень, его так уважают, так, что... А второй — его называют просто по имени, Иртыш, его любят, его очень любят...

— Не сомневаюсь, — сказал я, борясь с неожиданной сухостью в горле.

— Да, его невозможно не любить И вы знаете, что он сказал?

— Что?

— Он сказал, что не будет спать с женщиной, пока не кончится эта война.

И она с презрением окинула взглядом мнущихся в вестибюле мужчин.

Я тоже оглянулся. Толстяк в промокшей рубашке, позевывая, выходил из гостиницы, паренек в белых кроссовках нервно поднимался по ступеням.

— В таком случае, эта война должна длиться вечно, — сказал я, повернулся спиной, услышал ее негодующий “ах” и быстро зашагал к выходу, откуда махали руками помощники вождя, которые должны были везти меня на важную встречу.

Николай Сарафанников
ИЗ КНИГИ “САМСОНОВ ДЕНЬ”

СТИХИ, НАЙДЕННЫЕ В ЦЕРКВИ СВ. ЖАНА

По Адемару де Боррасу

Жил человек. К концу дорога
Пришла, — решил назад взглянуть.
Следы его и, рядом, Бога —
Обозначали долгий путь.

Но при крутых подъемах в гору
Виднелся след лишь двух ступней.
— А-а? — бросил Богу он с укором, —
Ты не всегда был другом мне?

Ответил Бог с улыбкой ясной:
— Порой, взбираясь на утес,
Ты рисковал разбиться насмерть, —
Тут на руках тебя я нес.

9-10 июля 1993

БАБУШКА

Говорила ладно, медленно, напевно
Моя бабушка Наталья Тимофевна.
Все-то все умела, не была трусихой;
Долго старилась, себе пеняя тихо.

О Христе (отец не то сказал):
 — Как же не было?! Ведь он страдал!
 О погоде (боль невмоготу):
 — Верно, западный опять подул!

Всех накормит, ублажит — за делом снова!
 А отвлечься — открывала Льва Толстого.
 Не забудет ни о плевом, ни о дате,
 Безотчетно на других себя растратит.

Речью мастерски владела,
 Бисер нижет:
 — Вот близка рубашка к телу.
 А смерть — ближе...

Счесть бы, сколько по равнинам и угорам
 Тужит вас — самоотверженных, упорных,
 И, куда куролесится витиям,
 Лишь на вас надежда, женщины России.

14 августа 1994

НЕНАСТЬЕ

В такую ночь приятно Бунина читать.
 Чтоб было і десятеричное и “ять”;
 Чтоб на весу неловко было том держать
 И приходилось изменять все время позу.
 А там — в Дурновке сушь, не то в Луневе грозы.
 Народ: не ухарь — вор, не плутоват, так лих.
 (Уж сколько? Три, пора бы спать. И дождик стих.)
 Рассказы эти знаю издавна. Под них
 За жизнь надумано, намечтано немало.
 (Где Приложение, кстати, к “Ниве” то? Пропало?)
 А может, к Бунину раз тянется рука,
 Причиной, правда, генофактор в ДНК?

В ночь на вторник, 14 сентября 1993

ВРУБЕЛЬ

Весть о беде, о скорби, о конце —
Все, все уже есть в праховском лице:
То, что кругом экскурсоводы бегло мямлят;
Куда глядят Офелия и Гамлет;
Как Моцарт с Демоном устали — каждый первым, —
Постигнув слитность знания и веры,
И что такое мрак нашептывает свету,
Внушая мысль писать автопортреты
Когда душа обнажена и страждет очень!
Он жизнь любил на смыке дня и ночи.
И мы, мешая явь со снами, нежно любим
Волшебный мир с названьем чудным — Врубель.

27 июля 1993

* * *

В Париже хочется говорить о музыке.
Добывание денег отнимает столько сил,
А те, кого любишь,
находят тебе замену так легко,
Что все время хочется говорить о музыке.

2 мая 1994

ОБЩАЯ ЕВРОПА

Визы ни к чему — могут все
Ездить без границ, как во сне.
Ночью на скамейке в Марселе
Умер путешественник-немец.

Четверг, 22 декабря 1994

Первый день зимы

СКВОЗНОЙ СЮЖЕТ

Нет-нет и снова, между делом,
Услышу голос, вспомню жест, —
Застольной речи легкий крест,
От чашки отведенный перст,
В притворе век — вопрос несмелый.

А то в толпе тебя увижу,
Всё — тон и облик — как тогда.
Встряхнусь: ну что за ерунда!
Ведь с той поры прошли года
И солнцу опустилось ниже.

Сняв наваждение прибауткой,
Подумаю: а если вдруг
И я — заклятием от мук —
Вхожу в твой повседневный круг?
Вообразу — и станет жутко.

24 мая 1993

НИКИТЕ САРНИКОВУ, ИЗДАТЕЛЮ КНИГИ АМАРИ

Ну, Никит, не книжка — гимн:
С предисловьем неплохим,
С послесловием хорошим!
Посвящаю ей стихи,
Как Самойловне¹ — Волошин.

(Entre nous, без дураков, —
Свет, он сыздавна таков! —
Будь Самойловна беднее,
Бакст, Ривера и Серов²
Меньше б вдохновлялись ею.)

Всё о'кей, но есть и “фэ”!
 Быв, как видно, подшофе,
 Скрыл наборщик от народа,
 Что стояло между “В”
 И “15-го года”.³

Тыча пальцем наобум,
 Взять не смог бедняга в ум,
 Кто издатель Арагона —
 То ль Хильсмуи, не то Хильсум⁴...
 И корректорша — ворона!

Осень в “очень” облекли⁵,
 Препинанье обрekli!
 Впрочем, что на них сердиться —
 Выпускали, как могли!
 Слезы льет пусть Голеницев⁶.

Непонятно, словом, кто
 Битву выиграл, зато
 Слава Цетлину! Серьезно,
 Не затей журнал он тот,
 На себя б прочесть где отзыв?⁷

В ночь на пятницу, 4 марта 1994

1. См.: Амари (М. Цетлин). Малый дар. М., “Парминко”. Дом Марины Цветаевой, 1993, стр. 136, 8 строка св., где вместо “Марии Самойловне” напечатано лишь отчество.

2. См.: “Валентин Серов в воспоминаниях, дневниках и переписке современников”, том 2, Л., 1971, стр. 353-358. В очерке М.С.Цетлиной упоминается, в частности, о высокой стоимости заказных портретов в описываемое время.

3. Амари, стр. 137, 8 строка св.

4. Там же, стр. 141, 4 абзац св.

5. Там же, стр. 94, 11 строка св.

6. Там же, стр. 141, 2 строка сн. Фамилия Голенищев-Кутузов напеча-тана здесь с искажением .

7. См.: “Новый Журнал”, Книга 190-191, Нью-Йорк, 1993, стр. 461-465.

Эдуард Лимонов

ДЕШЕВКА НИКОГДА НЕ СТАНЕТ ПРАЧКОЙ...

Толика Толмачева арестовали на третий день нашей ссылки на сахар. Прежде всего следует представить личность, объяснить, кто такой Толмачев, и связать его с кубинским сахаром.

Толмачев считал меня “фраером”, глядел на меня скептически, однако дружил со мной. Может, у него была слабая надежда на то, что, преодолев недостатки, “Сова”, как он звал меня (произведенное от моей фамилии Савенко), станет хорошим вором? Что он думал — останется навсегда глубокой тайною, как поется в блатной песне. “И пусть останется глубокой тайною, что у меня была любовь с тобой...” На протяжении пары лет Толик был моей совестью. Именно после того, как его прочно посадили я, по выражению моей матери, “взялся за ум” — устроился на завод “Серп и Молот” в литейку и проработал там целых полтора года — невыносимо долгий срок для юноши на те времена. Уволился я с “Серпа и Молота” как будто бы не из-за Толика, однако именно тогда он вышел из тюрьмы (ненадолго, впрочем) и, встретив меня, шагающего на третью смену (авоська с едой болтается в руке), обронил сквозь зубы: “Рогом упираться идешь?”

Даже сейчас, через четверть века, в моих ушах звучит эта фраза со всем ее классовым презрением. Я вижу сухую пустынную остановку трамвая против Стахановского клуба, несколько изморенных августовской жарой деревьев, пыль и песок меж трамвайных рельсов. Светлый пиджак Толмачева наброшен на плечи, белая рубашка расстегнута на груди... Вижу верную подружку его — цыганку Настю, обхватившую его за талию под пиджаком... Кольца на пальцах ее смуглой, маленькой руки... И навсегда повисло над субботней пустой окраиной толмачевское “Рогом упираться идешь...” И все, и никакого дополнительного нравоучения по поводу. Не сказал, что ж ты, Сова, опустил как, в работяги ушел, я-то думал, ты прикинулся — для мусоров — ну, на месяц, а ты...

Ничего такого, только одна фраза. Но потом, после того как мы обменялись не по делу, а давно известными сведениями, для приличия, как аристократы: “По амнистии... скосили... Борьку Ветрова, слышал, замочили в криворожском лагере... Да... Ну, бывай...” — и я пошел, вернее, начал разворачиваться и уходить. Тогда он скептически-грустно так улыбнулся (сверкнул первый золотой зуб), вроде как бы говоря: “Ну вот, худшие мои опасения по поводу тебя, Сова, оправдались... Жаль...” И уже топя по асфальтовой дорожке, стараясь вертеть как можно независимее авоськой с завязанным в ней завтраком, я услышал, как он засвистел, без слов. Засвистел, зная, что я знаю слова:

Дешевка никогда не станет прачкой.
Вора ты не заставишь спину гнуть,
Долбить кайлом, возить породу тачкой.
Мы это перекурим как-нибудь...

Свистом он дал мне знать, что он сожалеет, грустит о том, что я не оправдал его надежд, что вора из меня не вышло, а вышел — работяга. Воры были аристократами нашего поселка, работяги были серой массой, каковую аристократы презирали.

В ту ночную смену все у меня валилось из рук и, помогая Ивану Глухову передвигать вручную, ломами, опоки на остановившемся конвейере, я чуть было не оставил меж опок ногу. Лишь случайно лом Ивана удержал на мгновение сдвинувшийся вдруг конвейер, и я успел выдернуть ногу, правда, без ботинка.

Но это уже хвост истории о Толике, а начало ее еще в младших классах Восьмой средней школы. В школе он не был хулиганом, не отличался выдающимися физическими подвигами. Такой себе был серьезный мальчик, компактный, с особым взглядом, бешено-открытым каким-то. Маленькие мужчины конфликтуют постоянно и открыто, однако я не помню, чтоб у него были проблемы с кем-либо. Маленькие мужские животные, очевидно, понимали, что Толмачев намерен прожить жизнь, не простив ни одной обиды, ни одного толчка. Семья Толмачевых попала в Харьков с Кубани. Отец был инвалид, я помню маленького, желтого, оплывшего как дешевая свеча, старичка, неподвижно сидящего в деревянном кресле у окна. Мать была уборщицей. Существовали еще старшая сестра и брат, уже отселившиеся от родителей. Обыкновенные белые люди, живущие в хорошей квартире из двух комнат, потому

что отец инвалид. Советская власть инвалидов уважала. В шестом классе он пропал из школы. Мы на время забыли друг о друге. Он возник опять, и мы стали видеться все чаще уже в подростковом возрасте, когда оба стали выходить в свет, то есть на улицы и танцплощадки в поисках приключений. В поисках общества противоположного пола и приключений, позволяющих нам убедиться и утвердить нашу мужскую силу, репутацию, повинуюсь обычным биологическим толчкам, заставляющим подростков искать общества девочек и других подростков. Он вырос, но так и остался меньше меня ростом, сделался суше, определеннее. Нос, повинуюсь влиянию, возможно, нескольких вливаний крови кавказских племен (Кубань-то, откуда его семья родом, именно с ними и граничит), сделался горбатым, сухим хищным носом. Блондинистая прядь на лбу, светлый глаз ястребка из-за горбатого носа — сочетание было красивым.

Я встречал его обычно у Стахановского клуба ближе к вечеру. С заходом солнца к клубу сходились поселковые ребята и стайками, или по двое, прогуливались девочки. Толмачев несуетливо стоял, обычно сунув руки в карманы брюк, перебрасываясь фразами с собирающимися к клубу ребятами. Иногда он скупо сплевывал. Плеваться было модно и являлось признаком независимого поведения. Иногда, сидя на скамейке в сквере, подростки устраивали турниры: кто дальше плюнет. Особым шиком считалось умение плевать сквозь зубы. Толмачев плевался редко и благородно. (Да, возможно плеваться благородным образом и плеваться вульгарно.) Осенью он стоял в плаще и, чтобы поместить руки в карманы брюк, Толику приходилось расстегивать плащ. Внешне невозможно было заметить в его костюме выборочности или заботы о том, что на нем надето, но странным образом он был хорошо и ловко одет в самые обыкновенные “широкого потребления” (“ширпотребные”, как тогда говорили) советские тряпки. Вспоминая его, в темном костюме и часто при галстукке, аккуратного, скептически глядящего на меня: “Ну что, Сова?”, у меня не возникает сомнений, что он преспокойно мог бы из тех времен прийти и сесть между мной и Председателем Национальной Ассамблеи Шабан-Дельмасом перед телевизионной камерой в самый шикарный ночной клуб Парижа “Бан-Душ” (расшифровывается как “Бани — Души”, Толик) и улыбнуться. “А это что за мужик, Сова?” И вы-

глядел бы он уместно и нашел бы что сообщить. Правда, он не знает иностранных языков, но я бы ему перевел.

Я тогда ходил в желтой куртке. Я очень хотел выделиться. Он презрительно называл меня “стилягой” и был прав. За ним и его скептицизмом стояла мощная консервативная традиция (так прическа английской королевы всегда отстает от моды на тридцать лет). Он исповедовал воровской консерватизм. Однако он мной не брезговал, легкомысленным. Может быть (он знал, что я пишу стихи и не презирал меня за это), он испытывал определенную тягу к людям пера, воры ведь, или, как они себя называют гордо, “урки”, тяготеют к пишущей братии, вспомним отношения Месрина с журналистами... А может быть, он предвидел, что через тридцать лет я напишу о нем? Как бы там ни было, постояв, перешвырнув несколько раз папиросу Казбек из одного угла рта в другой, он обыкновенно говорил мне: “Ну что, Сова, по садику прошвырнемся?” — и, не дожидаясь ответа, двигался по направлению к садику. Точнее, садиков у Стахановского было два, но для прогулок ребята использовали лишь один — большой. В меньшем помещалась летняя танцплощадка. И мы шли, чаще всего вдвоем, иногда к нам присоединялся кто-нибудь из ребят... Полагалось обойти асфальтовые тропинки по периметру, может быть, ненадолго присесть на скамейку... Степенно покурить, стряхивая пепел ногтем.

Я назвал его много раз — вор, урка, и лишь сейчас с удивлением понял, что тогда он, пятнадцати- или шестнадцатилетний, не мог быть таким вот сложившимся, полным достоинства, беспорочным гордым воров. На его счету в тот год было еще немного преступлений — горстка, по всей вероятности, нестрашных, подростковых: украденный мотоцикл, подвернувшаяся касса... Однако как характер он уже возник и сложился в деталях: от безукоризненно начищенных туфель до умения всегда быть центром, арбитром, уравновешенным взрослым со своим секретом в сердце среди бахвалящихся и обсуждающих баснословные готовящиеся свои подвиги подростков. Тогда, в 1958-64 годах, на стыке двух эпох блистательный образ урки еще влиял на молодежь, и разговоры о готовящихся больших делах были куда более частыми, чем разговоры о девочках или танцульках, или выборе серьезной профессии. Уже несколько мальчиков из нашего класса планировали идти учиться в институты, да, но у Стахановского говорили о больших делах, и

гитары если звучали в темноте подворотен и в скверах по вечерам, то песни были блатные:

Ровные пачки советских червончиков

С полу глядели на нас...

Толмачев никогда не говорил о делах и тем более о больших делах. Он презирал Костю Бондаренко, по кличке Кот — майорского сына, моего поделщика, с которым я ходил на дела, за суетливую занятость деталями: за коллекцию отмычек, ломиков, за духарение (“Не духарись” говорили, имея в виду — не выпендривайся, не суетись). Он даже сумел меня обидеть, сам наверняка этого не желая, когда, встретив нас однажды с Костей вечером с рюкзаками на темной улочке, назвал нас котами. “Ну что, коты, опять на дело идете?” — сказал он и скрылся в темноте. Вооруженные ломиками и отмычками, мы и впрямь шли на дело.

Он всегда был готов к преступлению, то есть у него была воровская хватка. Однажды мы зашли с ним в столовую. Приблизившись к кассе платить, кассирши мы не увидели. Ее голос раздавался из открытой двери, и был виден кусок белого халата. Бросив лишь один взгляд вокруг, Толмачев бесшумно переметнулся на другую сторону прилавка. Секунды понадобились ему, чтобы, сорвав с себя пиджак, вывалить на него содержимое кассового ящика. Перепрыгнув обратно, он бросил мне “Атас!” и, выскочив на улицу, мы смешались с толпой. Это не бог весть какое преступление, но реакция у него была удивительная. Воровской взгляд — это и есть главный талант вора. Мгновенная оценка обстановки, мгновенный выбор. Сейчас или позже... Акшэн!

На поселке встречались ребята свирепые и дикие. Борька Ветров, наш с Толмачевым одноклассник когда-то, сын возчика (отец его держал лошадь во дворе собственного дома), не сумел дожить даже до 21 года, таким он был резким, этот тип. В перерывах между ссорами Ветров пьяный дурил и однажды в том же сквере у Стахановского, где салтовские ребята прогуливались, выстрелил в своего же парня — за здорово живешь, просто так выстрелил и уложил наповал. Во время второго суда он, сложив руки над головой, ласточкой выпрыгнул с третьего этажа в незарешеченное окно, остался жив и убежал. На роковой и последний срок в криворожский лагерь сел он, однако, не за убийство, но за ограбление окраинной сберкассы, в которой обнаружил всего лишь 130 руб-

лей... Толик Резаный сбежал из колымского лагеря и, пересекши всю Сибирь, явился в Харьков, чтобы быть арестованным в квартире родителей своей подружки. Был великолепный Юрка Бембель, посаженный в пятнадцать лет на пятнадцатилетний срок за вооруженное ограбление, вышедший по половине срока в 23 года и расстрелянный в 24! Какие люди, а! Однако все они были скорее пылкими жертвами судорожной эпохи, истеричными Гамлетами... Вором же настоящим был Толмачев.

У него были свои принципы. Однажды моя мать, озабоченная до отчаяния моим поведением, тем, что улица уводит у нее сына, бросилась ко мне у Стахановского и стала кричать, звать, молить, плакать, чтоб я пошел с ней домой. Я, раздраженный, стесняясь уронить свое мужское достоинство на глазах всей стаи молодых волков, заорал: “Дура! Проститутка! Отъебись от меня!” И неожиданно получил резкий апперкот в живот от стоящего до сих пор рядом, не вмешиваясь, приятеля. “Это твоя мать, Сова, мудака, — сказал он строго. — Она тебя родила. На мать не тянут. Мать у человека одна...” И все, он отошел. И сплюнул.

Осенью 1961-го у нас появилась общая проблема. Мусора начали очередную кампанию по борьбе с молодежной преступностью. И мы с ним оказались рядом по алфавиту в мусорском списке: “С” и “Т”. Толмачев заслуживал их внимания много больше чем я, я не заслуживал находиться в его категории, но так как он не был истериком, но, спокойный и секретный, делал свои дела или один или с очень странным молодым человеком по кличке Баня, то мусора занизили его в должности. Они стали лечить нас. Толмачева лечить было поздно. Лечить — было модное слово из фени, то есть блатного жаргона. “Что ты меня лечишь? Ты меня не лечи!” — такие фразы каждый день сотни раз вспарывали пыльный воздух над нашей пыльной Салтовкой.

Мусора решили прежде всего убрать нас с улицы. Нас стали устраивать на работу. Когда мы дали вторую подписку (то есть подмахнули наши подписи под нечленораздельным текстом: обязуюсь... в ...дневный срок устроиться на работу... в противном случае... сознаю... что подлежу административной высылке или...) и выходили из отделения милиции на Материалистическую — в красивую украинскую осень, Толмачев сказал мне, взяв меня за рукав: “Слушай, Сова, есть идея! Пойдем грузчиками к еврею на

продбазу, а? Ясно, что мусора с нас не слезут, а на продбазе хотя бы работка не пыльная и возле жратвы, а? Пойдем?” “Грузчиками? Ты думаешь, нас возьмут? Саню бы Красного или Леву они бы тотчас взяли, а нас с тобой...”

Я хотел сказать ему, что мы с ним мелковаты для грузческой работы, но воздержался.

— Амбалы, как Саня или Лева, потом изойдут через два часа, Сова, — сказал он снисходительно. — Они рыхлые и жирные. Для грузчиков у нас с тобой самая подходящая комплекция. Ты когда-нибудь что-нибудь грузил уже?

— Соседям помогал вселяться, картошку грузил на Черном море в Туапсе, но чтобы ежедневно, профессионально, нет...

— Если ты думаешь, что я больше двух месяцев собираюсь рогом упираться, то ты ошибаешься. Надо, чтоб мусора забыли о нас, так что прикинемся грузчиками. Один я не хочу идти, от скуки охуеешь, но если ты пойдешь...

Мы остановились. Тенистая под каштанами уходила в перспективу низкая, как уютное помещение, улица Материалистическая. Осень была самым лучшим временем года в Харькове. Долгая, красивая, многообразно окрашенная, широколиственная... И в такую осень устраиваться на работу... Мы оба вздохнули. Однако было ясно, что другого выхода нет. На каждого из нас в отделении милиции была заведена пухлая папка. И мы уже перевалили из трудных подростков с криминальными тенденциями и с десятком задержаний, приводов и арестов на каждого во взрослую категорию подозреваемых в ограблении тех и этих магазинов и закоренелых антисоциальных элементов.

— Грузчиками так грузчиками, — сказал я. — Все же лучше, чем сто первый километр и принудительная работа в колхозе...

— Будем пиздить продукты, — сказал он мне в утешение. — Продбаза богатая...

На следующий день мы встретились у Стахановского клуба и отправились, невыспавшиеся, зевая, в отдел кадров учреждения с таким длинным названием, что его хватило бы, если рассечь, на три или даже пять нормальных названий. Учреждение помещалось у самого поворота 24-й марки трамвая на Сталинский проспект в свежем дворике, в одном из типичных украинских домиков-хаток. Выбеленные известкой, снаружи они кажутся хрупкими и времен-

ными, но, попадая внутрь, удивляешься их стационарной солидности. Пройдя через целую анфиладу маленьких клеток — в одной по клавишам чудовищно дряхлой пишущей машины трудно ударила толстыми пальцами секретарша, — Толмачев уверенно привел меня в комнату, половину которой занимала печь. За столом, в меру пошарпанном и в сухих чернильных пятнах, сидел старикан в больших очках и, содрав с опасно торчащей вверх пики розовую квитанцию, вглядывался в нее.

— Здрасьте, Марк Захарыч, — сказал мой друг, остановившись на пороге.

— Ага, Толмачев самый младший пожаловал. — Старикан перевел взгляд на меня. — А это кто?

— Приятель, Марк Захарыч.

— Приятель — воды податель. Приятель — мячей лягатель, — неожиданно прорифмовал старикан и улыбнулся. — Садитесь.

Стул был один, и Толмачев посадил меня, а сам стал рядом.

— Оформляй нас, Марк Захарыч, меня и Сову, грузчиками...

В голосе моего друга прозвучала тоска по свободе, оставленной нами на углу Сталинского и Ворошиловского проспектов.

— Скорый какой. Оформляй. Медицинский осмотр надо пройти. Тебе отец говорил? Ты или дружок свалитесь под мешком, а я за вас отвечать буду. — Старик все время улыбался, что противоречило нашему предполагаемому падению под мешками. — Я понимаю, что вы юноши здоровые, но для порядку. Во всем должен быть порядок. Понятно, Толмачев самый младший?

— Понятно, Марк Захарыч. Ты нас оформи, а медицинский осмотр мы потом пройдем. Нас милиция жмет. И справки нам дай сегодня, если сможешь...

— Что, приспичило, прищучило? — старик снял очки и посмотрел на нас. Глаза его, плавающие в центре морщинистых концентрических кругов кожи, были удивительно яркими, синими и совсем не тронутыми возрастом. Кожа, виски, даже лысина, кое-где шелушащаяся, пообносились на старике, но глазам ничего не сделалось от времени, может быть, они даже стали ярче от возраста. — В Сибирь грозятся загнать? — Он произнес “Сибирь” с сочностью, словно это был базар с фруктами, мясистое вкусное место на боку глобуса-персика, а не места отдаленные, с подьбкой произ-

нес, с подначиванием. Наши проблемы, очевидно, казались старику смешными.

— Какая Сибирь, что вы, Марк Захарыч! — Толмачев решил почему-то вернуться к обращению на “вы”. — До Сибири нужно достучаться.

— Ну, еще достучаетесь, — убежденно сказал старикан и стал деловым. — Жалованье вам будет 87 рублей в месяц. Работа, предупреждаю, плохо подходящая к темпераменту молодых людей. Часто будет возникать необходимость поработать и в воскресенье, и после окончания рабочего дня. Так что если у вас есть девочки, предупредите, что им придется ходить на танцы одним. Сверхурочные часы оплачиваются по тарифу...

Он вынул из ящика и протянул нам каждому по экземпляру каких-то графиков или таблиц. Я сунул свою в карман, не читая. Толмачев предупредил меня, что зарплата у грузчика продбазы смехотворная, но что клиенты из магазинов, приезжающие на продбазу отовариваться, всегда суют грузчикам и кладовщику на лапу, дабы отовариться побыстрее и получше. В любом случае, сказал Толмачев, подразумевается, что грузчик — ворюга по натуре своей, все равно будет пиздить, сколько ему ни плати. Он брезгливо поморщился. Будучи аристократом духа, Толмачев лишь мимо воли своей подчинялся законам подлого мира, где большие люди вынуждены совершать порой и мелкие кражи. Такое же лицо было у него, когда он подсчитывал деньги, уведенные в столовой. (Половину денег он дал тогда мне. На мой удивленный вопрос: “За что? Я же не участвовал...” — он ответил: “Если бы нас повязали, ты хуй бы доказал мусорам, что ты не участвовал”.) Мы подписали несколько бумаг не читая их, пожали руку Марку Захаровичу и вышли.

— Он с моим батей на фронте в разведке служил, — сказал Толмачев. — Хороший еврей. Правда, не похож совсем? Батя говорит, что с евреями лучше всего работать. Директор продбазы — тоже еврей. Завтра увидишь. Жулик, говорят, каких свет не видел. Но своих рабочих в обиду не дает.

Назавтра мы уже висели с ним на подножке 23-й марки, хуящей на всех парах по Сталинскому проспекту в сторону Тракторного поселка. На наше счастье, продбаза начинала работать в восемь часов утра — на полчаса или даже час позже, чем большинство

заводов, расположенных на пути 23-й марки. На подножке, но все же без особой давки путешествовали мы. Бедные заводские работники за полчаса до нас вынуждены были оспаривать друг у друга даже трамвайную крышу. Мы почти добрались до нужной остановки, весело вися и разговаривая, стараясь на ходу задеть ногою кусты, когда из вагона к нам пробился голос:

— Толмачев! Савенко! Войдите в вагон! В вагоне достаточно места. Что вы висите, как обезьяны!

— Не пошли бы вы на хуй, Иосиф Виссарионович, — весело отозвался Толмачев. — Раньше нужно было учить нас жить, теперь уже поздно.

По близорукости я не рассмотрел лица обладателя начальственного голоса:

— Это он, Толь, директор?

— Ну да, он, пидерас, кто еще...

Трамвай остановился и бывший наш директор школы, Игнатьев, сошел. Он был прозван школьниками Восьмой средней Иосифом Виссарионовичем за привычку каждого первого сентября открывать учебный год церемонией, во время которой держал на руках избранную первоклассницу. Обычно дочь самого достойного родителя сезона — начальника цеха, парторга, полковника или завмагазином. Как Сталин. Бант на школьнице, цветы... Все как надо. Он не изменился. Тот же начальственный темный костюм, галстук, в меру длинные седые волосы. Такие ходят в мэрах и сенаторах во Франции.

— Я думал, вы давно гниете в тюрьме, бандиты, — сказал он приветливо. Или же он не расслышал вежливое послание его на хуй Толмачевым, или ничего иного от нас и не ожидал.

— Ладно, ладно, — пробормотал Толмачев, — идите себе... Мы на работу едем...

— На работу! — большая физиономия директора было изобразила удивление, но тотчас приняла насмешливое выражение. — Врете, бандиты. В это время все заводы уже полным ходом дают продукцию.

— Мы не на завод, но на продбазу устроились, — сказал я.

— Бедная продбаза, бедные жители Харькова. Не видать им продуктов, все ведь разворуете, — и директор стал смеяться. Стоял и хохотал.

— Вот мы сейчас возьмем вас и отпиздим, — нерешительно начал Толмачев. И посмотрел на меня. — Будете знать.

Честно говоря, многолетняя привычка, не уважая директора — подчиняться ему, возымела верх над нашими чувствами, и мы молча вскочили на подножку тронувшегося трамвая.

— Сгниете в тюрьме! — закричал директор весело вслед трамваю. Перестал хохотать и, поправив галстук, пошел по своим делам.

Только тогда расхохотались и мы с Толмачевым.

Продовольственная база, общая сразу для трех районов города, оказалась расположенной в центре обширного поля, обнесенного каменным забором с колючей проволокой поверх его. Башня системы охлаждения приветливо истекала водой со всех этажей, вокруг железнодорожных путей, прорезающих территорию, росли дикие травы высотой по пояс взрослого человека, а кое-где и в полный рост с головой, цвели дикие цветы и жужжали пчелы, насекомые, от голубых и зеленых, стрекозы. Короче говоря, когда мы шагали к строениям продбазы через все это гудение и жужжание, мы были довольны. Я уже проработал осень и зиму прошлого года монтажником-высотником, в ледяной грязи строил далеко за городом цех нового завода, я понимал разницу.

— Благодать, — сказал Толмачев. — Видишь, вагоны стоят plombированные... Это все продукты. Селедка, мясо... Такой один вагон увести, сотни тысяч рублей, наверное...

— Но как? — пробормотал я.

— То-то и оно, — согласился Толмачев. — Именно, как...

— Если вы со мной сработаетесь, — сказал директор, энергично промакнув пресс-папье какую-то бумагу, и встал, — вам будет хорошо. Нет, — вылетите отсюда, как уже многие вылетали. Штат у нас небольшой: два кладовщика, шесть грузчиков. — Директор был моего роста, но массивен и грузен в туловище, как дикий кабан. Только что шерсть не торчала по позвоночнику — сквозь желто-серого цвета рубашку его из искусственного шелка. Но короткий рукав обнажал серо-желтую шерсть кабаньих рук. Нос директора был перебит. — Запомните, если вам что нужно — идите ко мне, спросите. Не тащите все, как дикари. Хорошо? Со мной можно договориться. Повторяю: будете хорошо работать — я вас

обеспечу. И семьи ваши будут в полном порядке. Пойдемте, познакомлю вас с персоналом.

Мы обошли базу по периметру и вышли на эстакаду. К ней были причалены задними бортами несколько грузовиков. Над ящиками и у весов возились с десятков человек. Из выпучившихся вдруг обеими половинками дверей вырвалось облако пара и выкатилась телега с замороженными тушами, толкаемая здоровяком в белом халате поверх ватной одежды. Мы с Толмачевым переглянулись.

— Вы в морозильнике будете работать, — объяснил директор-кабан. — Будете под начальством Ерофеева, он заведует сухими складами: крупы, мука, вино, сухие колбасы и прочее.

Уже через четверть часа мы сопровождали кладовщика Ерофеева в высоком помещении сухого склада, и он, указывая на тот или иной штабель продуктов, говорил: “Два риса, ребятки”. На мешках с рисом были выштампованы тусклые иероглифы, и, глядя на них, мне захотелось путешествовать.

Два других штатных “сухих” грузчика продбазы появились лишь к концу рабочего дня. Приехали в металлическом фургоне, лишь щель была оставлена им для прохода воздуха внутрь. Шофер открыл им, и, вытирая пот, они сошли на эстакаду. Грузчики оказались вопиюще непохожи на грузчиков. Младшего звали Денис, он был прямо-таки малюткой, на целую голову ниже меня.

Кожа да кости, облаченные в сиреневую майку и черт знает какого происхождения синие штаны. Второй тип был жилистый старик в черном комбинезоне. Голова была забинтована, и сквозь бинт на лбу угадывалась ссохшаяся кровь. Приблизительно, комбинезон можно было угадать как форму авиационного механика, но, может, это была форма подводника. Старика звали Тимофей. Оба штатных “сухих” грузчика были подозрительно веселы. Мы познакомились.

— Денис у вас будет вроде бригадира, — сказал кладовщик и снял очки. — Слушайте его после меня. Учиться вам особенно нечему, но он вам постепенно покажет, как что удобнее брать и, главное, старайтесь запоминать, где что находится в складах.

Мы с Толмачевым насмешливо переглянулись. Однако руки у нас были в ссадинах, и я успел приземлить один из ящиков себе на большой палец ноги. Штатные же, если не считать, по-видимому, алкогольных, потных физиономий, были свежи и веселы. Может

быть, Ерофеев прав и следует знать, что как захватывать. Съемка бочки с селедкой с верхнего ряда бочек заняла у нас массу времени. Ерофеев, чертыхаясь, помог нам и сказал, что у Дениса операция занимает пару минут.

— Ты понял, — сказал мне Толмачев, когда мы шли к трамваю и опускалось за Тракторный далекий поселок большое солнце, — у них тут своя банда. Директор ворует по-крупному, кладовщики — на своем уровне, а грузчики — еще мельче... Много ли таким, как эти двое, нужно... Круг колбасы, бутылка водки...

Он оглянулся и, никого за нами не увидев, извлек из только что выданного рабочего халата (вез его домой, чтобы мать ушила) бутылку вина, а из-за пазухи... круг сухой колбасы.

— Когда ты успел? — я был искренне поражен, потому что за весь день мы разлучились лишь несколько раз на пару минут, когда я или он отходили отлить в продбазовские заросли.

— Бутылку я затырил, когда мы уксус толстому жлобу возили, а колбасу уже из ящика у клиента в машине выломал.

Он задержался, вспомнил я, во внутренностях грузовика, спиной к стоящему на эстакаде завмагазином, поправлял неудачно ставшие друг на друга ящики. За эту минуту или полторы он, оказывается, успел отпороть доску на ящике и изъять колбасу. Чем он отпорол доску?

Он понял ход моих мыслей и, вынув из кармана нож, раскрыл его одним крылатым движением.

— Так что, Сова, — сказал он, — идем, сядем где-нибудь, отметим первый рабочий день.

Мы прошли вдоль трамвайной линии и уселись в дикой траве у забора неизвестного завода. Расположенные на той же линии, что и наша продбаза, заборы многочисленных заводов тянулись на многие километры. Параллельно им по другую сторону трамвайной линии тянулись жилые кварталы. Простая планировка социалистического общества. Здесь вы работаете, товарищи, а здесь живете... Чтоб не заблудились, трамвайная линия будет служить вам границей...

Белое "столовое" вино было теплым и слабым, колбаса — жирной, но было хорошо. "Все что спиждишь или найдешь, всегда приносит больше удовольствия, чем купленное на заработанные деньги, правда, Сова? — сказал он задумчиво. И сбил щелчком пчелу с

ядовито-красного цветка. — Почему так?” Я пожал плечами. “Может быть, есть какая-нибудь работа, которая и деньги приносит, и удовольствие дает?” — предположил я неуверенно. “Вором быть — тоже работа, — сказал он. — Есть большие тонкачи по части сейфов, например. Они с сейфом, как доктор с больным, работают, знаешь, приложив ухо к груди... Только у меня никогда не было слесарных способностей. Вот Баня, тонкач... — Вспомнив о “подельнике”, он улыбнулся: — Баня, если нужно, пулемет выточит по деталям”. При упоминании о пулемете мы оба вздохнули. Не знаю, что было у него в голове в ту эпоху, у меня в голове была каша, состоящая из моделей “настоящих мужчин”, набранных откуда только возможно, и множества оружия. Вместе с бандитом по кличке “Седой”, он только что вышел после гигантского срока, и его молодежной версией — Юркой Бембелем, там были Жюльен Сорель(!), три мушкетера, бородатые кубинцы во главе с Фиделем Кастро...

На третий день нам удалось украсть мешок с сахаром. Восемьдесят кило сахара. Сахарный склад находился не на территории продбазы, но в том дворе, где помещался отдел кадров треста. (Мы забежали сказать “Здравствуйте” Марку Захаровичу). Воспользовавшись моментом, когда клиент подписывал на капоте автомобиля квитанцию, мы перебросили только что погруженный последний мешок через забор, и он приземлился в кустах соседнего двора, где дед Тимофей его уже поджидал. Хромой экспедитор, выехавший с нами “на сахар”, вежливо отвернулся. Украденное у клиентов его не касалось. Мы тотчас продали мешок в Салтовский магазин за полцены. Нам даже не пришлось тащить его дальше ворот соседнего с трестом двора. Салтовский грузовик, выехав из ворот треста, затормозил, и их грузчики, соскочив, подобрали мешок.

На пятый день прибыли вагоны с вином. Один медленно пришвартовывался у эстакады, закрыв от нас солнце, другие два замерли в отдалении. Директор в соломенной шляпе и пиджаке, в красивых туфлях вышел к нам и сказал:

— Орлы! Работа срочная — три вагона вина из Молдавии. Нужно разгрузить все это сегодня. Оставлять вино на ночь вне склада я не могу. Помимо сверхурочных, ставлю ящик вина. Идет, орлы?

Мы пошущукались. Выйдя вперед, Денис сказал:

— Два ящика вина. Три вагона — на четверых грузчиков, пробежусь до утра, Лев Йосифович.

— Хорошо, два ящика, — сказал директор. — Я вытребовал персонал из треста, чтоб присматривали за территорией. Но вы начинайте без них.

Мы начали. Как из-под земли появились вдруг непонятные типы и засели в выжидательных позах. На корточках или столбами вокруг вагона, некоторые чуть поодаль в поле. Мы работали, а они нас молча обзоревали. Подкатывая в очередной раз тележку к дверям вагона, я заметил в щели между вагоном и эстакадой кудлатую голову.

— Что за люди, откуда их хуй принес? — спросил я у Дениса.

— Местные ханыги. Всегда, как приходит состав с вином, повторяется та же история. Собираются вокруг и ждут. Чуть зазеваешься — прыгают, суки, в вагон и волокут все, что могут схватить. Потому директор и вызывает из треста народ: бухгалтерш, секретарш, чтоб стерегли, пока мы крутимся...

— Беспорядок, — сказал Толмачев. — Куда только мусора смотрят!

— А что мусора могут сделать, — Денис закатал рукава сиреновой футболки. Он, я уже успел заметить, делал это всякий раз, когда предстояла серьезная работа. — Он схватит пару бутылок и бежит с ними в поле или туда вон, к подземным складам. Пока ты за ним рванешь, другие на вагон набросятся. И если ты его поймаешь, ну что ты ему сделаешь? Ну, дашь в морду... Задерживать же из-за бутылки вина не станешь. Заебешься задерживать. Да и мусора не приедут по пустяку, продбазе свои сторожа полагаются.

— Где же они, — Толмачев отер пот со лба и сдернул тележку с места, бутылки зазвенели, — сторожа хуевы?

— Осторожней со стеклотарой, — посоветовал дед Тимофей. — Сторожа ночью дежурят. Штат у базы маленький.

Солнце закатилось, и, внезапно охлажденные после жаркого сентябрьского дня, растения пронзительно запахли — каждое на свой лад. Еще десяток лет назад тут было прекрасное украинское Дикое Поле. В сущности, диким полем территория и осталась, только что озаборили ее, воздвигли подземные склады для ту-

шенки — на случай атомной войны, морозильные отделения, холодильную башню с водопадами. И вновь заросло все полем, диким, как триста лет назад.

Часам к одиннадцати мы с честью разгрузили последний вагон и заметно осунувшиеся и мокрые от пота, устроились с полученной добычей — двумя ящиками вина в травах за сухим складом. Выдав нам колбасы и сыру, кладовщик ушел, обязав явившегося ночного сторожа выгнать нас с территории после полуночи. Мы пригласили сторожа, и он, желая нам услужить, смотался через трамвайную линию в поздний магазин за булками. В левом углу неба висел акварельный слабый месяц.

— Хорошо, — сказал Денис, когда мы выпили по паре стаканов и утолили первый голод. — Жить хорошо, правда, ребята... Иногда так хорошо жить, что жил бы целую вечность, всегда, то есть. (И он лег на спину).

— Ну и живи, кто тебе не дает, — Толмачев закурил и любопытно поглядел на старшего грузчика-малютку.

Маленький человек поднял нас в атаку на три молдавских вагона как политрук, личным примером. Мы носились как дьяволы. Как матросы во время аврала.

— Однако если так будешь вкалывать, долго не проживешь...

— Разве это вкалывать! Вот когда селедка приходит...

— Прав Дениска, — крикнул дед, — селедка, она, проклятая, все жилы вытягивает. Не приведи господь. Сегодня оно нормально ухайдокались. Я еще бабу пойду ебать. — Дед засмеялся и снял с головы черную кепку с пуговицей в центре и бережно опустил кепочку в траву.

— Сколько тебе лет, а, дед Тимофей? — Толмачев, следуя примеру Дениса, прилег и оперся локтем о землю.

— Да уж шестьдесят с гаком, милый человек...

— Так много! Я думал, под пятьдесят. — Толмачев уважительно покачал головой. — Во, Сова, люди старого закала какие злоебучие. Пятнадцать часов подряд трогал ящики, сейчас выпьет пару бутылок вина и еще бабу ебать пойдет... Дай Бог, чтоб мы в его возрасте жопу поднять могли.

— Так вы, значит, и революцию помните, и гражданскую войну? — спросил я.

— Очень даже хорошо, — согласился Тимофей. — Лучше, чем вторую войну с немцем. Я в Полтаве в гражданскую жил.

— А батьку Махна вы, случайно, не видели? — спросил Толмачев.

— Не только видел, мил человек, но и в армии его сподобился служить, — дед хитро улыбнулся и посмотрел на нас.

— Ты, значит, старый, у Махна в банде был! — воскликнул Денис. — Что ж ты мне никогда об этом не рассказывал?!

— А ты меня не спрашивал, мил человек. А я не в банде служил, но в армии. У Махна республика была и армия, чтоб ту республику защищать...

— Как же это тебя к Махну занесло? — спросил сторож. По роже судя, он был из чучмеков, но трудно было определить, к какому племени “черножопых” он принадлежит.

— Когда Махно занял Полтаву, я видел въезд в город его гвардии. Стоял на улице, а они — по пять лошадей — колонной въезжали. Здоровые хлопцы, красномордые от самогона и сала, все в синих жупанах, на сытых конях, чубы из-под папах на глаза падают, шашки по бокам бьют, жупаны на груди трещат. Пять тысяч личной гвардии, а за ними тачанки: парни к пулеметам прилипли, ездовой стоит... Потом пехота, отряды матросов-анархистов. Черные знамена... Я никогда такой красивой армии не видел.

— У немца была красивая армия, — сказал сторож.

— Машина, — поморщился Тимофей. — Шлемы с шишаками — ать-два... если ты любишь на механизмы смотреть, может быть... У Махна же хлопцы были красивые. Серебра много, оружие личное все украшенное, тогда это любили.

— А как же ты сам-то к Махну попал? — Толмачев повел глазами так, что мне стало ясно: махновская армия нравилась моему другу.

— Красотою соблазнился. Пошел к ним в штаб записываться, — дед стеснительно провел рукой по горлу. Шея у него была белая по сравнению с физиономией. — Посадили меня за стол, писарь штабной мне вопросы задает и ответы мои записывает... Вдруг сзади надо мной как шархнет! Я вскочил, бомба, думаю, разорвалась. Уши мне заложило. Стоит хлопец с обрезом в руке и хохочет. Я ругаться стал. Штабные смеются все и писарь говорит: “Это у нас испытание такое, мил человек, не обижайся. Храбрость про-

веряем. Ты вот ругаться стал, годишься ты нам. Нормальная у тебя реакция”.

Мы все восхищенно расхохотались. Стало еще темнее, должно быть, от туч. Лишь от угла склада нас освещал фонарь, да месяц нечеткий и расплывчатый держался еще в углу неба.

— Только вы не очень пиздите, ребята, — сказал дед. — Кладовщикам там или директору не нужно говорить, что я у Махна служил...

— За кого ты нас принимаешь, дед? — сказал Толмачев, впрочем, без обиды в голосе.

Первая пуля попала в меня,

А вторая пуля в моего коня...

Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить,

С нашим атаманом не приходится тужить...

— пропел он.

— Тогда другое пели, — сказал дед. Это после Гражданской уже, еврей один сочинил для кинофильма, это не махновская песня.

— А что пели?

— Народные пели песни... Хэ, я вам сейчас исполню одну. Ее моя жинка любила. Под шарманку исполнялась. Очень страстная песня. — Дед покашлял и затянул тонким монотонным речитативом с хрипловатыми окончаниями:

Наша жизнь хороша лишь снаружи.

Но суровые тайны кулис

Много в жизни обиженных хуже

И актеров и также актрис...

Вот страданья и жизнь Коломбины

Вам со сцены расскажут о том,

Как смеются над нами мужчины

И как сердце пылает огнем...

Восемнадцати лет Коломбина...

Дед остановился, пошевелил губами.

— Забыл дальше, надо же... Полюбила она Арleckина?.. Нет, забыл. Вот она старость — не радость. По-разному ударяет. Кому в ноги, кому в память...

Мы засмеялись и зашевелились.

— Это не из кукольного ли спектакля песня? — спросил я. — Такие, говорят, на базарах исполняли. Я на Благовещенском рынке один раз видел. Последний такой театр, говорят, остался.

— Да, — повторил дед отвлеченно. — На базарах...

— А что, дед Тимофей, в конную атаку ты ходил? — спросил Толмачев.

— Не раз, — сказал дед просто.

— Страшно, наверно, когда на тебя с бритвами наголо несется другая армия, завывая. И бритвы в метр длиной. Я как о шашке подумаю только, у меня аж мороз по коже идет. Иные здоровяки, говорят, Котовский, например, до седла умели разрубать человека. — Толмачев подтянул колени и обхватил их руками. Может быть, спрятал конечности от невидимой шашки.

— Страшно, когда знаешь, что большая атака будет, и к ней готовишься. Переживаешь до начала, потом уж некогда. А когда стычки мелкие, так и перепугаться не успеваешь. Весь занят тем, чтоб от смерти отклониться и смерть нанести...

Все помолчали.

— Калек, говорят, было после Гражданской куда больше, чем после Отечественной. Безруких много, увечных...

— Верно все. — Тимофей вздохнул. — Однако шашка — оружие честное. Пуля — трусливей, граната — еще трусливей, а уж атомная бомба — самая трусливая. Американец с японцем воевать боялся, японец духом сильнее американца, вот они и придумали бомбу эту их... И наши туда же... Негоже это... Ну, я пойду, мне бабу нужно ебать, обязанности выполнять. Я с молодухой живу. — Дед встал.

— Я с тобой. Мне мою тоже нужно отодрать, — Денис вскочил.

Взяв каждый свою порцию премиальных бутылок, они удалились, слегка пошатываясь, во тьму. Мы с Толмачевым пошли спать на сухие доски за складами. Сторож вынес нам фуфайку и старое одеяло. Поворочавшись, мы затихли.

— Сова? — окликнул меня Толмачев из темноты. — Ты пошел бы в конную атаку? Слабо нам, сегодняшним, как ты думаешь?

Я подумал о шашке, о лезвии длиной в метр. Нашел ответ.

— Если так вот, сразу, поднять меня с досок, дать в руки шашку — и валяй, мол, в атаку, я бы не пошел. Уметь надо. Их лозу учили рубить вначале. Я в “Тихом Доне” читал.

— А я бы сразу пошел, — сказал он. — Хоть сейчас. Махно бы меня за плечо тронул: “Пошли, Толмачев!” — и я бы пошел.

В начале октября он заявил директору, что ему срочно нужно съездить на два дня в деревню к умирающему дедушке. Я точно знал, что никаких дедушек у Толмачева не сохранилось. Директор поупрямился, но отпустил его. Мне Толмачев не считал нужным ничего объяснять, ну я и не спросил. Мы старались быть немногословными мужчинами.

В первый день его отсутствия прибыли вагоны с селедкой: самая страшная работа для грузчика, если верить профессионалам — Денису и махновцу. Однако они глядели на вагон и улыбались. Потом подошли и потрогали вагон. Дед даже поддел ногтем старую розовую краску на боку вагона, отколупал сухую чешуйку и задумчиво, ученым, поглядел на нее. Появился сердитый, яростно махая шляпой, зажатой в кулаке, директор.

— Вы заснули, да, ребята? — пролаял он. — Приступайте, вы что, боитесь его... Денис?

— Да, Лев Йосифович, — согласился Денис, — страшноват, зверюга. Но я проснулся. Иду за покрывками. — И он скрылся в складе.

— Как на бронепоезд с шашками, — уныло заметил дед.

Нам дали в помощь двух холодильных грузчиков и неизвестно откуда выцарапанного директором темного, чуть сгорбившегося большого мужика лет пятидесяти — “турка”. Директор вывел его на эстакаду и чуть подтолкнул в спину.

— Вот вам еще рабочая сила, — сказал директор. — Мухаммед... Чтoб к вечеру закончили. Ящик вина!

Удивительно, но никто не стал торговаться. Кладовщик открыл замок на вагоне, и мы с дедом развели в стороны двери. Под самый потолок, тремя ровными рядами возлежали ржавые бочки. Очень тяжелые даже на вид. Мне показалось, что вытащить и одну — невозможная задача.

— Как они их закатали туда, на третий-то ряд? — спросил я деда.

— Профессионалы хуевы, — сказал дед угрюмо.

— А может, они с крыши, как в трюм корабля грузили?

— Может. Нам от этого не легче. У нас кранов нет. Руками придется, — и дед пошел почему-то за склад.

Я подумал, что он пошел отлить, но дед вернулся, нагруженный досками. Кряхтя, свалил их со спины. Денис выкатил на нас из склада несколько старых автомобильных покрышек. Одна была чуть ли не в рост Дениса диаметром.

— Это от какого же автомобиля? — спросил я.

— “Минск”, — пробормотал один из холодильных грузчиков. Все стояли и пассивно наблюдали за Денисом и махновцем.

— Главное, первую, ребята, вытащить. А там пойдет как по маслу, — заявил маленький человек, наладив сложные связи между покрышками и досками.

— Иди, пацан, сюда, — обратился он ко мне. Он разместил наш коллектив, как и покрышки, и доски.

Мы извлекли первую бочку из-под потолка сантиметр за сантиметром, выталкивая ее двумя ломami себе на головы.

— Иди сюда, маленькая, иди, не бойся, — приговаривал Денис, и “маленькая”, ржавая обручами, склизкая и вонючая, наконец свалилась на нас шестерых.

И мы сумели удержать ее. Кряхтя и ругаясь, в двенадцать рук мы вынесли ее и положили на эстакаду. Все повеселели. На место бочки влез Денис, сложившийся в обезьянку, и еще раз осмотрел доски и покрышки.

— Левани “Минск”, дед Тимофей! — крикнул он.

Дед проворно двинул покрышку.

Система оказалась простой. Бочка осторожно ронялась с третьего ряда на покрышку, лежавшую на досках, втиснутых между первым и вторым рядом, подпрыгивала и резво катилась под уклон — на эстакаду. Там, где доски кончались, она ударялась о массивную покрышку минского самосвала и или замирала на ней, и ее выкатывали и убирали с глаз долой в склад холодильные буган, или, подскочив на покрышке, она выскакивала на эстакаду сама и катилась куда глаза глядят — с большей или меньшей скоростью. Весь фокус состоял в том, чтобы сообщить бочке нужную скорость и нужное направление, дабы она не раскололась вдребезги как спелый арбуз, вывалившийся из рук пьяного на мостовую.

Победоносные, мы настолько устали к вечеру, что не стали пить премиальное вино. На следующий день, к моему ужасу, меня с Мухаммедом заставили наводить порядок в складе: следовало освободить место для ожидающихся на следующей неделе еще двух вагонов селедки: нужно было закатить третий ряд бочек. В перерыве я выпил с холодильными грузчиками бутылку вина (Мухаммед отказался) и пожаловался им на тяжелую работу.

— Лева жмот и сука, — сказали они лениво. — Вдвоем такую работу не выполняют. Нужны минимум трое. Один катит бочку в центре, а двое с боков. Нашел дураков — пацана и “турка”. Мы бы его на хуй послали...

Бугай были за своим кладовщиком Самсоновым как за каменной стеной и как бы служили в отдельной организации. Самсонов “одалживал” директору своих грузчиков лишь в исключительных случаях. Из их холодильного отделения почти каждый день несло жареным мясом: Самсонов и грузчики готовили себе обеды.

— Ты потише, пацан, не надрывайся. Денег все равно больше не заплатят, — посоветовали они на прощание и стали напяливать фуфайки.

Я сообщил “турку”, что отныне мы будем работать потише. Он так плохо понимал русский, что понял меня только после нескольких минут объяснений. Я влез наверх, на бочки, и, не торопясь, возился там, подготавливая территорию для тихой работы. “Турок” же, не зная, что делать, слушаясь моего приказа, стал возиться внизу. Глядя на него сверху, я понял, что он не умеет “сачковать”, как тогда говорили, у “турка” руки чесались, и он стеснительно топтался с доской в руках, бедняга. Разговаривать с “турком” было невозможно, и я себе насвистывал, размышляя о взятии турками Константинополя в 1453 году и о том, откуда вообще взялись турки, вспомнил, что читал, как клан Османов из Большой Азии бежал от монголов в Малую Азию... Я ведь был юношей, упивавшимся историей. Я покупал себе за рубль сорок три копейки какниенбудь “Крестовые походы”, как сладкожки покупают килограмм шоколадных конфет, и мусолил книгу, копаясь в комментариях, пока не выучивал издание наизусть... Добравшись мысленно до Сулеймана Великолепного, я услышал визг...

— Ты считаешь, что мы тебе за твои турецкие глаза должны деньги платить! Я тебя взял на временную работу по просьбе твоей

жены, несмотря на то, что у нас штат укомплектован! Дармод! Я за вами двумя четверть часа наблюдаю, вы ни за одну бочку не взялись. Дрянь! — Директор Лева снял шляпу и хлестал ею, соломенной, закрывшегося от хлестания “турка” по выставленным рукам.

И “турок”, представитель нации, завоевавшей Константинополь, уважаемой мною свирепой, мужественной нации, позволял, чтобы его хлестали шляпой!

— Это я виноват, Лев Йосифович! Что вы на него, безответного, набросились. Он даже не понимает, что вы ему кричите. Я ему сказал, чтоб он полегче поворачивался. Вы нам работу дали тяжелую, для такой трое или четверо требуются.

— Я здесь начальник, я! — проревел он, задрав на меня физиономию.

Судя по ней, он был очень зол. Я уверен, что не мы были первоначальной причиной его злобы, но мы подвернулись ему, уже кипящему, под злую, горячую руку.

— Ты, щенок, здесь у меня не командуй. Спускайся и катай живо бочки!

Правильно утверждает марксистская философия — важную роль в жизни человека играет среда. Я был воспитан на улицах Салтовского поселка с возраста семи лет, а директор — нет. Он меня не понимал. Он был мой начальник, но я не был рабом — рабочим, обремененным семьей и детьми, держащимся за свое место. В моей жизни самое важное место занимала моя честь. Я помнил о своей чести днем и ночью и только и думал о возможности защитить свою честь.

— Идите вы на хуй, Лев Йосифович, козел! — сказал я и поднял тяжелую “семерку” — брус, которым, как рычагом, мы двигали бочки.

— Ах ты, щенок! Да я тебя с говном смешаю! — закричал он и, сжав кулаки, ринулся по доскам вверх ко мне. Дикий кабан, если бы он добрался до меня, он избил бы меня как пить дать.

Подражая отсутствующему Толмачеву, я сплюнул и легонько двинул “семеркой” как тараном в директора. Брус угодил ему в шею под ухом, свалил его. Упав на первом ряду бочек, он беспомощно барахтался.

— Бандит... Я тебя уничтожу, — бормотал он, очевидно, ошеломленный легкостью, с какой я сбил его с ног. — Я уничтожу тебя, — повторил он, вставая, но ко мне наверх не полез. Поднял шляпу и заставил себя посмотреть на меня. — Вон! Убирайся вон сию же минуту. Ты больше у меня не работаешь! Тебе место в тюрьме...

Крови на нем не было видно. Напялив шляпу, он вышел.

— Ебал я твою работу! — крикнул я ему вслед. — Была бы шея, хомут всегда найдется.

Я снял рукавицы и, прыгнув с бочек, содрал с себя халат. Сбросил на бочки. “Турок” схватил меня за руку и пожал ее. У него были черные грустные глаза отца семейства, оседлого бедняги, у которого куча детей, и из-за них он не может позволить себе роскоши быть свободным. С его ростом и широкими, пусть сгорбленными, плечами он мог убить директора... и меня заодно, столкнув нас лбами. Он меня явно благодарил. За что, подумал я, ведь это я втравил его в историю, обязав работать тише. Вошел кладовщик Ерофеев.

— Что тут у вас произошло, хлопцы? Ты что, малолетний бандит, напал на директора? — глаза Ерофеева, увеличенные очками глаза старого пройдохи, смеялись. Было такое впечатление, что кладовщику весело от того, что я напал на директора.

— Он сам на меня попер, — сказал я. — До свидания.

— Э, нет, друг, — сказал Ерофеев ласково. — У нас тут не проходной двор. Пришел, ушел.. Пиши заявление, как полагается. В твоих же интересах. Двенадцать дней отработаешь и получишь “увольнение по собственному желанию”. И расчетные деньги. Если сейчас уйдешь — ничего не получишь.

— Я считал, что эксплуатация человека человеком в нашей стране давно уничтожена. Не хочу я его рожу кабанью видеть, Василь Сергееч...

— Не увидишь, — сказал Ерофеев. — Я тебя на кубинский сахар пошлю. Мы склад у Турбинного завода ликвидируем. Сыро там... Твой напарник завтра возвращается? Вот и будете вместе потихоньку копать. Там как раз на пару недель работы.

Они мне так уже успели надоесть с их бочками, и ящиками, и мешками, что я готов был исчезнуть тотчас, плюнув на заработан-

ные деньги, но, вспомнив о милиции, о нужном мне штампе в трудовой книжке, согласился.

— Сахар, еби вашу мать, сахарок, — Толмачев зло глядел на экспедитора дядю Лешу. — Пиздец спине — ваш сахар называется. Ну Сову, я понимаю, в наказание, а меня за что?

Хромой, очкастый дядя Леша был прикреплен к нам надзирателем. Помощи от него ждать не приходилось. А помощь была нужна. Мешки были восьмидесятикилограммовые, и крутая цементная лестница вела из обширного глубокого подвала на свет божий. Какой мудака придумал сгрузить сахар в цементный подвал?

— Ладно, молодые, здоровые, я в вашем возрасте горы сворачивал.

— Результат налицо. Посмотри на себя в зеркало, — зло сострил Толмачев.

Он вернулся “от дедушки” злой. Или дедушка умер, или бабушка заразилась от дедушки и тоже слегла. Появился он после перерыва. Он естественным образом явился утром на продбазу, а уж оттуда его направили “на сахар”, в ссылку.

Пыхтя, обливаясь потом и хрустя костями, мы снесли каждый по мешку вверх. Толмачев оказался неправ, трещала не спина, но к последним ступеням подламывались ноги. Скучал, сидя на тротуаре на пустой улице, шофер грузовика. Наши страдания его не касались. Его дело было провести грузовик через Харьков, где другие грузчики свалят мешки в другой склад. Мы с Толмачевым завидовали этим грузчикам. Я весил шестьдесят килограммов, то есть на двадцать кило меньше мешка, а Толмачев, я предполагаю, не больше 58. В глазах мешки были твердые, сахар впитал сырость из воздуха и затвердел.

— Мать ее перемать эту Кубу, с ее сахаром! — ругался Толмачев, спускаясь в подвал. — На хуя столько сахара, а, Сова? Представь себе, даже один такой мешок сожрать, и то сколько надо чаю выпить...

— Варенья люди варят, опять же есть типы, которые по пять ложек в чашку кладут.

— Я без тебя, Сова, на продбазе не останусь, — сказал он мне в конце рабочего дня. — Рогомупираловка становится все тяжелее,

ебал я это удовольствие. Вначале, помнишь, как было хорошо ведь, а? На колбасную фабрику ездили, на конфетную...

Возвращаясь с конфетной фабрики, мы, сидя в кузове (запертые, только щель для воздуха была оставлена), взломали все ящики и набили конфетами рукавицы. Экспедитор сидел в кабине с шофером. Пока шофер открывал ворота базы, мы ловко швырнули рукавицы с конфетами в придорожный бурьян. В конце дня собрали урожай. Несколько килограммов конфет. С колбасной фабрики мы украли 25 килограммов колбасы, применив классический трюк. С помощью шофера прикрепили в разных местах машины двадцать пять килограммов кирпичей и, въехав на фабрику, сняли их и оставили во дворе. Взвешивали ведь машину — до и после загрузки.

— Да, — согласился я, — даже мешок не уведешь, четверо-глазый над душой стоит.

— Пойдем, Сова, пожрем в столовую, — предложил он грустно. — Бутылку купим. Я угощаю.

— Разбогател?

— Немного... — Он вздохнул.

За ним пришли на третий день. Он услышал шаги многих ног на лестнице и, догадавшись, спрятался в дальнее ответвление подвала — за мешки. Два дюжих амбала в гражданском спустились тяжело по ступеням вниз, штаны и тяжелые пыльные туфли появились вначале, затем полы плащей и, наконец, физиономии. Грубые и неприличные, как сырое мясо, рожи. Подошли вплотную. Руки в карманах. Я сидел, свесив ноги, на мешках.

— Савенко? Где Толмачев? — сказал один из двух.

— Не знаю, — сказал я. — А что случилось?

— А не твое собачье дело, — бросил тот, который порозовее и поводянистее. — Отвечай на вопрос.

— Я же ответил уже: не знаю.

— На продбазе нам сказали, что мы можем найти его здесь.

Я подумал, что наверху стоит дядя Леша, и они уже спросили его, и инвалид наверняка расколослся. Ну если не он, то шофер сказал, что Толмачев внизу, в подвале. Второй выход из склада существует, да, но им никто никогда не пользовался. Закрыт наглухо. Однако вопреки здравому смыслу, я сказал:

— Не пришел сегодня. Может, заболел...

— Это ты сейчас заболеешь, — сказал водянистый и вдруг вынул из кармана руку с пистолетом.

— Эй, эй, вы чего? Не знаю я, где он, не видел его!

— Вот говнюк, — сказал который потемнее, обращаясь не ко мне, но к водянистому, и вдруг всей тяжестью зарыл свой кулак в мой живот.

— Блядь, мусор, — простонал я, складываясь. Я знал, что когда ругаешься, становится легче. До этого меня не раз били в милициях.

— Тут я, — сказал Толмачев и вышел из-за мешков. — Отъебьтесь от него.

— Вот. Хороший парень, — одобрил водянистый. — Пошли наверх. Дело есть.

— Заберешь мой халат, а, Сова? — попросил Толмачев.

— Заберет, — сказал тот, что потемнее. — Получишь свой халат через пять лет.

И они увели моего друга.

Мусор ошибся на два года в обе стороны. Толмачев получил много — семь лет за неудачное ограбление сберкассы, но вышел по амнистии (первая судимость) через три года. Тогда-то он и встретил меня, идущего с авоськой на ночную смену. И засвистел... “Дешевками” назывались легкодоступные девочки, подружки воров, у них был свой странный кодекс чести. Стать прачкой? Никогда. “Вора ты не заставишь спину гнуть...” В лагерях воры не вылезали из карцеров, харкали кровью, но работать отказывались. А я? Через несколько дней я отдал начальнику заявление на расчет. Не только по причине его свиста и диких, влюбленных зрочков цыганки Насти, закатившихся вверх — к нему, но из-за этого тоже.

Я в том же году выбрался с Салтовки, и мы потерялись. Знаю только, что он сел опять, уже с цыганами. За “мокрое дело”. Вот я думаю... не встречу я его тогда на трамвайной остановке, может быть, я так и работал бы на том же заводе. И жизнь моя была бы другой. Никогда не увидел бы я мировых столиц... Как знать. Область чувств и соседствующая с ней область поступков соединены запутанными немаркированными нервами. И нервов этих, паутинок,

многие сотни. Иногда достаточно бывает просвистеть сильную мелодию, чтобы порвались какие-то...

ПЕРВЫЙ ПАНК

СиБиДжиБи находится вблизи пересечения Бликер-Стрит и Бауэри-Стрит — славной по всему миру улицы бродяг. Грязь и запустение царят на Бауэри, бегущей от Астор-Плейс к Канал-Стрит. Фасады нежилых домов с заколоченными окнами, подозрительные китайские склады и организации (рядом — за Канал-Стрит — Чайнатаун), воняющие мочей и грязными человеческими телами бары, пара убежищ для бездомных — вот вам Бауэри. СиБиДжиБи — музыкальная дыра, узкий черный трамвай, с которым связана так или иначе карьера любой сколько-нибудь значительной группы новой волны и позднее панк-групп, — оспаривает мировую славу у Бауэри. Черный трамвай неудобен, тесен, вонюч, всякий вечер туда набивается во много раз большее количество человеческих туш, чем дыра способна вместить, однако владельцы упорно держатся за первоначальный имидж дыры и не желают ее расширять, хотя по всей вероятности, могли бы, — вокруг достаточное количество пустующих зданий.

Я увидел объявление об этом вечере в “Вилледж Войс”. Случайно. Программа СиБиДжиБи публикуется в каждом номере еженедельника и ничего удивительного в самом факте не было. Но в “Вилледж Войс” в этот раз анонсировали монструозное мероприятие! Объединенный гала-концерт поэзии(!) и панк-групп(!) Дичь! — сказал я себе. — Панкс ненавидят стишки. Однако белым по черному в объявлении значились имена участников: Ален Гинзберг и Филипп Орловский, Джон Ашбери, Тед Берриган, Джон Жионо, Андрей Вознесенский... (Откуда, на хуй, Андрей Вознесенский — “специальный гость”?! Русские эмигранты утверждали, что его не пускают за границу.) Были еще поэты помельче, имена которых я не упомянул. И были группы. Но какие: “Б-52”, “Пластматикс”, “Ричард Хэлл и его группа”, а с ними — “специальный гость” — сам Элвис Костелло!

Я поклялся себе, что зубами прогрызу вход в дыру, как крыса. Я позвонил Ленке Лубяницкому, так как был уверен, что он —

всемогущ. Ленька — фотограф. Всемогущий Ленька жил тогда на Шестой авеню у Тридцатых улиц и усиленно пробивался в люди. Он сам оштукатурил и перестроил производственное помещение в фотографическую студию и приобрел списанный сейф, чтобы хранить в нем фотоаппараты. Дом Леньки часто грабили. Под Ленькой жил слесарь. Над Ленькой — гадалка мадам Марго.

— Ленчик, — сказал я. — Я узнал, что Вознесенский в городе. Сегодня вечером в СиБиДжиБи выступает он и еще куча поэтов и панк-группы! Самые лучшие группы, самые крутые. Я хочу попасть туда. Пойдем?

— Вначале откройте мне секрет, Поэт, что такое СиБиДжиБи? Вы ведь знаете, я неграмотный.

— Ленчик! Вы никогда не слышали о СиБиДжиБи? (Мне стало жаль Леньку).

— Никогда, Поэт. Простите мне мое ничтожество.

Я ему объяснил.

— Вам очень нужно туда попасть, Поэт?

— Очень, Ленчик.

Я тайне решил взять с собой переводы нескольких своих стихотворений, чтоб если вдруг представится возможность, прочесть их. Шел 1978 год, ни эмигрантские, ни американские издания меня не печатали. Я страдал от комплекса неполноценности.

— Убедили, Поэт, — сказал Ленька. — Я тут, правда, соби-рался засунуть шершавого одной даме, но если Родина требует...

Ленька бывает до невозможности вульгарен. Как старый солдат, как холостяк-старшина. Однако вульгарность ему идет. К тому же у Леньки есть множество качеств, оттесняющих его вульгарность на задний план. Наше знакомство началось с того, что мы оказались сидящими на полу чьей-то студии. Мы поговорили минут десять, ему нужно было уходить по делам. Вдруг я почувствовал, что новый знакомый опустил нечто в карман моего пиджака. “В чем дело?” — спросил я. “Несколько долларов, — смутился Ленька. — Пойдите пожрите, Поэт, вы очень бледный”. Я хотел было гордо отвергнуть деньги, но он был искренне смущен, и я принял дар, пробормотав благодарности. Он угадал, я не обедал несколько дней. И с первого же дня знакомства он стал называть меня Поэтом...

— Родина требует, — подтвердил я. — Весь фокус состоит в том, как проникнуть внутрь помещения. На такую программу навалит половина Нью-Йорка.

— Проще простого, — сказал Ленька. — Скажем, что мы друзья Вознесенского. Попросим, чтобы он вышел.

— Я и правда знаю Вознесенского. Несколько раз встречал его в Москве у Лили Брик.

— И я знаю старого жулика, — захохотал Ленька. — Я видел его у Фени несколько дней тому назад. Он сделался очень похож на старого педераста, Поэт!

В программу Ленькиного пути наверх входит обязательное посещение богатых нью-йоркских евреев русского происхождения. Феня, в доме у которой он встретил Вознесенского, — одна из его связей. (“Связи, паблик релейшнс” — важно называет эту свою деятельность Ленька). С Ленькой она говорит по-русски. Россия оказывается глубоко связана с Америкой. Феня — сестра миллионера Гриши-Грегори. В жену Гриши — Лидию был коротко влюблен сам Маяковский. Мой меценат Ленька сумел однажды протащить меня на обед к Грегори. Сидя под большой картиной Дали, старая, но красивая Лидия рассказала мне историю своего знакомства с Маяковским. Теперь, когда Лидия умерла от рака и Гриша, в свою очередь, умер, я, философски настроенный, вспомнил, что Маяковский называл Гришу-Грегори “Малая Антанта” за его неустрашимую, мощную финансовую энергию. Видите, не только Россия связана с Америкой, но мир живых крепко соединяется с миром мертвых...

Когда мы на тридцать минут раньше, по моему настоянию, явились к СиБиДжиБи, двери были еще закрыты, но у дверей уже стояла толпа, оформившаяся в очередь. Рядом, в скупом свете фонарей, пошатывалось несколько бродяг. Кто-то неудержимо моченспускался у стены. Струя протянулась через весь тротуар, и даже журчала.

Бесцеремонно растолкав окружающих, Ленька нажал на дверь. Толпа за нашими спинами издала серию презрительных звуков, имеющих целью высмеять Ленькину самоуверенность. Ленька, не смутившись, застучал кулаком в облезлую дверь. В двери, на

уровне лица, было вмонтировано грязное стекло. Большой глаз под густой бровью появился за стеклом.

— Что стучишь?

— Мы есть друзья оф рашэн поэт мистэр Вознэсэнски.

Ленькин английский манерен, как высшее общество, в которое Ленька пробивается. Он немилосердно закругляет звуки и получается пародия на оксфордский английский. Беспардонное нахальство звучит в Ленькином английском. Я думаю, трудно не принять всерьез такого явно притворного человека, не стесняющегося торжественно закруглять клоунские фразы там, где другой человек, попросту, расхохотался бы над самим собой.

— Мы приглашены мистером Вознэсэнски, — уточнил Ленька.

— Кем? — спросил глаз и, повозившись, приоткрыл дверь, вставив в щель ногу. Очевидно, чтоб мы не ворвались. Обладателем джинсовой ноги и бровастого глаза оказался краснощекий тип. Клетчатая рубаха расползлась на пышном брюхе.

— Рашэн поэт мистер Вознэсэнски, — повторил невозмутимый Ленька, и его большое веснушчатое лицо сделалось важным.

— Я спрошу, — угрюмо сказал розовощекий, столкнувшись с проблемой, и запер дверь.

— Больше не откроет, — пессимистически комментировал я.

— Постучим еще. — Ленька спокойно и насмешливо посмотрел на меня. За тем я его и взял. Ленька отличался от меня как вездеход от хрупкого городского автомобиля. Он пройдет там, где я, застеснявшись, отступлю.

Краснощекий с брюхом явился в двери с девкой в джинсах и сапогах, волосы забраны сзади в конский хвост.

— Мистер Вознэсэнски еще не явился, — сказала девка.

— Он нас пригласил. — Ленька грудью пошел на хвостатую и розовощекого. Они нехотя отступили, и мы вошли в дыру. Там было сыро.

— Если он вас пригласил, ваши имена должны быть в списке приглашенных. — Хвостатая взяла лежащий на черном ящике усилителя планшет с прижатым зажимом грязным листом бумаги. — Ваши имена?

Мы сказали ей имена. Разумеется, их в списке не имелось.

— Сожалею, — сказала хвостатая. Я увидел, что у нее кривой нос. Теперь хвостатая грудью пошла на Леньку. — Вам придется дожждаться мистера Вознэсэнски.

— Мы подождем здесь, — Ленька увильнул от груди хвостатой в сторону.

— Сожалею... Подождите снаружи.

— Снаружи холодно. — Ленька озирался по сторонам, ища выхода из положения.

Это я увидел вдруг Алена Гинзберга, вышедшего из темных недр помещения к стойке бара. Бар в СиБиДжиБи — примитивный загончик с прилавком. Автор поэмы “Вопль” сбрил бороду, но я узнал его по последним фотографиям. “Вон идет Гинзберг!” — дернул я Леньку за рукав.

— Ален! — закричал Ленька. И, бросившись к Гинзбергу, схватил его за руку. Впоследствии Ленька утверждал, что познакомился с ним в доме одной из еврейских дам. Мне лично показалось тогда, что Гинзберг видит его впервые.

— Андрэй Вознэсэнски пригласил нас, — Ленька указал на меня, оправдывая “нас”. — Зыс из май дэр фрэнд, Эдвард Лимонов. Грэйт поэт. Я пожал протянутую мне влажную руку Гинзберга. — У нас маленькая проблема, Ален. Андрей забыл включить наши имена в список.

— Это друзья русского поэта, — Гинзберг взял Леньку за плечо. Хвостатая и розовощекий заулыбались. — Идемте, я посажу вас за свой стол. Здесь всего десяток столов и когда начнут впускать публику, мест мгновенно не будет.

Вслед за сияющей лысиной Гинзберга мы прошли во внутренности щели, к эстраде, и он усадил нас, как мне показалось, за самый выгодный стол. За соседними столами расположились уже зрители. Я отметил пожилую даму в черной шляпке с вуалью. Несколько зловещего вида подростков с выведенными белой краской на спине кожаной куртки черепом и костями. Присутствовало и некоторое количество гуд америкэн бойс, толстошеих, розоволицых, с хорошо промытыми шампунем блестящими шерстяными покровами на головах, с наметившимися, несмотря на крайнюю молодость, брюшками. За самыми ближайшими к сцене столами копошились завсегдатаи: бледные и тонконогие дети Манхаттана — местные панкс с Нижнего Ист-Сайда. Дети восточно-европейских эмигран-

тов — поляков, украинцев и венгров, целым поколением вошли в панк-движение. Мне они безумно нравились, и я, человек без поколения, с тоской разглядывая их, подумал, с каким бы восторгом и удовольствием я бы поиграл в их игры, если бы был помоложе. Их девочки — голорукие, тощие шеи торчат из газовых и капроновых облаков, ногти окрашены черным или зеленым лаком, — несомненно вульгарные, были, однако, неотразимо соблазнительны. Бодлеровский, городской порочный секс источали тощие молоденькие сучки большого города. Бледные полувывбритеы черепа. Голубые, белые, зеленые, красные волосы.

— Глазеете на малолеток, Поэт? Задвинули бы? — Ленька ухмылялся, довольный жизнью.

— А вы, Ленчик? Задвинули бы? — Я бессознательно перешел на его лексикон.

Ленька повернулся, скрипя синтетическим, непонятого происхождения плащом на меху, и разглядел панкеток.

— Нет, Поэт. Не моя чашка чая. Тощие, как колхозные курицы. Мне нужна жопа. Знаете песенку, Поэт? “Держась за жопу словно ручку от трамвая”, — пропел Ленька и расхохотался, как видно, умилившись собственной вульгарности. — Я люблю их слегка переспевшими, Поэт! Вон — прекрасный экземпляр мышки! — он указал на стол, за которым между нескольких седых мужчин, может быть, поэтов или друзей поэтов поколения Гинзберга, сидела овалолитая тетя лет сорока пяти с блядовитым выражением полуоткрытого рта. Большой круп расширялся к сидению как памятник расширяется к пьедесталу. — То что доктор прописал! — чмокнул губами Ленька.

Ленька употребляет выражение “то, что доктор прописал!” множество раз на день. В особо важных случаях он пользуется полной формой: “То, что доктор Фаина Абрамовна Кац рекомендовала”. На вопрос, существовал ли в действительности этот фольклорный персонаж — доктор Фаина Абрамовна Кац, или же это собирательный образ советского доктора (во времена нашей с Ленькой юности большинство врачей в больших городах были женщины-еврейки), Ленька обычно лишь ухмыляется.

Гинзберг, пересекши сцену, bravo прыгнул и подошел к нам. На сцене юноши в разрезанных тишортс, в порезы белели девственно бледные городские тела, путались в проводах. Один из них,

встав лицом к залу, зажал в руках электрогитару и несколько раз щипнул ее для пробы.

— Ален, — Ленька приподнялся и стал снимать плащ. — Эдвард из вери фэймэз рашэн поэт энд райтер.

— Повторите, пожалуйста, вашу фамилию? — Гинзберг доброжелательно пошевелил губами цвета много лет назад давленной клубники. Через очки его близорукие усталые глаза рассматривали меня со сдержанным любопытством человека, познакомившегося в своей жизни с десятками тысяч людей и забывшего фамилии большинства из них. Без бороды он похож на бухгалтера из провинции! — подумал я. Бухгалтер небольшой фирмы по продаже... ну, скажем, рефрижерейтеров. И не новых, но подержанных рефрижерейтеров. Но он ведь действительно из провинции, из штата Нью-Джерси, из городка Патерсон. В Патерсоне жил другой их знаменитый поэт, Вильям Карлос Вильямс... Я повторил мою фамилию. И спросил лишь для того чтобы что-нибудь сказать: “Давно вы знаете Андрея?” Ленька губами, глазами и руками делал мне знаки, которые я расшифровал без труда. Мол, давайте, Поэт, пиздите, знакомьтесь, делайте энергичные “паблик релейшенс”. Вы сидите с одним из “райт пипл”. Ленька был помешан на райт-пипл.

— Очень давно... лет пятнадцать назад, по меньшей мере.

— Вам нравится то, что он пишет?

— Да. Очень. А вам? — Старый плут уловил в моем вопросе миниатюрный взрыв, маленькую революцию против.

— Мне? Мне его стихи совершенно неинтересны.

Ленька не одобрял такого подхода к паблик релейшенс, он выпятил губы и покачал головой.

— А почему, позвольте узнать? — заинтересовался Гинзберг. Теперь уже и я сам не одобрял своего подхода к райт персон и к паблик релейшенс, но деваться было уже некуда.

— Видите ли... — Сбежавшее с моих губ, мне тотчас стало неприятным это нерешительное “видите ли”. Я гордо прыгнул в океан. — Я считаю его стихи пустыми, трескучими и эстрадными, а самого Вознесенского — ловким манипулятором, умудряющимся там, в Советском Союзе, иметь имидж советского верноподданного, а здесь — имидж бунтаря и едва ли не борца против советской власти. Мне неприятен этот тип функционера от литературы.

— Есть такое русское выражение, Ален, — вмешался Ленька. — И рыбку съест и на хуй сесть.

Вот в таких вот ходах и заключалась Ленькина прелесть. Друг все же был для него важнее всех его жизненных принципов. Он мог тактично смолчать. Но он выступил против райт-персон на моей стороне. Публично.

— Верно, — просиял я. — Именно Андрей Андреевич Вознесенский. Существует более приличное выражение: сидеть одной жопой на двух стульях. Он — сидит. И, может быть, все его литературное поколение. (Уф, — подумал я, закончив. — Ну, наговорил! Гинзберг ведь принадлежит к тому же поколению, и стихи его тоже эстрадные, и бунтарем его сегодня назвать трудно.)

— И рыбку съест, — начал Гинзберг, улыбаясь во весь свой старый клубничный рот.

— To eat gefilte fish and to sit on a cock at the same time, — голосом гнусавого учителя, округляя фразы, перевел Ленька. Еврейская мама Наоми (в биографиях Гинзберга сказано, что она из России), может быть, учила Алена немного русскому языку. Он опять повторил коряво, но по-русски: “И рыбку...”

“Ален!” — позвали его от сцены. Он встал. “Я давно знаю и люблю Андрэя. Андрэй, как и я, как и все мы — борется за мир в мире. Задача поэтов охранять мир и способствовать сближению систем. Поэзия — это общий язык мира”.

Гинзберг спокойно и вежливо улыбнулся и удалился, протискиваясь сквозь увеличившуюся толпу вокруг столов.

“Должны ли мы держать для тебя место, Ален?!” — крикнул ему вслед Ленька.

Гинзберг обернулся, губы раздвинулись. “Да, пожалуйста, Леонид!”

— Как он вывернулся из-под вас, Поэт, а! Ловко. Дипломат! Старая школа жульничества. Что вы можете сказать в свое оправдание, Поэт?

— Ни хуя, Ленчик. Что можно возразить против мира в мире? Кто его не хочет, а? Массовый убийца, Сын Сэма, тоже наверняка скажет, что он за мир, если его спросить.

— Заделал он вас, Поэт. Но ничего страшного. Он не разозлился. Учитесь, Поэт, демагогии у старших товарищей. Очень пригодается это умение...

Ленька не добавил однако, что доктор Фаина Абрамовна Кац прописала демагогию.

Сзади нас послышался топот многочисленных ног. Это впустили публику. Столы от публики отделяли два плюшевых, цвета вишни, канатика, соединенные хромированными зажимами, как в театре. У канатиков заняли места несколько мускулистых атлетов. Атлеты тотчас приступили к своим обязанностям вышибал, немилосердно отпихивая отдельных индивидуумов, имевших неосторожность упереться пахом, ляжками или ягодицами в канатики. Ругань, смех, пьяный и трезвый виды смеха, перетапывание... Толпа завозилась за нашими спинами.

— У них тут разделение на чистых и грязных, Поэт, — Ленька довольно оглянулся. — Мы с вами чистые, привилегированные, часть Элиты. Что хотите пить, Поэт?

Я заказал виски, Ленька — пиво.

— Почему они тянут резину и не начинают? — Ленька поглядел на часы. Волосы на Ленькиной руке были густо-рыжие.

— Вы торопитесь, Ленчик?

— Нет, Поэт. Но я подумал, что может быть, успею задвинуть шершавого знакомой леди...

“Гуд ивнинг!” — сказал бородатый Тэд Берриган, ведущий вечера. Массивный, похожий на плохо завязанный и неполный мешок с зерном, он с треском, неприятно увеличенным усилителями, отвинчивал микрофон, поднимая его до уровня рта. “Сегодня у нас необычный вечер. Сегодня здесь, в СиБиДжиБи, встречаются два поколения...”

“Три!” — закричали за нашими спинами.

“...совершенно различных по творческим средствам выражения. Я говорю о поколении битников и о поколении музыки новой волны, о движении, все чаще называемом “панк”. Отцы встречаются с детьми...”

“Деды!” — крикнули от панк-столов. Смех прокатился по залу и умер. И опять, но уже в другом конце зала крикнули “Деды!”

“О’кей, — сказал Тэд Берриган, — я не настаиваю на отцах. Хочу только сказать, что, несмотря на различие в возрасте, у нас, я думаю, обнаружится много общего...”

“Давай Пластматикс! — закричали от самой двери. — Б-52! Пластматикс! Элвиса! Костелло! Костелло! Хэлл!.. “

Толпа выкрикивала имена групп и мне стало жалко поэтов, оказавшихся, как я и ожидал, не в моде у сегодняшней публики.

Они поступили тактически правильно. Они выпустили первым Джона Жиорно. Я слышал его уже однажды, не живого поэта, но голос. За несколько лет до этого он сделал рекорд. Жиорно звучит не хуже рок-группы. Одному из стихотворений, ритм которого имитирует ритм мчащегося в подземелье сабвея поезда, очень неплохо аплодировали. Сам Жиорно, седой рослый дядька, чисто и как механический автомат выпуливающий короткие отрывистые фразы, публике тоже понравился. Признали его современным.

И Ленке очевидно импонировало то, что лицо Жиорно не выражало никаких эмоций. “Кул гай! — похвалил Ленька. — Становится жарко как в бане, Поэт”.

Я снял свой фиолетовый пиджак. Тэд объявил следующего поэта и, поматывая животом, ушел. Следующим поэтом оказалась дама в черной шляпке с вуалью. Мимо нашего стола она прошла к сцене и, опершись на руку Джона Жиорно, поместила одну ногу в черном чулке на сцену. Затем подтянула туда же вторую. На ней была очень узкая юбка. “Вауу!” — вздохнула публика, не то удивляясь, не то осуждая. Открыв сумочку, поэтесса вынула пачку бумаги. “Уууу!” — вздохнул зал, теперь уже, без сомнения, по поводу толщины пачки стихов. “Это на целый час!” — прошипел кто-то за моей спиной.

— Вы любите старые кости, Поэт? — Ленька поглядел на сцену и пошлепал губами. С явным удовольствием.

— По-моему вы, Ленчик, их очень любите?

— Хо-хо! — Ленька горделиво задрал голову. — Вы знаете, Поэт, у ледис такого типа всегда исключительно белая жопа! Хо-хо! — Если бы у Леньки были усы, он бы наверное их подкрутил.

“Старые кости” в шляпке мучила нас, однако, недолго. Сопровождаемая криками “Хэлла! Ричарда Хэлла! Костелло! Элвиса!” она сошла с эстрады. Вновь с помощью Джона Жиорно. Я подумал, что в золотые годы их движения, в самом конце пятидесятых и начале шестидесятых, она наверняка была классная свежая девочка. Она без сомнения шла на любой риск, экспериментировала,

спала, согласно законам сексуальной революции, со всеми с кем хотела, от ангелов ада до хиппи-коммунистов, немало потребила драгс, то есть получила множество удовольствий. Но каждому овощу свое время. Теперь в моде ее дочери — девочки, выглядящие так, будто они полчаса назад освободились из тюрьмы. Подзаборные Мэрилин Монро... Стихов ее я не понял. Читала она слишком быстро, а мой английский был в те времена хотя и жив, но неглубок.

Устроители нервно совещались у сцены. Гинзберг. Тэд Бэрриган. Орловский. Публика явно желала групп — своих Пластматикс, Костелло и Ричарда. Поэтов она не хотела. Я подумал, что у Гинзберга и его друзей тяжелое положение. Если они выпустят сейчас одну из рок-групп, то очень вероятно, что им будет невозможно после этого заставить публику опять слушать поэтов. Если же еще несколько поэтов в жанре дамы с вуалью прочтут свои слишком интеллектуальные для публики рок-клуба, каким СиБиДжиБи является, произведения, вечер превратится в стихийное бедствие. Их освищут, осмеют, будут топтать ногами и может быть швырять бутылки и консервные банки...

Они выпустили Джона Ашбери. Джон Ашбери вышел в вязаной лыжной шапочке на голове, сутулый и худой, как после тяжелой болезни. Высокий. В линялых джинсах и рубашке. Он посмотрел в зал и улыбнулся. “Хотите группы?” — спросил он насмешливо.

Зал ответил одобрительным ревом и свистом. Несколько панк-ребят вскочили на столы. Публика опять проорала имена всех банд, объявленных в программе, и успокоилась.

— Будут группы. Через несколько минут. — Джон Ашбери вынул микрофон из гнезда и выпрямился. — А сейчас я хочу вам прочесть мой перевод стихотворения одного русского поэта, который был “панк” своего времени. Может быть, первый “панк” вообще... Очень крутой был человек.

Публика, заинтригованная необычным сообщением, чуть притихла.

— Стихотворение Владимира Маяковского “Левый марш”! — Ашбери поправил шапочку и врубился.

Они слушали, разинув рты. Когда Ашбери дошел до слов: “Тише ораторы! Ваше слово — комрад Маузер!” — зал зааплодировал.

— Ленчик! Ленчик! — Я схватил Леньку за руку и дернул на себя, как будто собирался оторвать ему руку. — Слабó им найти такую четкую формулу революционного насилия! Слабó! Даже “Анархия в Юнайтед Кингдом” ни в какое сравнение не идет! Ваше слово — товарищ Маузер! — это гениально! Я хотел бы написать эти строки, Ленчик! Это мои строчки! Это наш Маяковский! Это — мы!

Кто там шагает правой?

Левой!

Левой!

Левой!

— скандировал со сцены Джон Ашбери. Он содрал с головы шапочку и теперь, зажав ее в руке, отмахивал шапочкой ритм.

Я видел, как ребята Лоуэр Ист-Сайда вскочили. Как разинув рот они что-то кричали. Как девочки Лоуэр Ист-Сайда визжали и шлепали ладонями о столы. Даже гуд америкэн бойс возбудились и, вскочив, кричали что-то нечленораздельное. Сырую дыру СиБиДжиБи наполнила яркая вспышка радости. Радость эта была несомненно сродни радости, которая вдруг охватывает зрителей боксерского матча в момент четкого удара одного из боксеров, пославшего противника в нокаут. Зрители вскакивают, орут, аплодируют, захлебываются восторгом и удовольствием. Судья взмахивает над поверженным полотенцем: “Раз! Два! Три!..... Десять! НОКАУТ!” “Ура-ааа!”

— НОКАУТ! — крикнул я Леньке. — Наш победил!

— Жаль, Поэт, что он не может этого увидеть, — сказал Ленка. — Ему было бы весело. К тому же победил на чужой территории. На чужой площадке всегда труднее боксировать.

— Может, он и видит, Ленчик, никто не может знать...

“А сейчас, — сказал Джон Ашбери, когда шум стих, — я прочту вам несколько своих стихотворений. Конечно, я не так крут, как Маяковский...” Зал дружелюбно рассмеялся.

После перерыва группы разрушали стены и наши барабанные перепонки, так как СиБиДжиБи был слишком маленькой дырой для их слоновьей силы усилителей. Несколько дней после этого мероприятия у меня звенело в ушах. Ричард Хэлл был не в форме, может быть, долгое время был на драгс. Я видел Хэлла в куда

лучшие дни. Элвис Костелло, уже тогда селебрити, понравился мне рациональной эмоциональностью умньего очкастого юноши, пришедшего в рок, как другие идут в авиацию или в танковое училище. Кроме объявленных групп, в программе были и необъявленные.

В третьем отделении должны были опять читать поэты. Я пошел в туалет. На лестнице, спускающейся к туалету, аборигены курили траву, засасывали ноздрями субстанцию, более похожую на героин, чем на кокаин, и вообще совершали подозрительные действия: выпяливали глаза, шушукались, садились и вставали, вдруг подпрыгивали. Вели себя нелогично. Возможно, таким образом на них действовал алкоголь или же редкие драгс. Меня их личная жизнь не касалась, я независимо прошел в туалет. В мужском, даже не потрудившись запереться, спаривались. Он сидел на туалетной вазе, она — на нем. Тряпки. Ляжки. Ее крупный зад. “Я извиняюсь”, — сказал я. “Пойди в женский”, — посоветовал он мне, дружелюбно высунувшись из-под ее подмышки и вытащив щекой на меня часть ее сиськи.

Я пошел в женский. Заперто. Пришлось выстукивать оккупантшу. Вышла смазливая блондиночка в ботинках на кнопках. Такие лет тридцать назад носила моя мама. “Ты что, перверт? — спросила девчонка, оправляя черный пиджак. — Тебе нравится писать в женском?”

— В нашем ебутся, — сказал я.

— А-ааа! — присвистнула девчонка понимающе. — Лаки бас-тардс!

Когда я вернулся в зал, на сцене находился Вознесенский и читал по-русски, то свистящим шепотом, то громким криком свое обычное “Я Гойя, я Гойя, я тело нагойя...” и размахивал руками. Половина зала слушала его, ничего не понимая. За столами беседовали. Две девушки из бара приносили напитки, с трудом вынимая ноги из людской жижи. Толпа уже успела совершить лимитированную революцию, растоптала канатки и влилась в щели между столов. Три вышибалы — стражи порядка — исчезли. Может быть, их растоптали и съели.

Гинзберг сидел рядом с Ленькой и они вполголоса беседовали, наклонившись друг к другу. Я сел на свой стул. На него, пустой, облизываясь, глядела дюжина нечистых.

“Андрэй задержался на обеде с издателем, — пояснил Гинзберг. — У него выходит книга стихов в переводе. С предисловием Эдварда Кеннеди”.

Я подумал, что какое ебаное отношение Эдвард Кеннеди имеет к стихам Вознесенского, но от вопроса воздержался, ибо ответ Гинзберга несомненно опять отошлет меня к важному делу борьбы за мир. И я ничего не смогу возразить против мира, Эдварда Кеннеди, Вознесенского и Гинзберга.

Закончив читать, Вознесенский пробрался к нам. “Хотите, Андрей, посмотреть на разложившийся Запад крупным планом? — сказал я, наклонившись к уху советского поэта. — Спуститесь в туалет. Там ебутся”. Он смущенно захихикал, а я, выразив таким неуклюжим образом мою неприязнь к нему, откинулся на стуле. Меня тронули за плечо.

— Эй, вы говорили по-русски? — спросил юноша с зелеными волосами, худой, высокий и большеносый.

— По-русски.

— Слушай. Ты можешь мне сказать, кто был этот парень Маяковский? Хи из факинг грейт!

Я ему объяснил как мог.

Александр Шаталов

ИЗ КНИГИ “ДРУГАЯ ЖИЗНЬ”

(МОСКВА)

город озябший почти никакой
пересеченный холодной рекой
город в котором пора бы мне знать
можно не жить но всегда умирать

отблеском блеском воды и снегов
город расползшийся до рукавов
замерших рек безучастных лесов
птичьих повадок и голосов

да это так в этой влаге и мгле
можно лишь только сжиматься в земле
в плен или прах или нежную зыбь
город по телу как бледная сыпь

вдруг распутившийся словно сирень
разбередивший любовь или лень
пошевелиться бессилие чтоб
снова горячий и сонный твой лоб

не целовать но касаться слегка
мне не протянутая рука
город раскрашенный вновь мишурой
словно покойник на передовой

свежею хвоей пропахший землей
юною спермой и талой водой

снегом засыпанный и трупняком
город прошедший как жизнь сквозняком
кладбищ еврейских и улиц тверских
бронных могильцевских и поварских
ветром движением губ или лет
тех кого больше со мной уже нет.
31 декабря 1994

* * *

1

санечка это весна потому что
на пустыре в воскресенье людно
в мяч бадминтон или скинув одежду
на одеяле лежать отгоняя
мух муравьев и стрекоз надоевших
женщины в шелковых лифчиках
парни с татуировками и золотыми
коронками ах до чего же
прекрасное время в майские дни
за домами томиться на пустыре
распускается тополь
я же стесняюсь раздеться на людях
только рубашку чуть-чуть расстегнув
вместе со всеми смеюсь потому что
майские праздники в ссср

2

санечка ну посмотри как красиво
синее платье в горошек в байкале
фильм начинается минут через десять
давай я примерю нравится только
конечно полнит потому что горошек
впрочем худее я все же не стану
что ли купить обязательно мама
видишь как все улыбаются значит

так это платье подходит ну ладно
деньги раисины сейчас опоздаем
1994, Франкфурт

* * *

санечка мне показалось что я умираю
холодно или простуда озноб или завязь
яблока яблони может быть перевираю
зависть конечно еще остается мне зависть
вот уже снег равнодушно к стеклу прилипает
сонное теплое детство еще не проходит
и повзросление все еще не наступает
глупая жизнь по губам моим пальчиком водит
просто уткнуться в колени и не просыпаться
санечка ветер не бойся не бойся я рядом
вот и настала пора нам с тобой расставаться
зимним весенним растаявшим вымокшим садом
Ноябрь 1994

(ПАРИЖ)

росчерк пера на память
во времени жизни
отмеренное пространство
ограниченное
учащенным сердцебиением
ощущением пустоты и унижения
просто идти в толпе
за чьей-то спиной
ни о чем не думая
обмениваться равнодушными
взглядами
касаясь локтями
но чаще просто так
сквозняком дуновением
лезвием между губ
1992, Париж

* * *

от парижа останется только пятно
фиолетовый бледно-сиреневый или
воздух пеной густою выходит в окно
расплываются буквы как будто забыли
взять в кавычки глагол или суффикс потом
чтобы выделить выбросить без промедленья
как шипящие шелест которых с трудом
можно вынести в прозе и стихотвореньи
1992, Париж

ИЗ ЦИКЛА “СНЫ О ГЕРМАНИИ”

Торстену

в ладонях германии возраста воздуха или
жасмина черемухи так что дыханье заводит
растать растратиться если еще не любили
от страха знобит как ножом между пальцев проводит

в ладонях германии чтобы уже не проснуться
еще целовать и губами слегка прикосаться
зажмуриться чтобы потом уже не обернуться
зажаться но так чтоб потом уже не разлюбливаться

но ветер но ветер он кажется пахнет тобою
но марево летнее что наконец наступает
так воздух рифмуется с тенью твоей голубою
сиренью раскрывшейся если такое бывает

рубашку снимая горячее так что обжечься
и тело и семя цветка распустившийся кончик
так брызгает что целовать это значит отвлечься
так сильно любить чтобы за ночь ни разу не кончить

ладони страницы движения и расстоянья
германия мания просто нельзя признаться
ты думаешь или ты смотришь одни расставанья
а я не хочу не умею еще расставаться
4 июня 1994

* * *

я ветром я вербой я веной опухшей
весною распавшейся напололам
тяжелой как будто от крови набухшей
не жизнью уже потому что облом

и все ж сквозняком потому что озноба
уже не хватает уже не могу
забыть или вычеркнуть строчкою чтобы
чернильной расплыться в кармане пальто

а так все равно в одной плоскости глупо
когда за спиной французская речь
и жизнь уже кончится через минуту
как в сгибах протертая карта метро

листвою осенней еще под ногами
холодным дыханием старой реки
хрустящими как папиросы деньгами
дурными весенними снами с тобой
1995, Нью-Йорк

* * *

Памяти Софьи Поляковой

когда уходит голос в тень
звуча прощальнее и глуше
и возле первая сирень
уже не мучает а душит

прошаюсь и смотрю в глаза
хоть нету лучше чем не видеть
уже и шепотом нельзя
уже и голосом не выдать

как от широкого окна
свет на сухой паркет ложится
и неживая седина
от ветра тихо шевелится

я знаю что уже люблю
стараюсь чтобы не знобило
и только каждый вздох ловлю
как будто так всегда и было

под шепот шорох и звонки
трамвая в двух шагах от дома
движение чужой руки
до узнавания знакомо

уже от розовых цветов
тень на лицо ложится влажно
и только я еще не готов
и только мне еще так страшно
1994, Санкт-Петербург

* * *

как хорошо я знаю эту комнату
Кавафис

1

мы конспирируемся так
как будто мы с тобой расстались
вот только что условный знак
свиданья тот же что кавафис

использовал в своем письме
кровать с дверями между окон
шкаф с зеркалом и снится мне
что ты стоишь немножко боком
или лежишь на животе
неловко вывернув колени
в прострации и простоте
как трагик греческий на сцене

2

александрии вечный сон
побелки запах из прихожей
пока возвышен и влюблен
жизнь кажется такой похожей
на эти старые стихи
на эти робкие волненья
на бормотанье чепухи
в предвкусии совокупленья
но штора бьющая в окно
и солнце на постели смятой
и запах моря и вино
и пенье речи непонятной
мне словно говорят собой
что страсть как вздох не иссякает
когда отпущенный судьбой
срок жизни все же истекает
а значит я хочу тебя
в любых годах в любом значенье
почти с безумием следя
за пожирающим влеченьем
уже не плоти а души
прозрачной словно свет из веток
свои стихи как чертежи
всем оставляя напоследок

Мария Голованивская
“ВРЕМЕНА ГОДА” И ДРУГИЕ СТИХИ

ВРЕМЕНА ГОДА

1

Небо цвета загорелой девичьей кожи,
Вечерами сумерки шоколаднее глаз мулатки.
Ветер жарче дыханья, и на синем продавленном ложе
Мучается луна и дробится в дырявой кадке.

Лето липнет к щеке, клеится, льнет как девка
Беспардонно душно, потому что душит, паскуда,
И вонзается в грудь копые, острие без древка
Или просто осколок, рухнувший ниоткуда.

2

Синее. Ласковой синего нету дней.
Осень. С листьями вверх, листьями вниз,
Плавное движение и сразу — сразу видней
То самое, что обнажает стриптиз.

Голое, перед тем, как залечь уснуть,
Мокнет и мерзнет. Хочет и есть, и выть.
Парк живописен. Носом уткнуться в грудь
Утки носатой и с ней по течению плыть...

3

У этой мозаики дней выщерблены цвета,
Глаз отворяй или не отворяй ворота,

Ни бельмеса своим бельмом не различить — мороз,
Боли не пляшет нерв, что ноготь врос, что не врос...

Онемевшее тело — немо — суши мосты,
Путник тупым носом не испишет версты,
И напрасно движение вверх растопыренных рук,
На лету как снегирь-волдырь замерзает звук.

4

Весны, весла, течение, зеленый всплеск.
Лопачущихся, как платье, почек бесстыжий треск.
Трепетанье и щебетанье. Нежность. Еще не до
Жаркого прелюбованья в огнях Лидо.

Только пушисто, не пышно, только едва-едва
Приоткрывается ниша будущего плода,
Странный слюнявый предок, в котором не разгадать
Яблока перспелого, падающего вспять.

* * *

Я не знаю, какие подарки сулит мне движение дней,
Может быть с верху, сияющего пустотой, и видней
Куда приведут линии, запекшиеся на руке —
К морю, что нет солоней, к озеру или к реке.

К протоке, к устью заросшему. Воды ли стоячий хмель
Голову затуманит. Или кормою в мель,
Как в подушку пуховую лобным бельмом уткнушь,
Сбросив на глубине и балласт, и бесценный груз.

* * *

В моем архиве тридцать три несчастья:
Цепочка желтая, не снятая с запястья,
Часы стоящие как грозный часовой,
Давно отбившие разбой, прибой, отбой.

В моем архиве в опустевшей чаше
Не ядов след. И не вина. Но чаще
Паук, измаявшись, в иссохшей паутине
Досматривает сны, и тихо в тине
Карась меняет имя на “пескарь”.
В моем архиве всё, видать, как встарь.

* * *

Мне никогда не подняться до их высоты идей,
Растворяющих взглядом кремний и с ними иже,
Мною прожито здесь одиннадцать тысяч дней,
И я знаю, тем больше кислорода, чем ниже.

Чем ближе к цветку, к раковине, чище чем
Ядовитый солнечный луч, падающий с неба
Прямо в теплый песок. Белизною играя стен
Ослепляет того, кто пришел, кто прошел, но не был.

* * *

Отправляющийся в бедствие, восходящий по рекам слез,
Кланяющийся всем ветрам, продувающим насквозь,
Думающим свою ветреную думу о том,
Кто отправился в бедствие, чей растаял и кров и дом.

Кровью истекший. Сроком истекшим пьян.
Голову потерявший некогда мот, смутьян.
Карточная расправа, в сердце — сто тысяч пик,
Карточная растрava, карточный дом, тупик.

Тройка — что “З”, семерка — виселичный остов,
Черт потрясает в воздухе дюжиною хвостов,
Воды стоячи в бедствии, хоть и открыли шлюз,
Хоть и плывет приветственно черною пикой туз.

* * *

Берег туманный. Лето. Призрачная река.
Видно, седая Лета больше не глубока.
Плеск еле слышный, ветер, выдохшее весло,
Карп зазеркальный рожки корчит кому на зло.

Очередь в поднебесье, вешний исчерпан дух.
В козлы, не к яслям гонит паству свою пастих,
Черт колесницей правит, новая ли заря
Фебу рога наставив, просится за царя

Мрака. Течет рекою ушлый адамов род.
Море ль не по колено, коль через Лету брод?

* * *

Милый ангел, ты так весел,
Ты кого надясь повесил,
Шея хрустнула чья?..
И висит как коромысло
Тень уродливого смысла,
Тень уродливого смысла
Нашей жизни-бытия.

Ирина Муравьева

ФИЛИМОН И БАВКИДА*

ГЛАВА 1

В загородном летнем доме жили Филимон и Бавкида. Солнце просачивалось сквозь плотные занавески и горячими пятнами расплзалось по отвисшему во сне бульдожьему подбородку Филимона, его слипшейся морщинистой шее, потом, скользя влево на соседнюю кровать, находило корявую, сухую руку Бавкиды, вытянутую на шелковом одеяле, освещало ее ногти, жилы, коричневые старческие пятна, ползло вверх, добиралось до открытого рта в черных волосах, усмехалось, тускнело и уходило из этой комнаты, потеряв всякий интерес к спящим. Потом раздавалось кряхтенье. Она просыпалась первой, ладонью вытирала вытекшую струйку слюны, тревожно взглядывала на похрапывающего Филимона, убеждалась, что он не умер, и, быстро сунув в разношенные тапочки затекшие ноги, принималась за жизнь.

Она хлопотала и торопилась, потому что к тому моменту, как он проснется, нужно было приготовить завтрак, сходить за водой, вымыть террасу — грязи она не терпела. Питьевую воду набирали из колодца, а та, которая шла из садовых кранов, считалась недостаточно чистой, поэтому ею только умывались, мыли посуду, стирали. Ночью был сильный дождь, глинистые дорожки скользили. Боясь упасть, она осторожно ступала надетыми на босу ногу резиновыми галошами, перегнувшись на правую сторону, где вспыхивала от ее неловких движений ледяная прозрачная вода в узком и высоком эмалированном ведре.

“Женя! Евгений-Васильна! — дребезжал Филимон. — Который час?” Она приотворяла дверь с террасы: “Да десять уже, Ваня. Вставай. Прошла голова?” “Померяй-ка лучше, — прокашливался Филимон, — а то кто его знает...” “Береженого Бог бережет”,

* Филимон и Бавкида — герои одноименной повести Овидия — муж и жена, дожившие до глубокой старости в идиллической любви и согласии. (Прим. автора.)

— успокаивала она и, присев на краешек постели, охватывала его руку черным резиновым рукавом измерительного аппарата. Оба затаивали дыхание. Бульдожий подбородок Филимона мелко дрожал от слабости. “Ну, вот и хорошо, — облегченно вздыхала она. — Вот и молодец. Сто сорок на восемьдесят. Иди чай пить. Скоро Аленушку привезут”.

Три года назад младшая дочь Татьяна родила большое бледное дитя. Татьяна была не замужем, и долго никто не обращал на нее внимания — до того она походила на отца, вся в его бульдожью породу. Но вот, наконец, съездила в туристическую по Венгрии и Чехословакии, и вернулась оттуда беременной.

“Он у меня женится, мерзавец! — грохотал Филимон. — А не то в порошок сотру! Полетит из органов, сукин сын! Куда Макар телят... Ишь, распоясылись!”

Но время шло, Татьяна так и жила нерасписанной, таскала свой острый живот на предзащиту, стучала ногами на машинке, пропадала в библиотеке, а за месяц до родов получила-таки кандидатскую степень и место старшего преподавателя в Политехническом институте. Это, наверное, заставило призадуматься работника органов с небольшой ранней лысиной и аккуратным лицом, который, хоть и не женился, но не избегал ее, иногда ронял сквозь каменные губы нерешительные предположения о трехкомнатном совместном кооперативе и на второй день после рождения ребенка принес в роддом кулечек подтаявшей маслянистой клубники.

Девочку называли Аленушкой, и чем старше она становилась, тем меньше подходило ей это сказочное длинное имя. Обезумевшая от материнских инстинктов Татьяна раскормила бедную Аленушку до подопытных размеров. В три года она выглядела на шестилетнюю, и вещи ей приходилось покупать в той секции “Детского мира”, где было написано “Одежда для младших школьников”. С песнями, причитаниями, игрушками, книжками, колотушками усаживали за стол плотно обернутое салфеткой мучнистое, с огромными бантами, создание и заталкивали в упирающийся рот булки с паюсной икрой, куски молодой телячьей печенки, черную смородину, тертую с сахаром, заливали густым морковным соком. Спеленутая салфетками Аленушка пробовала сопротивляться, кричала басом, колотила плотными ножками по высокому детскому стульчику. “А вот летит, летит, летит воробышек, — умоляла Татьяна,

— а вот мы его сейчас — ам!!” Аленушка, давясь, вырывала съеденное, и тут же ее умывали, переодевали в чистое для младших школьников, дрожащими руками мазали новую икру на новые булочки, пронзительной машиной давили бугристую рыночную морковь...

“Вставай, Ваня, — говорила Бавкида. — Сегодня Аленушку привезут”.

“Ну? — радостно ужасался Филимон. — На рынок, значит, надо, а, Жень?”

“Сходим, сходим, пока жары нет. Или ты дома оставайся. Я одна”.

“Да чего одна? Я с тобой, — дребезжал он. — Э-хе-хе...”

Она следила, чтобы он не забыл принять все свои лекарства, закапывала в его мутные выпуклые глаза заграничные капли, лезла под кровать и, расставив огромные растрескавшиеся пятки, долго шарила там в поисках его закрытых башмаков на микропорке. Вместе шли они на рынок, и так же, как он, она суетливо здоровалась со знакомыми, хвалила хорошую погоду, расспрашивала про здоровье, лестила чужим детям в колясках, и даже посмеивалась так же, как он: “э-хе-хе, хе-хе...”

Иногда на Филимона находили приступы ярости. Она пугалась их, потому что каждый такой приступ мог кончиться insultом. Поселковые мальчишки ломали рябину, сидя верхом на чужом заборе. Филимон набухал лиловой кровью и бросался на забор с высоко поднятой палкой, украшенной тяжелым медным набалдашником: “Я вас сейчас! Хулиганье поганое! Убью сволочей!” — хрипел он. Она сзади хватала его за локти: “Пойдем, Ваня! Брось ты их! Ва-а-ня!” Тяжело отдуваясь и дыша со свистом, Филимон продолжал свой путь к станции, медленно успокаиваясь: “Ну, сволота! Ну, погань! Перестрелять не жалко!” И опять она поддакивала: “Да уж, конечно... Мараться об них... Себя бы поберег!” “Порядка нет, Евгений-Васильна! — грустнел бледно-лиловый от недавнего гнева Филимон. — Потому такое поведение, что ни в чем нет никакого порядка... Распустились...” “Молчи ты, Ваня, — пришептывала она и тут же улыбалась кривой лицемерной улыбкой: — Ты смотри, кого мы встретили! Сколько лет, сколько зим!” “Э-хе-хе, — обмякал Филимон, смешно приседая от косноязычного умиления при виде очередного знакомого с колясочкой. — Вот, значит,

кто нас опередил! Нам, поди, и смородины на базаре не оставили? Э-хе-хе...”

После обеда к дачному забору подъезжала ведомственная машина. Нерасписанный зять помогал доставить Аленушку к деду с бабкой. Из машины вылезала худая с тяжелой челюстью и ярко-белыми ломкими волосами Татьяна, изнемогая под тяжестью заснувшей дочери. Они кубарем скатывались с лестницы ей навстречу. “А вот и наши, а вот и наши, — сюсюкал Филимон. — Давай, Женя, на стол накрывай. Вот и приехали. Внушеньку дедушке привезли...” Пообедав, уставшая Татьяна в открытом сарафане собирала ягоды или качалась в гамаке с газетой, а они наполняли водой пластмассовую ванночку, выставляли ее на солнце и вдвоем, стучаясь сгорбленными плечами, купали в ней пузатую, перекормленную Аленушку, которая, выпучив голубые глаза в небо, расплескивала мыльную воду своими пухлыми неповоротливыми руками. Вечером Татьяна, подчеркнув брови и густо намазавшись розовой помадой, торопилась на электричку, а они оставались с Аленушкой. Тогда Филимон начинал читать ей сказки: “Я б для батюшки царя родила богатыря”, — бормотал он, сам засыпая и монотонно покачивая детскую кроватку. Аленушка громко икала. “Ай, беда какая, — сокрушался Филимон. — Водички ей, Женя, малиновой водички внушеньке...”

Наикавшись и наглотившись малиновой воды, Аленушка засыпала. Филимон разворачивал газету. Она думывала посуду узловатыми плоскими пальцами. Усталость одолевала ее, и в голову лезли мысли о том, что завтра нужно опять пойти на базар (забыли купить ревеня — у Филимона нелады с желудком!), перестирывать все Аленушкины маевки, вымыть наверху комнату, потому что в пятницу Татьяна может приехать не одна, а с уклончивым нерасписанным зятем, и тут уж надо в лепешку разбиться, но обеспечить им семейный уют, и вкусный обед, и чистое, лоснящееся, сытое до икоты дитя, чтобы у нерешительного мужчины с ранней лысиной и каменными губами появилось твердое ощущение, что вот это и есть его дом, дача, жена и дочь.

“Нет, — хрипел Филимон, грозя куда-то в газету седовласым дрожащим кулаком. — Нет, при хозяйне бы такого не было! Перестреляли бы всех к такой-то матери!” Возводил закапанные загра-

ничным раствором мутные глаза на небольшой портрет в траурной рамке. Большеносое, черноусое лицо, снизу подпертое жестким воротником военного френча, ласково и коварно шурилось на Филимона. “Эх-хе-хе, — вздыхал тот, успокаиваясь, — эх-хе-хе, Евгений-Васильна...” И тут же понижал голос: “Женя, я думаю, сообщить бы надо, что еврей этот иностранные газеты достает и читает — это раз, а самое-то главное — “голоса” ловит. С ихнего балкона все слышно. Меня не проведешь! Сообщить бы надо, Евгений-Васильна...” Она насухо вытирала чистым полотенцем растопыренные пальцы: “Себя побереги, Иван Николаич! Ты свое отслужил! Куда теперь сообщать?”

В глубине души ей казалось, что в свое время Филимон допустил промах, слишком рьяно отстаивая ценности комсомольской юности и не соглашаясь на признание каких бы то ни было ошибок известного периода. Его фанатическое упрямство и привело к тому, что сейчас, в старости, у них не было персональной машины с шофером, приходящей прислуги, дачи в Барвихе. Была, правда, однокомнатная квартира в доме на Кутузовском, была хорошая пенсия, ведомственная поликлиника, заказы два раза в месяц. Но у других-то, помельче Филимона, не имевших за спиной долгие годы ответственной работы в ЦК Узбекистана, у других-то было больше! И она жалостливо смотрела на своего честного неггибаемого старика, уткнувшегося в газету под портретом большеносого покойника, и думала, что, конечно, он опять прав: сообщить-то надо бы, но времена наступили такие, что и не знаешь: куда сообщить? Кому? Как бы не засмеяли...

“Спать ложись, Ваня, — уговаривала она. — Аленушка может ночью проснуться. Не выспимся... Завтра на рынок с утра. У меня обеда нет... Ты с ней на полянке побудешь, пока я управлюсь...” Кряхтя, укладывались на кровати, застеленные одинаковыми шелковыми одеялами. Филимон сразу же начинал посвистывать коротким свирепым носом. Она еще поправляла подушку под Аленушкиной головой, проверяла, выключен ли газ на кухне, закрыта ли на замок входная дверь. Опять ложилась. Луна, просочившись сквозь щель занавески, лизала ее съехавшую набок щеку с черным кустиком длинных волос. Из сада тянуло жасминовой свежестью. Соловей, дождавшись своего часа, разрывался где-то между землей и небом. Под его неутомимый голос она засыпала.

В одну из таких ночей ее разбудило тонкое бормотание. Она в страхе открыла незрячие еще глаза, села на постели. “Убь-ю-ю-ю, ай-я-я-я! У-ю-ю! Кыш! — бормотал тоненьким дробным голосом Филимон, делая странные разрывающие движения слабыми белыми пальцами. — Убью-ю-ю-ю сво-о-а-та-а-а!” “Ваня!” — вскрикнула она и подбежала к нему. Лицо его было ярко-багровым, веки плотно зажмурены. “Иван Николаич!” — не соображая, что делает, она затрясла его за плечо. Багровый Филимон раскрыл бульдожий рот с коротким мясистым языком, который сразу вывалился наружу, как будто его оторвали. Тогда, сунув босые ноги в резиновые калоши, она, как была в байковой ночной рубашке, простоволосая, выбежала на улицу и, задыхаясь, побежала по черной дороге вниз, к сторожке, где был единственный на весь дачный поселок телефон. Через час два санитары заталкивали в машину накрытое белой простыней короткое тело со свистом дышащего Филимона, а она, сжав обеими руками большую отвисшую грудь в байковой ночной рубашке, объясняла им, что не может ехать с мужем в больницу, не с кем оставить внучку. Вернувшись в полную черной серебристой тьмой комнату с открытым в жасминовые заросли окном, она села на развороченную постель, с которой только что унесли багрового старика, и тихо, сдержанно всплакнула. Слезы были какие-то неосознанные, почти механические: жалко же его. Умрет, не дай Бог. Всю жизнь вместе. Готовые фразы отпечатались в ее голове, словно кто-то написал их жирным шрифтом: Умрет, не дай Бог. Жалко его. Всю жизнь вместе. Аленушка проснулась и басом заплакала. Она, надрываясь, взяла ее на руки: “Нельзя, нельзя плакать. Дедушка заболел. Жалко дедушку”. Аленушка икнула оглушительно и затихла. Утром приехала на такси Татьяна, осталась с ребенком, а она помчалась в Кремлевскую больницу, где в паутине трубочек плавился на кровати слегка побледневший Филимон, узнавший ее и с трудом пошевеливший своей заросшей седой шерстью короткой рукой. Посидев с ним полчаса, одернув простыню, обтерев влажным теплым полотенцем его утыканное редкими волосками бульдожье лицо, она с бьющимся сердцем поплелась караулить в коридоре лечащего врача, чтобы услышать от него, что Филимон не безнадежен, инсульта как такового нет, и надо надеяться, что он пойдет на поправку. У нее отлегло от сердца, и весь этот жаркий июль она провела в городе, каждый день

таскаясь на троллейбусе сначала на рынок, а потом в больницу, ночами варила ему диетические супы, протирала куриную печенку, не доверяя даже Кремлевке и проборматывая про себя, что домашнее всегда лучше. Как-то раз, сидя у его постели, она вдруг задремала, уронив худую голову с пегим пучком волос на затылке. Во сне ей показалось, что она сидит на каких-то нарах в раскаленном, полном голых женщин бараке, и причесывается. Приснившееся было так нелепо и страшно, что она тут же и проснулась со слабым старушечьим стоном. Перед ней лежал румяный Филимон в красной домашней пижаме и с аппетитом ел толстыми волосатыми пальцами принесенную ею клубнику. Спросонья ей показалось, что он порезался, что пальцы его в крови, и она испугалась. Но почти выздоровевший Филимон вдруг подмигнул ей правым, недавно избавленным от катаракты глазом, и спросил: “А помнишь, Евгений-Васильна, как я за тебя посватался?” Она затрясла головой, засмеялась, прикрыв ладонью заросший черными волосами рот, и сквозь смех ответила: “Да кто это помнит! Сколько лет-то прошло? Пятьдесят почти! Вот уж опомнился!” “Да как! — и Филимон облизал сладкую клубничную кровь с большого пальца. — Э-хе-хе... дай, думаю, на ентю черненькой поженюсь! И поженился! Помнишь, Жень?” Она тихо колыхалась от какого-то щекочущего блаженного смеха: “И поженился? Греховодник ты старый, вот что! Только что вылечили и тут тебе такие разговоры! Лежи тихо! Может, яблочко натереть? У меня и терка с собой, дома не стала, хотела, чтоб свеженькое...” “Да-а-а, — не слушая ее, продолжал Филимон. — И поженился! И свадьбу сыграл! И увез енту черненькую за моря, за горы, в глубокие норы! Э-хе-хе-хе...” Она достала из сумки терку, стала было тереть ему яблочко, и вдруг опять заснула, уронив голову. И опять голые женщины обступили ее в раскаленном бараке.

Прошло больше года. Дачный сезон подходил к концу, хотя дни стояли жаркие, полные солнца. В воскресенье утром она поднялась совсем рано, нагрела ведро воды и почему-то понесла его за сарай, в глухие крапивные заросли. “Вот здесь и помоюсь”, — сказала она себе, начисто забыв, что у нее есть собственная банька, выкрашенная голубой пронзительной краской. В баньке вчера парился Филимон. Она стегала его веником по красной сгорбленной спине с

большими, угольно-черными родинками, а он, придерживая ладонями мохнатый седой живот, приказывал: “Поддай жарку, Евгений-Васильна! Жарку не жалей!” “Да куда тебе жарку, Ваня, — образумливала она его, босая, в сатиновом полузастегнутом халате, вытирая сгибом руки градом катившийся с лица пот. — Ты про давление свое подумай! Жарку...” “О-хо-хо! — рыкнул коротенький, лопающийся от густой крови Филимон и отпустил свой живот на свободу. — Давление у меня в порядке. От бани русскому человеку одно здоровье, больше ничего!” Он облокотился руками на лавку, повернувшись к ней спиной, чтобы она еще постегала его веником и смыла остатки мыльной пены. Ей вдруг стало тошно от этой красной сгорбленной спины с угольно-черными родинками, расставленных кривых ног в редких прилизанных волосах, хлопьев пены на ягодицах... “Что-то мне душно здесь, Ваня, — пролепетала она. — Вытирайся, да пойдем чай пить. Аленушку пора укладывать...” “Душно? — струсил Филимон. — Чего тебе душно? Пойдем, пойдем, раз такие дела...” Пили чай на террасе: она, Филимон и Татьяна с Аленушкой. В саду с мягким шелестящим звуком срывались с веток и падали на землю яблоки. Каждое падение заставляло ее вздрагивать. На столе образовалось круглое пятно света от низко висящего розового абажура, доставшегося им от прежних хозяев дачи. В этом пятне светились мокрые зернышки красной икры, белый хлеб с большими дырками, крупно нарезанный яблочный пирог с золотыми, местами подгоревшими боками. Голос Татьяны, уговаривающий Аленушку допить сливки, звучал подобно утиному криканию. Аленушка давилась над стаканом и выпускала изо рта сливочные пузыри. “Ай-яй-яй, — прокрикала Татьяна и голой костлявой рукой вытерла Аленушкин подбородок. — Вот бабушка сейчас наши сливочки — ам! Вот придет чужая нехорошая девочка и наши сливочки — ам!” Аленушка задышала тяжело, как лягушка, и ее слегка вырвало на кружевную грудку. “О-ох! — задрезжал Филимон. — О-ох, внушенька... Давай, Женя, тряпочку! Внушеньку опять...” Она было побежала в кухню за тряпкой, но вдруг остановилась от страха: прямо на ее глазах раздувшееся животное с лиловыми, трясущимися щеками лезло на другое животное, поменьше, с выпученными глазами и огромным зеленым бантом в голове, делающим его похожим на лягушку. Между этими двумя суетилась голая костлявая рыба с расходящимися во все стороны ребра-

ми и вставшими дыбом ломкими волосами. Рыба при этом оглушительно крякала и разевала узкий голый рот с обломками белых костей внутри. Она прислонилась к притолоке и зажмурилась. Голова медленно и торжественно зазвенела как пасхальный колокол. “Давай, Женя, тряпочку, — угрожающе произнес знакомый голос. — Тряпочку нам давай. Ты чего?” Она открыла глаза. В круглом пятне абажурного света сидели и смотрели на нее складчатый, красный после бани Филимон, голая до ключиц бескровная Татьяна и насосавшаяся сладких жиров замученная огромная Аленушка с бело-розовой рвотой на кружевной грудке. Она спохватилась, нашла тряпку и, почему-то дрожа от страха, подала ее Филимону. Их руки слегка столкнулись. Ей показалось, что он сейчас ударит ее, показалось, что в руке его лежит острое, вспотевшее, чем он сейчас перережет ей вены. Она быстро отступила и заискивающе улыбнулась. Татьяна подхватила Аленушку и побежала умыть ее на кухню. Филимон протянул ей обратно ненужную тряпку. “Эхе-хе, хе-хе, — пробормотал он и, уже не прячась, погрозил ей маленьким острым ножом. — Эхе-хе-хе, Евгений-Васильна...”

Ночью она почти не спала. Вставала, подходила к окну, смотрела на скользкую, еле держашуюся на небе, переполненную соком луну. На громко храпящего Филимона боялась даже оглянуться. Казалось, что несмотря на громкий храп, он наблюдает ее из темноты открытыми зелеными глазами. Под одеялом было немного спокойнее. Одеяло было защитой, крепостью. Но как только она заворачивалась в него, глаза сразу же начинали слипаться. А спать было нельзя. Филимон только и ждал, чтобы она заснула. Для чего? Она и сама не знала. То ей начинало казаться, что он не только не убьет ее, но, напротив, полезет к ней в кровать ласкаться (“сказал поженюсь и поженился” — вспоминалось ей), и надо будет тихо лежать под тяжестью его большого мохнатого живота, то казалось, что он выгонит ее на улицу, чтобы она сторожила их дом вместо цепной собаки (какое-то воспоминание, связанное с цепной собакой, мучило ее, но она не понимала, какое!), то — и это было самое страшное — она почти чувствовала прикосновение его маленького острого ножа с налипшими на него волосками...

На рассвете она надела халат и начала беззвучно бродить по дому. Вошла в детскую комнату. Вместо Аленушки на кровати лежала мертвая разбухшая кукла и притворялась спящей. Кукла не хо-

тела превращаться обратно в человека, не хотела расти, потому что знала, что ее ждут одни несчастья и насмешки. И она, ужасаясь, пожалела ее и погладила по холодной голове своей закапанной старческими коричневыми пятнами рукой. Потом, крадучись, поднялась наверх по скрипучей узкой лестнице, остановилась перед дверями, за которыми спали Татьяна и приехавший вечером на электричке аккуратный несговорчивый зять. Сначала ей послышалось хрипенье. Потом — булькающий звук женского горла, напоминающий какое-то плавное “рл-нрл-рл-нрл”. Она поняла, что зять душит или уже задушил Татьяну, но ей было страшно вмешаться, и она решила еще постоять и послушать. “Рл-нрл-рл”, — пробормотала Татьяна. Ни одного слова она не поняла, хотя Татьяна произносила их довольно громко. Зато тихие ответы зятя не только разобрала, но и сразу почему-то запомнила. “С любой в принципе женщиной можно получить физическое удовольствие, — отдельно произнес зять и что-то перекусил, шелкнув зубами. — В принципе, я считаю, с любой. Но можно ли с любой женщиной остаться жить семейной жизнью — это большой и большой вопрос. Принципиальный, я считаю”. И он опять что-то перекусил. Татьяна гулко крикнула в ответ. “Я в принципе не собираюсь уходить от этого разговора, — продолжал зять. — Потому что время само за себя говорит. И если я буду уверен, что в моем доме весь порядок будет подчиняться моим принципиальным требованиям, то я готов хоть завтра начать думать по поводу этого решения”. Он еще немножко подушил ее, потому что Татьяна опять хрипнула. “Мы в принципе можем расписаться, если этот шаг не отзовется в моей жизни беспорядком и неповиновением”. Из Татьяниного горла полилось “рл-нрл-рл”, и тогда зять сказал “Согласен”, и они оба замолчали. Не выдержав, она тихонько приотворила дверь, заглянула в образовавшуюся щелку. Зять с висящей на боку длинной прядью волос, которую он днем зачесывал через голову, чтобы закрыть лысину, лежал на бескровной Татьяне и несильно душил ее, то приподнимаясь, то опускаясь. Ее приближения они не заметили и, голубоватобледные от наступающего утра, продолжали свой разговор. Все это вызвало у нее смешанное чувство ужаса и отвращения, хотя в глубине души вспомнилось, что когда-то она сама желала, чтобы Татьяна и этот человек вот так лежали по ночам в вымытой ею комнате. Сдерживая громкое дыхание, она спустилась вниз, забра-

лась под одеяло и крепко заснула. Проснулась очень скоро, лихорадочно вскочила, нагрела на кухне ведро воды и пошла за сарай, в глухие крапивные заросли. “Вот здесь и помоюсь”, — сказала она себе и начала торопливо раздеваться. Раздевшись догола и распустив по плечам жидкие пегие волосы, она начала осторожно поливать себя водой из темно-синей в белых крапинках кружки. Вода была слишком холодной, и все ее тело покрылось мурашками. Потом взяла кусок хозяйственного мыла, быстро, крепко намылилась и опять зачерпнула воды из ведра. “Женя! — послышался где-то совсем близко дребезжащий голос Филимона. — Евгений-Васильна! Ты куда запропастилась?” Она в ужасе опустилась на корточки, вжала голову в задрожавшие колени. Лопухи и крапива скрывали ее от него. Земля закачалась от приближающихся шагов. Филимон шарил в траве большой палкой с тяжелым медным набалдашником, разыскивая свою Бавкиду. Бавкида, раскорячившись, сидела на земле в сизой пленке хозяйственного мыла. Зубы ее стучали от страха. Она поняла, что он зашел за сарай и сейчас увидит ее. Тогда она беззвучно сказала себе: “Спаси и пронеси, Господи!” и отползла прямо в крапиву, не чувствуя ожогов. В пяти шагах от нее стоял маленький лиловый Филимон в летней белой панамке, белой ночной рубашке, туфлях на босу ногу. Он не видел ее своими мутными больными глазами. “Женя! — пробормотал он, волнуясь. — Да где ж она подевалась!” Потом он снял со стенки ключ и начал открывать сарай. Она вспомнила, что это был лагерный барак, а никакой не сарай, что сарай это просто так, для отвода глаз, чтобы дачные соседи не приставали с расспросами, а на самом деле они только что приехали в Узбекистан из Москвы, и Филимон заступил на место начальника женского лагеря. Она вспомнила, что осталась одна с только что родившейся Ларисой, что у нее пропало молоко за время переезда, что она нагрела воды в большом чугунном чане, потому что Ларису надо искупать и самой помыться. Дом, который для них предназначался, был еще не готов, и поэтому они поселились временно в маленьком, летнем, свалив все свои чемоданы прямо в угол. Филимон уже распорядился, чтобы того, кто был ответственен за их прием и жилье, как следует пропесочили, и велел ей перетерпеть несколько дней. Приехали они вчера, она измучилась от криков голодной дочери, от наступившей мигрени, которая, бывало, наваливалась на нее и не отпускала по целым неде-

лям. Их встретили на станции, повезли в дом к какому-то жирному, словно перевязанному невидимыми ниточками поперек жира, узбеку, там усадили на пуховые перины прямо на пол, кормили жирным пловом, поили вином и горячим чаем, узбек улыбался улыбкой, похожей на опрокинувшийся месяц, и на груди его торопливо звенели медали. “Да-а, — ложась спать, сказал ей Филимон, растягивая в зевоте бульдожьей челюстью. Да-а... наведу я им порядок. Распоясылись”.

Он постоял еще немного, пошарил палкой. Потом снял свою панамку и вытер ею глаза. Она никогда не видела, чтобы он плакал. “Женя, — всхлипывая, сказал Филимон. — Ты где? Что ты меня пугаешь?” Подбородок его мелко задрожал. Она поняла, что он притворяется, желая вытащить ее из крапивы. “Нет уж, хватит, — пробормотала она самой себе. — Нет уж, ты у меня покрутишься...” Филимон повернулся и, всхлипывая, ушел в дом будить Татьяну и зятя. А она, пригибаясь, переползла к той части забора, где была большая, заставленная фанерными щитами дыра, и вырвалась на свободу. Прямо за забором начинался еловый лес.

“У меня никто не убежит, — сказал Филимон и стукнул по столу волосатой рукой. — Здесь лесов нет! Бежать некуда! Чтоб завтра были на месте!” Она, перемывая посуду, одобрительно кивнула. Филимон песочил стоящего перед ним угреватого человека в форме. Обжигаясь, ел приготовленный ею борщ — хороший, густой, кровянистый борщ, в котором плавали кусочки желтого жира. Человек в форме смотрел в его тарелку злыми затравленными глазами. “Понял меня? — прохрипел Филимон, опрокидывая в рот рюмку и переводя дыхание, словно он только что вынырнул со дна реки. — Все. Можешь идти”. Она вытерла руки чистым полотенцем, под села к нему: “Кто убежал-то, Ваня?” “Две суки. Еврейка одна и русская. Вчера еще. Найдут. Ну, уж я их пропесочу! Запомнят меня! — Его ясные голубые глаза навывкате налились кровью. — Ну, уж запомнят!” Ребенок заплакал в соседней комнате. Она пошла туда и вернулась. “Зубик-то ты наш видел? — пропела она. — У Ляли второй зубик прорезался!” “Ишь ты, — одобрительно хмыкнул Филимон и потрепал ее по руке. — Зубик, говоришь... Поглядим...” Они постояли над детской кроваткой, полюбовались

на маленький беличий зубик в детском ротике. “Ишь ты, — повторил Филимон и нахмурился. — А одна-то из этих стерв брюхатая ушла. Беременная, мне доложили. На шестом месяце”. “Ну? — удивилась она. — Ребенка, значит, даже не пожалела. Сама пропадет и его погубит. Мать тоже мне!” “Пойдем, Женя, прокатимся! — зевнул Филимон. — Заворачивай девку. Ветерком подышим!” Он сидел впереди, рядом с шофером. Она сзади. Степь была покрыта темно-красными маками, горела огнем. “Ишь ты, — сказал он, оборачиваясь к ней и улыбаясь во всю ширину челюсти. — Помнишь, как в Большом в царской ложе сидели? Такой же, вроде, цвет...” Ночью он навалился на нее своим сытым мохнатым животом. Она угодливо, боясь разонравиться ему, притворно-радостно задыхалась. “Ты моя чернушечка, — засыпая пробормотал он через несколько минут. — Ишь ты... Убью сук. Сказал — и убью. На дереве повешу. Распоясылись...”

К полудню ее нашли и привели домой. Она покорно вышла из леса — голая, вся в багровых крапивных ожогах, безжизненно опустив свои большие, плоские от работы руки. Зять с одной стороны и веснушчатый милиционер с другой нерешительно подталкивали ее к калитке, и милиционер, хмурясь, делал неловкие движения, стараясь как-то заслонить ее, хотя, по счастью, именно в этот момент на аллейке никого не было, кроме прислонившейся к забору бескровной Татьяны, которая при виде появившейся матери затряслась, как в ознобе, и стала стаскивать с себя кофту. “Тут такое дело, — сказал хмурившийся милиционер, не глядя на Татьяну. — Тут, я понимаю, медицинская помощь нужна. Дом для умалишенных. Или еще что-нибудь. Но мы тут вам не подмога”. “Мама, — прыгающими губами выдохнула Татьяна. — Ты чего?” “Незачем в принципе задавать ненужные вопросы, — отчетливо сказал зять и разозлился. — Нужно ввести ее в дом”. Она услышала то, что он сказал, и затрясла головой: “Сама войду, сама войду, — залопотала она. — Обедать пора, сама, сама...” Поддерживаемая Татьяной, поднялась по ступенькам террасы и в дверях увидела Его. Толстый, испуганный Филимон глядел на свою голую, растрепанную, в красных пятнах по всему телу Бавкиду и пятился, оседая и закрывая лицо волосатыми руками. Бавкида подавилась от ужаса и чуть не упала. Зять и Татьяна подхватили ее. “Папа! — истериче-

ски крикнула Татьяна. — Дай ей одеться! Дай что-нибудь! Нельзя же так!” “Сейчас, сейчас, — засуетился Филимон, оседая и пятясь. — Что же это такое, батюшки мои!” Он стащил с вешалки какой-то старый плащ и осторожно, боясь дотронуться до голой старухи, передал его дочери. Татьяна дрожащими руками натянула на нее плащ и, плача, сказала: “Что делать-то будем?” “Увезти, увезти, — испуганно задрожал Филимон. — Как же так? Лечиться надо. Врачи, они свое дело знают... Лечиться надо... А то что же... Заболела наша бабушка... Беда-то...” Вдруг Бавкида упала на колени перед Татьяной. Зять не успел подхватить ее. “Служить вам буду. Ноги твои мыть буду. Не прогоняй.” “Ма-а-ма! — разрыдалась Татьяна. — Господи! Иди в комнату, ложись. Спи. Мама!” Стуча зубами, она вошла в комнату и, не снимая плаща, забралась в постель. “Сплю, сплю, — забормотала она. — Непорядок какой... Сплю.”

Филимон плакал и вытирал трясущиеся бульдожьи щеки седыми кулаками. “Ты уж тогда меня-то хоть отвези в город, — умолял он Татьяну. — Или уж вы, Борис, окажите милость, помогите до Москвы престольной добраться. Я с больным человеком в одном доме находиться не могу. Мне вид ее может спазмы сосудов вызвать”. “Папа, — рассудительно говорила взявшая себя в руки Татьяна. — Горячку не надо пороть. Понаблюдаем ее пару дней. Я все равно здесь. Боря здесь сегодня и завтра. Жалко же. Может, это минутное помешательство, возрастное”. “В принципе может такое быть, — подтвердил зять. — Мне говорили, у нас в отделе у одного товарища был такой же эпизод с теткой. Прошел в принципе бесследно...”

ГЛАВА 2

“Можно я, Ваня, дома останусь? — прошептала она сквозь сон. — Дети нездоровы, и я какая-то...” “Нет, — ответил Филимон. — Нельзя. Обязана быть на концерте. Все начальство будет. И чтобы без фокусов”. Зал был переполнен. Они сидели в первом ряду. На сцене, украшенной флагами и цветами, в три ряда стояли женщины в белых халатах. Во сне она вспомнила, что это было особой гордостью Филимона, его изобретением: шестьдесят новых больничных халатов доставили в лагерь за неделю до концерта. Мертвые жен-

щины, одетые для погребения, во всем белом и чистом, разевавая гнилозубые рты, пели громкими голосами: "...и танки наши быстры..." Филимон морщился от удовольствия, хотя нижняя половина его лица сохраняла свое обычное свирепое выражение. Допевшие песню покойницы по команде повернули налево и, шаркая ногами в войлочных больничных тапочках, пошли за кулисы. Зал зааплодировал. Потом на сцене появились три другие женщины, не участвовавшие в пении, в тех же белых халатах, с большими макowymi венками на головах, отчего казалось, что из волос у них рвется пламя, и вручили приехавшему начальству огромную вышитую подушку с красным шелковым обещанием посередине: "Честным трудом на благо Родины заслужим прощение партии и народа!" Сон прятал от нее того, кто вместе с Филимоном поднялся по ступенькам. Она ощущала только само слово "начальство", и постепенно ей стало казаться, что Филимон поддерживал волосатыми пальцами шершавое и темное, в скрипящих сапогах, не имеющее ни лица, ни тела. Начальство протянуло что-то вместо руки, чтобы взять подаренную подушку, и тут одна из покойниц с красным огнем в волосах плюнула ему в лицо. "Сволочь! — кричала покойница, которую уже уволакивали, торопливо, на ходу избивая. — Сволочь!" Ей зажали рот, но она успела еще выкрикнуть сквозь кровь и пену: "Пропадите вы все пропадом! Сволочь!"

Страшно было смотреть на Филимона, сидящего рядом с ней в первом ряду и ждущего окончания концерта. Каменный и неподвижный, он уже не аплодировал, не морщился. Зубы его тихонько скрипели. Потом повернул на нее невидящие глаза: "Домой поедешь одна. На ужине тебе делать нечего". "А ты?" — кутаясь в плащ, натянутый Татьяной на голое, обожженное крапивой тело, прошептала она. "Что я? — переспросил Филимон и сжал бугристый черный кулак. — У меня дела есть".

В доме хорошо и вкусно пахло пловом, виноградным вином, свежим хлебом. Старуха-узбечка, из местных, поклонилась ей, шепотом сказала, что дети давно спят. Она сбросила на ковер надоевший плащ, вытянулась на кровати, закрыла глаза. Ночью пришел Филимон. От него резко, удушливо пахло потом. "Ну, — спросила она и села на перине. — Нашли Аленушку?" "Приказываю расстрелять, — ответил Филимон и раскрыл в зевоте тяжелую челюсть. — Саботаж в пользу иностранной разведки. Враг действовал в ус-

ловнях лагеря. Распоясылись... — Он поставил к стенке новые блестящие сапоги, почесал под рубашкой живот. — Запомнят меня, так-то...”

“Как она проснется, ты меня предупреди, — трусливо прошамкал Филимон и спрятался за большой, голубой, в красных цветах чайник. — Не могу ее видеть. Пока не убедимся. Нет уж, дудочки... Болезнь болезни — рознь... Умереть не дадут спокойно... Что за дела?”

Татьяна подошла и наклонилась над ней. На Татьяне был белый больничный халат. Маки в волосах давно почернели и высохли. Запах плова и свежего хлеба шел от ее наклонившегося тела. “Мама! — сказала Татьяна. — Лучше тебе?” “Аленушка-то где? — вдруг схитрила она, вспомнив, как зовут ту маленькую женщину с бантом в голове. — Полдничать пора. Скажи, чтоб ей ягод нарвали”. При слове “ягоды” ее слегка затошнило, но она справилась, виду не подала. “Скажи, чтобы нарвали, а то я на вас всех жаловаться буду. Есть куда, слава Богу. Не в пустыне живем. Голодом мучаете ребенка...” Татьяна испуганно вздохнула и вышла на террасу. Филимон и зять посмотрели на нее. “Лучше, — неуверенно сказала Татьяна. — Поспала. Приходит в себя”. “На все время нужно, — согласился зять. — Конечно, мы вас с потерявшим рассудок человеком не оставим. Хотя в принципе, это немалые хлопоты...”

Ночью она проснулась и поняла, что это последняя ночь перед свадьбой. Завтра они поженятся. Руки у него железные, крепкие. Когда он пару дней назад схватил ее за грудь, она еле перевела дыхание от боли. Что же, мужчина. Они все такие. За этим, по крайней мере, как за каменной стеной. Боль и потерпеть можно. В деревне у него мать и сестра. Сам до всего дошел, сам образование получил. На таких земля держится. И власть советская. И все, чего мы добились, на таких держится. А грудь так просто не оторвешь. Она засмеялась в темноте. Посидела, подумала. И вдруг поняла, что ей надо сделать. Завтра он проснется и первым делом выпьет свой кефир, купленный на станции. Каждое утро он пьет кефир со смородиной. Это до завтрака. Потом уж они завтракают вместе. Аленушку кормят в четыре руки, в две глотки. Песни и сказки — до хрипа. Так вот в этот кефир лучше всего и высыпать. Сразу высыплю, никто не догадается. И никакой свадьбы. Татьяна

с Аленушкой проснутся, все уже сделано, завтрак давно на столе. А он ушел. Куда ушел? Откуда я знаю? Ушел и все. До сих пор грудь ломит. Вот ведь какой грубый. Зато жизнь прожили — дай Бог всякому. А высыпать все-таки надо. Потому что страшно. Главное, что страшно. Придет, и опять схватит. Ночью разденется догола и навалится. Опять рвота, роды. Страшно. Стараясь не скрипеть дверью, она вышла на террасу, нежно освещенную переполненной соком луной. Взяла стеклянную тоненькую розетку для варенья. Молоток из тамбура. Вышла на лестницу. Разбила розетку молотком. Никто и не услышал. Спит. Хорошо. Она принялась тихонько колотить по розетке молотком, стараясь измельчить разбитые куски. Узбеки любят этот способ. Легко, чисто. Как кровь пойдет из живота, так уже все. Она собрала расколотое, зажала его в кулаке, вернулась на террасу. Открыла дверцу битком набитого холодильника. Всыпала осколки в масленку. Закрыла ее крышкой. Вытерла руки и заодно поменяла у рукомойника полотенце. (Вот уж Татьяна неряха!) Вернулась в комнату, в которой его не было (шелковая застеленная кровать мерцала пустотой), завернулась в одеяло и заснула.

“Какой отец! Какой отец! — пела она своей матери, разворачивая свертки с подарками. У матери от жадности горели глаза. Руки тряслись. Мать была запугана, труслива, лицемерна. В детстве она боялась ее до тошноты, и, став взрослой, никогда не советовалась с ней и никогда ничем не делилась. — Все для детей! Все для детей! Татьяна хочет балетом заниматься. Другой бы отец — знаешь, как? Цыкнул бы: какая из тебя балерина! Выбрось дурь из башки! А этот: на здоровье! Поступишь в училище Большого театра. Пляши, пока не надоест! Всё для детей!” Мать схватила дрожащими руками отрез серого габардина. “И это мне?” — расплылась она в такой же кривой и фальшивой улыбке, которой улыбалась ее дочь, желая сказать кому-то приятное. “Все тебе. Все он. Так и сказал: уважить надо. Сам все отбирал. И обувь, и теплое. И так и сказал: Нине Тимофеевне с уважением от родного зятя. Ха-ха-ха! Видишь, какой?” Мать трясла скользкой головой: “Конечно, Женя, конечно. Вы понятно на какой службе были... Тяжело, я думаю. Не всякого пошлют. Только самых достойных. Кристальной души людей. Понятно, понятно. Климат-то там какой? Погода какая?” “Жарко,

мама, очень. Летом очень уж жарко. Но дом у нас был чудесный. Две террасы, сад фруктовый — свой. Весной красота такая, что глазам больно: маки кругом, вся пустыня, все холмы в маках. Так и горят. Чудесно. Я с детьми. Нянька была, женщина приходила через день, полы мыла. Еще одна приходила готовить. Все местные. На концерты, в театр мы в город ездили. Шофер свой, машина. Я тебе говорю — все”. Мать завистливо свистела тонким пупырчатым горлом: “Ну-и-и! А меня спрашивали: как там ваша дочка после столицы в таких местах? Я говорю: все в порядке, все хорошо, а у самой душа болит: как ты там, думаю. Одна все-таки. Двое детей. Иван занят, поди, целый день”. “Занят — это правда. Целый день занят. С преступниками же дело имели. Разве о себе вспомнишь? Страшные люди. Враги. Но Ваня всегда был гуманен. Ни одного несправедливого поступка. Дисциплина. Потому что ведь они тоже люди. Ведь они на исправление посланы. Мы надеялись, что в них совесть проснется. Мы старались”.

Маленький восковой Филимон постучал в комнату Татьяны. Она открыла ему в нейлоновом халате с кружевами, заспанная. “Папа, что ты не спишь? Вы меня с ума сведете!” “Понимаю, понимаю, — забормотал Филимон. — А все же хотелось бы в город попасть. Глаз не сомкнул. Боюсь. С умственно неполноценными дела не имел. Отродясь. С бандитами — да, с преступными элементами. Но со здоровыми. А здесь глаз не сомкнул”. “Господи! — завелась Татьяна. — Ты себя послушай! Она тебе кто? Чужая, что ли? Вы же жизнь прожили!” “Да это кто вспоминает, — задрожал Филимон и переступил ногами в больших желтых тапочках. — Прожили, прожили. Всяко было. А что же мне сейчас в жертву ее болезни остаток дней приносить? Не для того я кровь проливал, да... На самых тяжелых участках. Жизнь прожили. Кто его знает, как мы прожили?” “Ты, никак, заговариваешься? — ужаснулась Татьяна. — Папа! Ну, хоть жалость-то в тебе осталась? Ты посмотри на нее!” “Жалость, жалость, конечно, — скороговоркой выдохнул Филимон. — Меня всю жизнь никто не жалел. Все для других. Все для вас. Теперь имею право на отдых. Она меня, может, резать хочет. Кто знает, что больному человеку в голову придет?” “Да какое резать! — зашаталась Татьяна. — Ее пальцем тронешь, она падает!” — “Именно, именно, — прошамкал Филимон и жарко задыхал ей в лицо из бульдожьего рта. — Мне сон был. Именно что

зарезать. Чужая душа — потемки. Беда. Отвезите меня в город”. “Оставь меня! Что ты меня будишь посреди ночи!” — Татьяна захлопнула дверь перед его носом. Зять приподнялся с подушек. Длинная прядь свисала с лысой головы: “Это же не дом, а сумасшедший дом, если разобраться! И если вы думаете, что я при своей нагрузке могу тянуть еще и это... Очень сожалею, но вынужден поправить...”

...Она слышала, как они возятся где-то, ходят по лестнице, шепчутся. Очень хорошо. Теперь они будут ее бояться. А то что же это такое: все спихнули на одного человека. И воду носи, и детей воспитывай, вечером в Большом театре надо быть. Сам товарищ Сталин придет. В царской ложе все и рассядутся. У Филимона как назло выскочил ячмень. Прямо перед балетом. Он даже зарычал от злости. “Ваня, — говорю, — Ваня! Это же не преступление! У всякого может случиться!” Он на нее чуть не с кулаками: “Понимаешь свиную пятницу! Товарищу Сталину на глаза с таким рылом показаться!” Ячмень смазали яичным белком, припудрили немного, чтобы не так заметно. Все равно, глаз — как машинная фара. Она не любила украшений. Но Филимон велел надеть ожерелье. Она согласилась. Пусть так, как он хочет. Платье малиновое, ожерелье белое. Откуда он его принес? Не сказал. Ожерелье странно пахло. То ли телом чужим, то ли каким-то деревом.

“Почему у тебя усы-то? — вдруг разозлился Филимон. — Ты кто: мужик или баба?” Она посмотрела в зеркало: действительно — усы. Вот здесь две волосинки и здесь — одна. Как же это они выросли? Она и не заметила. Выдрала щипчиками. Когда товарищ Сталин вошел в ложу, они все встали. У Филимона глаз с припудренным ячменем налился слезами, подбородок задрожал. Вот ведь как мужчины умеют чувствовать. Разве по нему скажешь? Отец-то заботливый, и муж... Мало сказать заботливый, сюсюкать не любит, а все в дом, все в семью, ни на одну женщину никогда и не посмотрел...

“Ты меня завтра ночевать не жди, — сказал Филимон. — Мне надо по лагерям проехать. Ревизия. Нелады там, я слышал. Порядка нет”. Уехал. В доме хорошо, чисто, виноградным вином пахнет, хлебом. Ночью духота. Она все с себя сбросила, даже простыню. Спокойно, привольно. Никто пальцами по ней не шарит, никто не храпит в шею. Он вернулся через три дня, веселый. Лицо, правда,

усталое, помятое. Пообедал и завалился спать. До нее даже не дотронулся. На следующий день опять как сквозь землю провалился. И через день то же самое. Возвращался помятый, веселый, свирепый. На нее, на детей — ноль внимания. Стала стирать ему рубашку — вся в женских волосах. Светлые волосы, как паутинки. Она ничего не сказала, сделала вид, что так и надо. Мужчина. Они все такие. Этот-то хоть первый раз сорвался. А то все работа, все семья. Пусть покуражится. Добрее будет. Хотя, конечно, душа заняла. Она ее стиснула руками, выжала, выкрутила как тряпку, ни слезинки. Пусть его. Куда он от меня денется? Лариса, Татьяна. Что, он нас на лагерницу какую-нибудь променяет? Так и не узнала, чьи были те волосы. Месяца два он возвращался домой поздно, до нее не дотрагивался. Ну, и хорошо, хоть тело отдохнуло. Потом опять навалился с неохотой, молча. Наладилось постепенно. Все как всегда. Их разве переделаешь?

Пойдем на рынок, Аленушке ревеня купим, тебе ревеня купим, мне ревеня купим. Аленушке-то зачем ремень? А что же такого? Это она сейчас маленькая, а когда вырастет? Тоже будет с желудком мучиться. Пусть ремень полежит про запас. Вон какая дивчина вымахала, скоро свататься будут. Эхе-хе-хе... Борис этот какой-то непонятный. Женится — хорошо, а не женится — еще лучше. Это я вам по секрету. Татьяну уж очень жалко. Она у нас только на вид такая суровая. А сердце слабое. Роды были поздние, сколько крови потеряла, кесарево сделали. И боится она этого Бориса, как огня боится. Он и по неделям может не звонить. Очень занят. Конечно, такая работа, что не расслабишься, не до гулянок. Хотя о ребенке мог бы подумать. Нельзя же все на одного человека. Это сейчас Филимон стал так ластиться: “Женя, Женя, давай прислугу найдем, что ты все одна?” А раньше, бывало, как рыкнет: “А ну поворачивайся! Ишь ты, барыня! Мы всех бар давно вырезали!” Она слова поперек — никогда. Говорили же про Булдаева, что он жену своими руками повесил. Надоела — и повесил. Пост такой занимал, что никто и не пикнул. Самоубийство на почве болезни мозга. Не справилась женщина. Может, и так. А слухи ходили разные. Филимон тоже как-то на нее разозлился и заорал: “Удавлю своими руками!” Она, конечно, посмеялась... Мужчина. Они все такие. Только бы покуражиться.

“Ты же хотел остаться сегодня, — умоляюще сказала Татьяна. — У тебя же отгулы...” Зять шумно втянул кофе в длинное узкое горло. “Сегодня не получится. Вся эта неделя забита, в принципе. Но если что... Я буду ждать сообщений. Конечно, если что... Я пришлю машину”. У Татьяны вздрогнул бульдожий отцовский подбородок: “Ты извини, Боренька, что так вышло... Старые люди...” “Да, — согласился зять. — Жуткое дело — эта старость. Хоть бы средство какое придумали... Принципиально бы легче стало. Где она? В комнате?” “Спит, — вздохнула Татьяна. — Я решила не входить пока. И отец спит. Наглотался валидола”. “Что ему ночью-то не спалось? — пробормотал зять и опять втянул кофе. — Струсил, что ли?” “Ах, не спрашивай! — помрачнела Татьяна, и по ее бескровности побежали красные полосы. — Как подумаю, до чего они дошли! Ведь ты вспомни, как они жили! Рука в руку, душа в душу. Никто не знал, как другому угодить. Слова грубого не слышали”. “Да, — опять согласился зять. — Жить бы так всем. Что называется: пара”. Тут она и вышла из спальни, семеня ногами и слегка приседая от сахарной улыбчивости. Плаща на ней не было, было платье с белым воротником, праздничное. Зачем только такое платье и привезли на дачу? Сдуру, должно быть. Но вот и пригодилось. Волосы она не успела причесать, так и болтались, пегие, по плечам. А туфли надела. Татьяна ахнула: “Мама!” “Что — мама? — заулыбалась она, пряча страх. — Я тебе уже сорок лет мама! Ха-ха-ха! Поспала и думаю: пора за дело! А то так всю жизнь проспешь! Обед-то готовили на сегодня?” Зять и Татьяна переглянулись. Она неторопливо подсела к столу. Налила себе чаю дрожащими руками. Главное, чтобы они не поняли, как она боится. Спросить бы про него: жив ли? Она заулыбалась пуще: “А вы, Борис, никак удирать собираетесь? Жаль, жаль... Погода такая... Сходили бы на речку, рыбу бы поудили”. От слова речка тоже стало не по себе. Вода ведь: бросят туда ночью, в темноте, что потом кому докажешь? Отхлебнула чаю, поморщилась: невкусно. Компот надо варить. Ревеня туда побольше, смородины, крапивы. Кисло, густо, чтобы ложка стояла. Не умеет у меня Татьяна готовить, вот он на ней и не женится. Зять кашлянул нерешительно: “Ну, я так понимаю, в принципе, что основная опасность миновала. Могу спокойно тебя оставить”. Он быстро поправил непокорную прядь, облизнул губы с налипшей икринкой. Портфель в руку, и уже у калитки. Так

и след простыл. “Пойду Аленушке грибов нарву, — лицемерно сказала она. — Или малинки лесной. Я тебе всегда, Таня, говорила: небо и земля — наша малина и лесная. Там и вкус, и аромат, все другое, никакого сравнения. Витамины”. “Мама! — рванулась было Татьяна. — Не ходи! Ты же слабая такая! И что-то с тобой еще... Ну, не ходи!” Спросить бы ее, спросить бы: жив ли он? А то чего зря прятаться? Может, его уже и закопали? Так я тогда платье сниму, туфли сброшу, будем обед варить. А если жив? Нет, уж рисковать не хочется. Это по молодости только тянет: рисковать. А уж в наши-то годы, эхе-хе-хе... Отставила чашку, сказала разумно: “Ладно тебе, Таня. Я вас с Лялей вырастила, Аленушку тебе выкормила, что ж ты меня теперь за дуру считаешь? Погулять по лесу нельзя?” И пошла по лестнице, замирая от ужаса, потому что пришлось повернуться к запертой двери в его спальне спиной. Проходя мимо куста смородины, смахнула червяка с ветки (все ягоды пожрали, ребенка кормить нечем!) У калитки обернулась: он стоял в дверях и смотрел на нее. Рот его был открыт, глаза мутные (капли-то забыли!), белая ночная рубашка, босой. Она прикинула: бросится догонять или нет? Да куда ему! Ноги корявые, неловкие. Она успеет убежать. Так что вот теперь я и позабавлюсь: помашу ему рукой: “Здравствуй, Ваня! Доброе утро!” Она помахала Филимону дрожащими пальцами. “Куда это она? — просипел Филимон, хватаясь за Татьянино плечо. — Куда она пошла-то?” “Погулять, — тихо сказала Татьяна. — Ягод хочет нарвать. Ей лучше”. “Доченька! — захлопал Филимон. — Ты у меня одна на свете! Сделай милость: увези!” “Говорю тебе: ей лучше! Погулять пошла! Завтракать садись!”

Через два часа бросились искать: Татьяна и две сердобольные соседки. Прочесали весь лес. Нету. Татьяна побежала в милицию, история повторилась. Нашли в осиннике и привели. Она прижимала руки к сердцу, оправдывалась: “Да что вы, ей Богу! Погулять нельзя! Мне доктор велел дышать лесным воздухом!” Соседки только плечами пожимали: “Вы глядите, Таня, а может, и правда: ничего такого? Ну, устала ваша мама на кухне пахать, ну, хочется ей расслабиться!” “Что вы с ума-то сходите? Вот я и говорю! — смеялась она. — Не дают мне подышать! Всю жизнь на мне ездят! Уж кажется, перед смертью-то имею право! Погулять-то я имею право?” Татьяна смотрела на нее сжимающимися и разжимающимися зрач-

ками: “Ты меня разыгрываешь, что ли? Что с тобой?” “Да говорю тебе человеческим языком: ничего! — отмахнулась она. — Устала я на кухне пахать! Тебе и все тоже самое скажут! Дай ты мне проветриться!” Татьяна не выдержала, заплакала: “Мама! Пожалей меня! У меня голова кругом идет! Ты в себе или нет?”

Хорошо, что она проста, ничего не поймет. Пусть считает, что мне погулять хочется. У нее мозги всегда были какие-то дырявые. В науке умна, а в жизни хуже младенца. Ее-то я обведу вокруг пальца, лишь бы она уехала, лишь бы нас с ним вдвоем оставили. Я его сама и закопаю. Все равно, пока все в свои руки не возьмешь, ничего не получится. Кто — кого. Убежать не дали. Выход один. Тоже страшно, конечно. Зато это уж самый последний страх. Еще попугаюсь немножко и — свобода.

“Нет уж, дудки! — хохотал Филимон. — Ты мне свою племянку не подсовывай! У меня баба — во! На большой палец! Женился, и как в раю! Уважение полное. Скажу: ноги мой — и будет мыть! Нет! Таковую поискать! Вот она придет через недельку и милости просим! Убедися сам. Зверь-баба!” “Как звать-то? — спросил наполнивший стаканы холодной прозрачной водкой, в расстегнутом на груди френче. — Скажи, как звать, и выпьем за твою бабу!” “Женей, — ласково прохрипел Филимон. — Такая чернушечка, кошечка такая, крепышечка”. “Ишь, тебя скрутило, — усмехнулся слушатель. — Никогда за тобой такой нежности не знал...” “Какая нежность? — удивился Филимон и опрокинул в рот стакан. — Нежность, говоришь... На нашей работе нежничать не положено. Я на этих баб насмотрелся, сам знаешь! Пять лет в начальниках проторчал. И голых, и всяких. Они при мне мыться были обязаны, если захочу, во как! Для порядка! Я ж как врач! Лечу их, сук, к жизни возвращаю!” “Ну и как? — скривился приятель. — Мылись? Для порядка?” “А чего? Конечно, мылись! Мылись-вытирались, не сопротивлялись!” “Соскучишься ты без этой работы!” “Да нет, уж хватит, — помрачнел Филимон. — Поважнее есть дела на свете. Раз партия посылает, мое дело подчиниться. А Женя за мной, как лошадь за хозяином. Беру за повод и веду. Вот как...”

Не справлюсь я с ним, ни за что не справлюсь. Плохо. Он ведь все притворяется. И то, что старый, и то, что больной. Никакой он не старый. Если тогда не умер, то уж никогда и не умрет. Будет му-

чить. Ноги свои заставит мыть. Сначала Аленушку искупаю, а потом в этой воде (не греть же лишний раз!) буду ему ноги мыть. Вот и стекло не подействовало. Мало наколола. Но теперь уж не исправишь. Молоток спрятали, розетки спрятали. Уходить пора. Жили люди в лесу, еще как жили! Целыми семьями, с детьми. Обживусь и Аленушку с Татьяной к себе возьму. Маленькие мои дочки. Родила, выкормила. Обживусь и заберу от него. А то он их еще в этот барак спрячет. Скажет: поработайте-ка! Распоясылись... Не будет вам никакого театра. Никаких-таких балетов.

Она тихо натянула платье. Сняла наволочку с подушки, положила в нее резиновые галоши, батон хлеба, мыло в мыльнице. Кажется, все. Это на первое время. Там уж люди помогут. Здесь, конечно, лесов нет, но маки погуще всех лесов будут. Спрячусь в маки, а там видно. Узбеки нас любят. У них здесь до советской власти такое было! Каменный век. Она спустилась с лестницы, держась за перила. Лунный свет напоз на ее лицо. Небо серело в ожидании рассвета. Ей вдруг захотелось поцеловать Аленушку. Она положила наволочку на ступеньку, бесшумно вернулась в комнату. Аленушки нигде не было. Она попыталась вспомнить, куда же ее могли уложить спать, и запуталась. В боковой комнате он, наверху Татьяна. Где же Аленушка? Неужели с ним? Господи, Господи! Она мелко закрестилась непривычными пальцами. Ведь он притворяется! Как же Татьяна не понимает? Она постояла в темноте, переминяясь с ноги на ногу. Ну, в другой раз. Прощайте.

Татьяна Хазова

ИСПОВЕДЬ ПАУКА

(Сказка)

Если идти от станции Кубышкино по дороге вдоль поля сурепки, то скоро за огородами покажется деревня, ныне почти безлюдная. Многие ее жители, особенно молодые, разъехались по разным городам в поисках высшего образования, хороших заработков и более высокого качества жизни. Дома свои они продали или просто заколотили и бросили.

На самом краю деревни стоял один такой брошенный дом, ветхий, с проломленной крышей и полусгнившим крыльцом. Рядом с этим крыльцом широко раскинул свою сеть большой черный паук. Часть паутины крепилась к остаткам ступеней, другие три ее конца были распределены между покосившейся бревенчатой стеной, палкой-подпоркой и стеблем жгучей крапивы. Сам паук занимался тем, что аккуратно, не торопясь, обвязывал паутинкой пойманную им еще живую муху, отчаянно сучившую своими слабыми лапками. Тщательно опутав ее с ног до головы наподобие тугого кокона, он удобно устроился рядом. Муха сперва трепыхалась, пытаясь освободиться, но вскоре выбилась из сил и затихла в изнеможении.

С минуту паук сидел, отдыхая. Потом заговорил:

“Сегодня, муха, у тебя большой день. Сегодня ты узнаешь — и отчасти прочувствуешь на себе — как я страдал все эти годы. Сегодня тебе откроется реальность такой, какова она есть во всем ее величии — и во всей безнадежности. Правда жизни в том, что судьба жестоко наказывает, поэтому и ты сегодня будешь наказана. Еще минуту назад ты беспечно летала, радовалась солнышку, а вот теперь я над тобой хозяин. Лежишь здесь у меня, привязанная к паутине, и умираешь от страха. А наступит вечер, и я высосу тебя, а шкурку выброшу, вот так-то...”

Ты, наверное, думаешь, что я — обыкновенный паук, простое, как все, насекомое. Но я тебе должен сообщить, что ты глубоко заблуждаешься. И вскоре жестоко заплатишься за свою ошибку.

Что ты вообще знаешь обо мне, ты, муха! Отвечай! Не слышу ответа! Не можешь ответить. Почему? Потому что у тебя кляп во рту. Правильно... Но это не главная причина. Главная причина, почему ты не можешь мне ответить, на самом деле другая. И я тебе скажу. Потому что ты ничтожество, вот почему ты не можешь мне ответить. Тебя просто как будто нет, ты ничто. Поняла? Нет, ты поняла?"

Прилетела желтогрудая птичка и села на край ступени. Заметив паука, она примерилась было склевать его, но при ближайшем рассмотрении передумала и упорхнула.

“Все боятся меня, — продолжал паук, — чувствуют мою силу. Ах, если бы мне кто-нибудь дал хотя бы такие возможности, как у скорпиона! — я многого бы добился. Но судьба ко мне несправедлива. Дуракам всегда везет, а гении вынуждены страдать.

Эх, муха, муха, не знаешь ты настоящей жизни! Что ты видела? Ничего ты не видела. А я прожил трудную, полную испытаний и лишений жизнь. Я жизнь познал сполна. И я сделал свои выводы. Основной закон жизни — борьба. Смысл существования — самоутверждение. Счастье — в победе. Самое ценное качество — сила воли. Самое высшее существо — паук.

Впрочем, кому я это говорю!.. Осознаешь ли ты, жалкая тварь, разницу между нами? Способна ли оценить то тайное знание, которое я открыл тебе по широте своей души? Я подарил тебе даром крупницы мудрости, доступные лишь посвященным. Я их выстрадал сам, один! А ты думала, что я такой же, как все, такой же, как ты?!"

Паук замолчал и задумался. Паутина чуть-чуть раскачивалась под легким ветерком.

“А вот действительно, представить себе: был бы я не пауком, а такой вот мухой, вроде тебя. Летал бы со всеми в общей стае, радовался бы каждой какашке, каждой арбузной корке. Был бы по-

своему счастлив... Но нет, не согласен я свою, хоть и тяжелую судьбу променять на бессмысленную суету ничтожной мухи. Дайте мне взамен хоть горы счастья — не согласен! Судьба хочет меня сломить, но я сильнее судьбы. В этом мое величие. Всю жизнь все хотели сделать меня такой вот ничтожной мухой, — но им это не удалось. Я всех победил!

Все думают, я, несчастный паук, прозябаю тут под этим гнилым крылечком. А на самом деле я стою на вершине горы и взираю на всех вас и на весь ваш мир помоечных радостей с величайшим презрением, с чувством превосходства и глубокого одиночества. Я победил мир! И мир меня не познал... Да...

Сижу тут с тобой в этом дерьме и рассуждаю... Сдохну — и ни одна дрянная душонка не помянет добрым словом. Все будут только рады! Вот эти все ничтожества, что мельтешатся кругом, будут рады: все эти ублюдочные бабочки, дебилные мухи, умственно отсталые жуки, жадные стрекозы — мои конкуренты, болтуны-кузнечики. Ишь, как вольно себя чувствуют! Всех ненавижу!

Как жаль, что нельзя раскинуть паутину так, чтобы захватить ею весь мир! Будь моя воля, я бы всех связал в один большой пучок и приказал бы: “Цыц, козявки! теперь меня слушайте!” Они затрепещут от страха. А я произнесу большую речь. И все меня будут слушать. А тех, кто не захочет мне подчиниться, я уничтожу по одному — медленно, с наслаждением... Вот так будет!

Почему вот ты, муха, не можешь меня уничтожить, а я тебя — могу? Задавала ли ты себе когда-нибудь этот вопрос? Нет? Я тебе отвечу на твой вопрос. Потому что я сильнее, а ты как ничтожество и планктон предназначена мне в пищу, вот так... По глупости своей попалась. Вот если бы твой уровень развития был выше моего, то не я расставлял бы на тебя паутину, а ты на меня, не я бы тебя обманул, а ты меня. Может, ты и хотела всю жизнь прожить без забот, без страданий, как будто меня, паука, и на свете нет. Но вышло иначе! И в этом большая мудрость и большая правда жизни.

Эх, муха, ты муха... Ничего-то ты, глупая, не понимаешь. Даже жаль тебя, право!”

И с этими словами паук погладил мушиное плечико. Муха задергалась.

“Никто не способен меня понять, — продолжал паук. — Сидели мы как-то со сверчком в пивной. Он наклюкался, и потянуло его на высокие материи, занудил: “О Боге забывать нельзя...” А я ему говорю: “Если и есть на свете Бог, то это — самый большой и могущественный Паук, сильнейший среди сильных, всем начальник и истязатель. Разумеется, по-своему справедливый. Это он сделал меня великим пауком, а тебя — хилым несчастным сверчком, пьяницей”. А он в ответ только головой мотает и бубнит: “Не-е, старик, ты все усложняешь... Бога нельзя забывать...” Такое ничтожество! И начал рассказывать, до чего славные сапожки он смастерил блохе, и сколько та ему за это заплатила (мы тогда как раз пропивали эти деньги). И мне приходилось все эти глупости выслушивать! В какой-то момент я не выдержал, сгреб его, связал, да и заткнул ему тряпкой глотку. Он аж глазенки свои пьяные выпучил. Отдышался я, и тогда спокойно, не торопясь, досказал свою мысль. С тех пор я всегда так делаю: поймаю какое-нибудь ничтожество, свяжу его, заткну кляпом рот — и только после этого приступаю к беседе...

Перед уходом развязал я сверчка, а он: “Ты чего, старик?” А я ему отвечаю: “Впредь ты всегда будешь вот так вот смиренно сидеть и слушать, что я тебе говорю, и не вякать”. “Это почему ж так?” — спрашивает. “А потому, — объясняю я ему, — что ты тварь поганая, а я — великий паук!”

Он обиженно надулся, губу свою мерзкую оттопырил и нагло так спрашивает: “Да чем же ты такой великий-то?” Тут уж я не выдержал, размахнулся, да и вдарил ему со всей силы по этой самой его губе, что он выпятил. Он опрокинулся на спинку, вытянул лапки и окочурился. Вот так закончился тогда наш разговор — и с ним наша дружба.

Эх, муха, не знаешь ты, как унизительно дружить с теми, кто ниже тебя! Но что делать! — гения может понять до конца только гений, а нас так мало. А как хотелось бы поговорить с титанами прошлого! Но современный мир измельчал и все меньше рождает титанов, так что приходится общаться с кем попало...

Как-то на отдыхе познакомился я с майским жуком. Сначала он мне даже понравился: такой усатый, представительный, говорит басом. Вместе в бане парились и квас пили. Квас был омерзитель-

ный, как и все в этих краях. А он пил с явным удовольствием и еще приговаривал: “Хорош квасок! Вот бы вечно так жить: поработал, отдохнул, кваску холоденького попил — и снова за работу! Жизнь становится все лучше и лучше, скоро всю землю превратим в цветущий сад!” Я ничего ему не возражал, молчал. Плети, Емеля, твоя неделя. По профессии он был механик-конструктор. Постоянно изобретал что-то новое, все твердил про какие-то валы и подшипники. Называл это “усовершенствованиями” и обожал долго об этом рассказывать. “Мечтаю, — говорит, — изобрести такой коленчатый вал, чтобы он годами не истирался и не выходил из строя. Я, — говорит, — когда думаю про какую-нибудь деталь, то сам как бы ею становлюсь, перевоплощаюсь в нее — и тогда лучше понимаю, как она работает. Думаю о ступице — становлюсь ступицей, думаю о системе передач — сам становлюсь этой системой передач. Знаешь, моя заветная мечта, — перешел он на шепот, — усовершенствовать до возможного предела паровозный поршень, и самому стать этим поршнем. Пассажиры заняли свои места, провожающие машут платочками, машинист дает предупредительный гудок, и ту-ту-у-у! — поехали! Смазка обильная, поршень мощно ходит туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда, кривошпы вращаются, паровоз идет ходко, пар из трубы пых-пых-пых, пых-пых-пых, — и так всю дорогу. Сталь отличная, капитальный ремонт еще не скоро, машинисты довольны, говорят: “Хороший двигатель на этом паровозе!” Пассажиров много, все едут по своим делам, никто о моем существовании и не подозревает, все думают — колеса сами вертятся, ха-ха! А я-то знаю, что все зависит от меня, и стараюсь всю дорогу: чух-чух-чух, чух-чух-чух, ту-ту-у-у! Не жизнь, а сказка. Эх-ма! Давай-ка, выпьем еще по кружечке, дорогой ты мой друг!” — закончил он со слезами на глазах.

Слушаю я его, слушаю, а сам думаю: “Безо всякого честолюбия жук, совершеннейший плебей. Рад, что никому до него дела нет”. Стал он меня раздражать. “Все когда-нибудь кончается, — говорю. — Сотрется и поршень, и выкинут тебя на свалку, правильно?” “Нет, — хитро смеется он, — не угадал, приятель: не на свалку, а в переплавку! Такой ценной сталью не бросаются!” “Да что тебе-то в том? — уже начал распляться я. — Твоя-то жизнь как поршня уже окончится! И никто о тебе даже не вспомнит!”

“Конечно, моя жизнь окончится, — вздохнул он, — но зато какая жизнь! Сколько в ней было бы пользы!”

Смотрю я в его глупые жучиные глазки, и становится он мне ненавистен. “От толстой кишки, — говорю, — тоже много пользы”. “Ты к чему это клонишь?” — насторожился он. — “Да к тому я клоню, что дурак ты. Самолюбия в тебе вовсе нет”.

Погладил он усы свои и грустно так задумался. “Это правда, — говорит, — самолюбия у меня нет. Но, с другой стороны, зачем оно мне? Что мне с ним делать? Какая от него польза?”

Стало мне скучно. “Нет самолюбия — нет и личности, — объясняю я ему. — А нет личности — нет и ее роли в истории. Только тебе этого никогда не понять. Слишком ты, жук, низко летаешь. Нет в тебе ни воображения, ни творческого порыва”.

Жук выглядел обескураженным. “А я всегда думал, что главное в жизни — доброта”, — ляпнул он, видимо, не зная, что сказать. “Это ты старым гусеницам о доброте рассказывай”, — отвечаю. И уполз. Надоел он мне.

Что, тварь, притихла? Слушаешь? Слушай дальше.

Была у меня и любовь. Большое, сильное чувство. Которое оказалось никому не нужным. Да... Но — не буду забегать вперед. Спроси себя, муха, а достойна ли ты выслушать то, о чем я собираюсь тебе рассказать? Слышала ли ты когда-нибудь об истинной любви, ты, ничтожество? Так слушай.

В ту пору, когда я был уже матерым и опытным в этих делах пауком, и уже не кидался на любое подвернувшееся на моем пути брюшко, встретил я необыкновенной красоты бабочку. Впрочем, это тогда она мне казалась такой красавицей, так как я втюрился в нее по уши.

У нее были сине-голубые крылышки с золотыми прожилками, а все тельце было такое хрупкое, утонченное, словно выточенное великим мастером. Ты, муха, не знаешь, что такое настоящая порода, ты родилась в навозе. Тебе не понять, какое огромное значение имеет благородство происхождения. Я любовался каждым изгибом ее стройных лапок с тонкими запястьями, ажурным рисунком крылышек, шелковистой грудкой, большими влажными глазками и плавными деликатными движениями, когда она переле-

тала с цветка на цветок. Знаешь, вообще вид хрупкой красоты меня сильно возбуждает: такое существо сразу хочется схватить, стиснуть, смять, задушить в объятиях. Особенно меня распаляло, когда моя бабочка, сидя на цветке, как бы в задумчивости то складывала, то разводила свои нежные крылышки. Я просто весь дрожал от страсти. Короче, влюбился я в нее всерьез, и она тоже меня страстно полюбила. Шептала мне: “От тебя пахнет медом”, и другие разные приятные вещи. А я называл ее своей королевой. Это было счастливейшее время моей жизни.

Она была по-своему неглупа и, кроме того, прекрасно пела. Да, она была певицей, а я как раз обожал музыку и довольно тонко в ней разбирался. Она мне пела, я читал ей свои стихи — где оно, то золотое время! На ее стороне были свежесть и красота, на моей — огромный жизненный опыт. Я делился с ней своими наблюдениями и продуманными, взвешенными выводами. Я хотел дать ей полноценное образование, чтобы она перестала быть такой наивной и легковерной и лучше разбиралась в окружающем. Когда мы бывали в обществе, я всегда находил каждому встречному меткое и емкое определение. Например, при виде кузнечиков, известных комментаторов текущих событий, я говорил: “Это продажные болтуны, купленные, чтобы врать”. Или когда мы видели муравьев, всецело поглощенных своим непосильным трудом, я говорил ей: “А эти созданы для рабства”. Молодые козявки, продающие мороженое с лотка, — жалкие, примитивные ничтожества. Толстые, осанистые жуки — вор на воре. Все сверчки — пьяницы, все пчелы берут взятки, все тараканы — жулики и прохвосты. Словом, кого ни возьми, окажется негодяем или ничтожеством. Так мы перебрали всю округу. Моя бабочка только глазами хлопала от изумления. Когда она радостно восклицала: “А вон какая добрая улитка ползет!” или вспоминала: “А мне одна козявка оказала добрую услугу”, я резонно замечал: “Ты еще, дорогая, слишком молода и наивна. Они добрые оттого, что они слабые. У них просто нет сил на зло”.

Так я учил ее уму-разуму в надежде, что она это оценит.

Я также отточил ее вкус в мастерстве пения. Раньше она пела слишком сладко и красиво, а это плохо. Искусство должно быть правдивым, должно отражать жизнь, как она есть, во всей ее не-

прикрытой наготы и жестокости. Я начал ей каждый раз на это указывать. Сначала она плакала и не хотела расставаться с иллюзией, но я в конце концов добился своего. Ее пение изменилось. Мелодичность исчезла, появились нотки отчаяния, истерический надрыв, голос приобрел хриплость, стал более эффектным, бьющим по нервам. Темы песен из идиллических превратились в более современные: распад, безнадежность, одиночество, тоска, полный мрак. И сама она приобрела соответствующий имидж: похудела, осунулась, стала более выразительной.

Оценила ли она мой вклад в ее духовное развитие? Конечно, нет!

Я ее страстно любил, но временами к моему восхищению примешивалась ненависть. Особенно когда она устраивала для меня свой воздушный балет. С упоением любуюсь ее прекрасным танцем, ее точными и плавными движениями, я в то же время интуитивно чувствовал, что она специально так весело порхает в моем присутствии, блестя крылышками и выделывая всякие пируэты, что она хочет тем самым меня унижить. Мол, я умею летать, а ты рожден ползать, — такой был во всем этом подтекст. “Что-то ты слишком высоко стала летать”, — говорю ей строго. “Я летаю так от счастья”, — начала оправдываться она. “Ты летаешь так, чтобы мне досадить, чтобы унижить меня!” — вскричал я в ярости. Она стала мне возражать, уверяя меня в своей якобы любви, и в конце концов захлебнулась в рыданиях. Я вообще терпеть не могу бабьих слез, а еще больше не люблю, когда мне перечат. Законный гнев переполнил меня, кровь ударила в голову. “Запомни, мразь, что со мной шутки плохи. У любви должны быть доказательства. Так вот: либо ты докажешь мне свою любовь и подкоротишь свои поганые крылышки, либо убирайся вон отсюда, и чтобы я тебя больше не видел! Попадешься мне на глаза, мразь, уничтожу тебя!”

Не успел я докончить свою угрозу, как она — прыг! — вспорхнула, схватила ножницы и — тяп-тяп-тяп — резво так отрезала верхнюю, самую красивую половину своих крылышек. Отрезала — и стоит, нежно улыбается, глядя на меня, в глазах преданность. Другой бы сдался. Но меня не так-то легко провести. В ее поступке я усмотрел вызов себе: мол, вот как я тебя люблю, а ты, подлец, так со мной обращаешься. Выходит, я виноват, выходит, я должен

прощения просить, унижаться! Не выйдет! “Со мной этот номер не пройдет, — говорю ей ласково. — Ты что же, мразь, думаешь, ты победила меня? Что я теперь перед тобой на колени встану? Отвечай, мразь, ты хочешь поставить меня на колени?” Вижу, победное выражение с ее личика сползло, лапки по-прежнему раскрыты для объятия, но в глазах испуг и тупое усилие что-то понять. Постояла-постояла так в оцепенении — и хлоп в обморок! Ну, тут смягчился я, дал понюхать нашатыря, — поладили мы.

Но даже после этого преподанного ей урока она продолжала вести себя со мною легкомысленно.

У меня есть принцип: принадлежащее мне должно принадлежать мне целиком, без остатка. Она же часто улетала на гастроли, где давала свои вокальные концерты и общалась там неизвестно с кем. Появились основания подозревать ее в изменах, хотя она и утверждала, что верна мне, потому что любит меня больше всего на свете. Но я знаю бабочек... Однажды произошел случай, окончательно раскрывший мне глаза.

Из очередных гастролей она привезла новую музыкальную пластинку: “Послушай, какая замечательная мелодия!” Я до сих пор не могу вспомнить эту сцену без спазмов ярости. Она завела пластинку и стала слушать ее с мечтательным видом, чему-то улыбаясь. Я взглянул на этикетку. Произведение называлось “Полет шмеля”. Я вскипел. “Чем же это пленил тебя его полет?” — начал я, наливаясь тяжелым гневом. Она стала что-то такое лепетать, в глазах показался испуг. “Ну и как же зовут этого твоего шмеля?” — наступал я. Она, естественно, в слезы. Они привыкли добиваться всего слезами. Лепечет: “Как ты можешь такое обо мне думать!”

Тут уж я ей все высказал. “Да ты знаешь ли, с кем говоришь! — прошипел я. — Да я тебя в порошок сотру! Указывать мне, о чем мне можно думать, а о чем — нет? Ты что же, мразь, вообразила, что поешь свое ля-ля-ля и можешь измываться надо мной? Гулять на стороне?” И тут я схватил нож, да и оттяпал ей ее крылышки напрочь, она и пикнуть не успела. Ну и жалкий же стал у нее вид! Бабочка без крыльев! О, как она рыдала, ползая у моих ног! А я торжествовал победу. Ведь ненависть слаще любви. До сих пор приятно вспоминать, как я ей отомстил. Когда у меня плохое на-

строение, я всегда, как вспомню этот эпизод — так сразу легче на душе.

Так вот, пока она пресмыкалась в пыли, я пытался довести до ее понимания следующее: “Запомни, мразь, навсегда, — говорил я ей, — что ты имеешь дело не со своими ублюдочными любовниками, нет. Ты имеешь дело со мной, а я — великий паук. И я не дам вам превратить меня в ничтожество. Вы все хотите меня унижить, сломать, сломить мою волю. Не выйдет! Запомни это навсегда, ты, шмакодявка!”

Да, я торжествовал. И — в то же время — как я страдал! Все рушилось. Рушилась моя вера в любовь. Я смотрел на этот жалкий обрубок, копошащийся у моих ног, и думал: неужели вот эта бесформенная мерзость — это то, чем я восхищался, без чего тосковал, чему отдал свое сердце! Знаешь ли ты, ненавистная муха, что такое настоящее страдание?”

С этими словами паук приподнялся и, нацелившись, всадил свои крепкие челюсти в мушиную грудку. Затрещал хитиновый покров. Муха затрепетала от боли.

“Да, да, да! — воскликнул паук. — А вот теперь увеличь эту боль в тысячу раз, и ты узнаешь, как было больно мне!”

Паук остановился и перевел дыхание.

“Но через некоторое время моя боль прошла, уступив место божественному прозрению. Я спокойно смотрел на это жалкое существо, скрючившееся в уголке (она уже больше не рыдала, а пребывала как бы в оцепенении) и думал про себя: “Спасибо, судьба, что ты учишь меня не предаваться иллюзиям! Отныне я стану еще опытнее, еще сильнее и перестану верить в счастливые концы!”

Приняв такое решение, я уже больше не обращал внимания на бабочку, вернее, на то, что от нее осталось. В какой-то момент она сама исчезла, уползла куда-то... Больше я ее не видел.

С тех пор мое одиночество стало глубже и беспросветней. И я рад, ибо оно помогает мне постоянно находиться лицом к лицу с реальностью, не впадая в иллюзии. Благодаря своему одиночеству я могу созерцать глубину бесконечности, подниматься до самых

высот божественной Истины, быть абсолютно свободным и независимым! Слышите, вы все, цепляющиеся друг за друга ничтожества! Я свободен, я лечу! О, священное одиночество, как ты прекрасно!”

Паук долго сидел неподвижно, наблюдая, как садится солнце. Потом тяжело вздохнул, обернулся к своей жертве и, прильнув, мягко впился в нее челюстями, блаженствуя и торжествуя...

Теренти Гранели

ИЗ ПОЭТИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ

Предисловие и перевод с грузинского Марины Георгадзе

1

Имя поэта Теренти Гранели (1896-1934) за пределами Грузии неизвестно. В отличие от современников и собратьев по цеху символистов — Галактиона Табидзе, Паоло Яшвили, Тициана Табидзе, Валериана Гаприндашвили и других, чьи стихи, пусть переведенные по подстрочникам, достаточно хорошо знакомы русскому читателю, Теренти Гранели вплоть до последних лет на русский почти не переводился. А между тем, в двадцатые годы он был заметной фигурой. Он дружил с Галактионом Табидзе, посещал те же кафе и пирушки, что и Пастернак, и Есенин, и братья Зданевичи. Легко представить, что в то самое время, когда Тициан Табидзе в своей квартире на Грибоедова 18 (где сейчас помещается его музей) декламировал Пастернаку свои стихи, чтобы дать почувствовать “дух и звук” оригинала, — Теренти Гранели находился всего метрах в 50 вниз по склону горы, фланируя по своему обыкновению по Руставели с букетом фиалок в руке. В 1924 году, по выходе в свет поэтической книги “Memento Mori”, Гранели в одночасье стал “мэтром”: именитые критики называли его “восходящей звездой” грузинского символизма, в театре Руставели ему был устроен литературный вечер, а в артистическом кафе “Химериони” его чествовали как “короля поэтов”.

Иными словами, зная, как тесно — по и помимо традиции — грузинская и российская культурная жизнь начала века были связаны между собой, невозможно представить, что такую крупную и своеобразную фигуру как Теренти Гранели потенциальные переводчики просто “проглядели”. Разумеется, он был странной личностью: даже в эпоху, когда экстравагантность поведения считалась нормой, он, с его ночевками на кладбищах и в городских садах, вечно печальный, с отсутствующим взглядом и с почти полным отсутствием всех прочих сторон жизни, кроме поэтической, патологически обидчивый, даже тогда Теренти считался

в обществе полу-юродивым. Но, согласно всеобщему мнению, странность — достоинство и чуть ли не обязанность творческой личности, разве нет? И в конце концов, художник Нико Пиросмани тоже валялся пьяный под лестницей.

Неизвестность Гранели “за границей” есть, по-видимому, следствие того, что и в самой Грузии он известен “по умолчанию”. Его не забыли, нет. Его поэтический авторитет весьма высок. Небольшое поэтическое наследие — несколько книг стихов, умещающихся под обложкой одного тома, и дневник последних лет под названием “Капли крови из сердца” — аккуратно переиздается; время от времени появляются статьи и монографии. Многие знают и любят его стихи, правда, не упоминают об этом по собственной инициативе. Ни тостов, ни юбилеев, ни литературных вечеров. Говорить о Гранели как бы не принято. Но эта не свойственная грузинам сдержанность в поминании поэтов и героев объясняется не небрежением: просто (переводя неписаное в слова) Гранели должно чувствовать молчанием, как других — речами. Иногда в молчании о Теренти чувствуется также оттенок охранительной заботы, будто приближение к нему чревато опасностью для автора и для читателя — следуя стихам самого Теренти:

...Я столько простоял во тьме кремешной
Что белый свет, боюсь, меня зарежет...

Или:

... Я — там где бездна, я — там где тьма
Чтоб не ходили и не глядели...

2

Кратковременный взлет интереса к Теренти Гранели произошел недавно, во время правления печально известного президента Звиада Гамсахурдиа, видимо, потому, что Теренти, как и Звиад, был мегрел, и некогда отец президента Константиниз Гамсахурдиа писал на книги поэта хвалебные отзывы. Стихи Гранели были переизданы в большом количестве под твердыми обложками. Однако очень быстро стало ясно, что в поэтические знамена никакой общественной идеи — плохой или хорошей — эти исчерна-траурные стихи о смерти и призраках не годятся. В юности, правда, Теренти опубликовал в газетах “Иа” и “Сахалхо сакмэ” несколько заметок за национальное возрождение и чистоту грузинского языка —

статей, которые поражают граммофонным безличием слога. Зато позже патриотизм, как и всякая другая общественная данность, перестал для него существовать: если бы не частые упоминания Тбилиси (“мой мучительный Тбилиси”), который Теренти любил как человека, — читая его стихи, вообще невозможно было бы угадать, в какой точке земного шара находится поэт.

Бесконечные смуты начала века — русская революция, образование, расцвет и разгром грузинской республики, годы коммунистических репрессий — все это обтекло Теренти Гранели, как вода обтекает камень. Единственный предмет его монотонных, фонетически очень гармоничных, синтаксически простых до примитивности стихов (упомянутыми качествами в переводе в большой степени и к большому сожалению пришлось пренебречь) это он сам, точнее, он как субъект страдания, беспричинного и безысходного. Единственная часть внешнего мира, за которой он наблюдает, — природа. Сводки состояния природы в стихах обычно совмещены со сводками собственного душевного состояния:

Гора в тумане. Село в снегу.
 Страданье можно перетерпеть.
 Но если я взлететь не могу
 — то это уже означает смерть...

Время весьма волнует его, но не текущими в нем событиями, а самим своим течением. То ли с ужасом, то ли со смертельной скукой — а иногда с чем-то вроде торжества Теренти следит за сменой дня и ночи и времен года:

Вечерние звезды в глазах расплываются.
 В душе моей — дух, а в саду — природа.
 А я — человек, что живет и мается
 В двадцатом веке такого-то года.
 Опять я один. Сестра далеко.
 И дни пролетают, меняясь в цвете.
 О Господи, как я устал оттого
 Что радости не нахожу на свете!

Даже жертвой большевиков он умудрился не стать — не застрелился, как Паоло Яшвили, не выбросился из окна, как Галактион Табидзе, не был расстрелян, как Тициан Табидзе. В смерти его, ранней и трагической (он умер в Арамянцевской больнице в Тбилиси после шести лет скитаний

по психушкам), решительно нельзя обвинить никакую внешнюю силу, кроме, разумеется, самой жизни.

Так что энтузиазм правительства Гамсахурдиа быстро увял.

3

Эта жизнь, так мучившая Теренти Гранели, на “нормальный” взгляд не была такой уж плохой: его биография являет собой обычную долю человеческих несчастий и успехов; собственно, в сравнении с некоторыми современниками, можно даже считать, что ему повезло: беды века его не коснулись, всегда вокруг находились люди, сочувствовавшие ему и пытавшиеся помочь (правда, без особого результата). Но поэт Теренти Гранели никак уже не связан с жизнью Теренти Квирквелиа из Цаленджихи, он — человек без прошлого:

Прошлое — где ты? Вспомнить захочешь

— синие страхи встанут из гроба.

Помню лишь ночи, и ночи, ночи.

Полные скорби — и скорби, скорби.

День уходящий сном обернется

А в настоящем вижу бессильно я

Жгучее солнце, жгучее солнце

И небо, небо — синее, синее...

Что же до сторонних попыток “обобществления” Теренти, то каждый, пытающийся поведать о нем в письменной или устной форме, сталкивается с непреодолимым препятствием: говорить о Теренти Гранели языком разума невозможно. Рассказчик, как заколдованный, наблюдает за тем, как речь его теряет связность, события разных лет сбиваются в ком; фразы упрощаются до предела и становятся в грамматическую форму настоящего времени (точь-в-точь как в стихах Теренти) — и испытывает немислимое желание вместо Теренти заговорить о себе и о смысле — вернее, бессмысленности жизни.

Бытующее мнение, будто писатели и поэты перевоплощаются в своих героев, а читатели выбирают любимых поэтов и писателей по внутреннему подобию, по-моему, глубоко ошибочно. Но не в случае с Теренти Гранели. Ни читать его стихи, ни тем более писать и говорить о нем невозможно, не влезая при этом в его шкуру.

Недаром лучший современный специалист по Гранели, г-н Лэри Алимонаки, редактор сборника лирики Гранели и автор его краткой биографии, данной в приложении к этому сборнику (написанной в пристойном традиционном ключе: “родился-жил-умер”), для монументальной биографии выбрал, казалось бы, немислимую форму повествования: внутренний монолог поэта. Воспоследовавшая книга “Воскресные службы” представляет собой невероятно распространенную прозаическую вариацию на темы стихов Теренти, сквозь ткань которой, как сквозь дымчатую пленку, можно с трудом усмотреть контуры реально происшедших событий. При этом в книге воспроизводится духовный мир вовсе не сумасшедшего — а наоборот, — очень разумного и здравого человека, наделенного сверхъестественной восприимчивостью; при этом книга обладает поразительной достоверностью: читая ее не сомневаешься, что все это так, и не вспоминаешь ни секунды, что написана она вовсе не тем, от лица которого ведется повествование.

Между тем, простая повесть состоит в том, что Теренти был третьим ребенком в семье бедного крестьянина из села Цаленджиха, что под Зугдиди, Самсона Квиквелиа. У него было две сестры — Машо и Зозиа. Мать умерла, когда мальчику не было и пяти. Это (по г-ну Алимонаки) было первым потрясением, определившим всю дальнейшую жизнь Теренти: мальчик сидел под столом, глядя, как движутся мимо ноги пришедших на панихиду людей. Отец женился на другой; вопреки сказочной традиции, удачно. Мачеха обожала детей, а они ее. С мачехой они ходили через горы в воскресную церковь (Теренти до конца жизни обожал церковные службы, особенно пасхальную). Там, недослушав или недопоняв чего-то, Теренти решил как-то раз, что Второе Пришествие ожидается завтра, прождал весь следующий день на холме и, не дождавшись, заболел от разочарования. Вообще же он отличался добрым нравом и сообразительностью. В школе его прозвали “царь учеников”. Он учился, а вечером помогал отцу в мастерской. Вскоре свел знакомство с известным зугдидским книжником Иакобом Шанава и стал в свободное время пропадать в его библиотеке, поглощая русскую и европейскую литературу. Этот же Иакоб Шанава со временем уговорил отца, несмотря на крайнюю стесненность в средствах, отправить мальчика учиться в университет — и в 1918 году, сопровождаемый старшей сестрой Машо, Теренти совершает главное и единственное перемещение в своей жизни: из Цаленджихи в Тбилиси.

Тбилиси тогда называли “маленьким Парижем” — несмотря на недавний разгром грузинской республики, это был все еще вольный город, наполненный людьми артистических профессий, в том числе, беглецами из России и европейцами. Теренти слушал профессоров в университете, работая одновременно то в газете, то на железной дороге, но главное — он окунулся с головой в жизнь поэтической богемы, присягнув на верность символизму. В 1919 году он начинает печатать стихи под псевдонимом Гранели (от латинского granum). С 1920-го один за другим появляются его поэтические сборники. С этого момента его “внешняя” биография растворяется, как сахар в чае, и превращается в биографию поэтическую: “на месте сердца — одна поэзия”. Время от времени он навещает сестер в Цаленджихе, но всегда спешит обратно. В 1924-м выходит его главная книга Memento Mori, и он становится “восходящей звездой”, но сразу вслед за этим “звезда” начинает закатываться. Последний сборник Гранели выходит в 1926 году, затем он фактически исчезает с поэтической арены, хотя продолжает писать стихи (последнее стихотворение написано за день до смерти). Его жизнь отныне делится на все удлиняющиеся побывки в Сурамской психиатрической больнице. Выныривая, он скитается по улицам Тбилиси, по кладбищам и садам, заходит в церкви, сидит по ночам под чужими окнами, слушая чье-то пение, слабеет на глазах. Друзья находят ему жилье, работу — не ради денег, а ради возвращения к реальности. Как-то раз Теренти с энтузиазмом принялся за работу — его хватило на неделю, а из своей комнаты приходилось убегать на улицу с появлением ночных призраков.. Когда в очередной раз приходили санитары, Теренти катался по полу с криком: “У меня змея в голове!”

4

Эпизод с чествованием в “Химериони” закончился плачевно: кто-то из всегдашних насмешников обронил из-за спин: “Какой он король поэтов?! Он же сумасшедший!” — и прежде чем кто-то успел возмутиться, Теренти выкрикнул: “Я не сумасшедший, я — гений!”, продрался к выходу и исчез.

Выкрик был всего лишь ответом “врагу” на языке врага. Понятие о “постыдности” душевного недуга для Гранели не существовало, так же как и не было у него никаких, даже малейших, и обычно столь неизбежных у самых неизбалованных авторов, амбиций, связанных с оценкой собственного дарования. В стихах Теренти поражает полное отсутствие чес-

толюбия, — каких бы то ни было ролей и масок, без коих не обходятся и обычные люди в повседневной жизни, а тем более поэты. Он часто сравнивал себя с разными вещами: “я — дождь”, мог он сказать, или: “я — Христос”; “я — ребенок-всевышний” или: “я — ничто”, имея в виду скорее превращение себя в эти лица и предметы, а не возвышение (или принижение) своей персоны. Можно сказать, что собственная личность интересовала его лишь как нечто способное страдать и писать стихи об этом страдании; стихи были оправданием и кульминацией его существования, и всякие нападки на себя он воспринимал, как нападки на свою поэзию. По поводу вечера в “Химериони” он напишет с усталым безразличием:

День кончен — другие придут на смену.

Быть может, я вправду король поэтов.

Но как мне замедлить падение снега?

И как вернуть отошедшее лето?

Позволим себе предположить, что именно необычная очищенность стихов Теренти от всякого “я” с его щитами и доспехами объясняет быстроту, остроту и силу их воздействия, знакомую каждому, кто читал его стихи в оригинале, — а вместе и беспокойство, и тянущую тревогу, долго не отпускающую после их чтения. Невозможно не заподозрить в этом странно-знакомом голосе голого страдания часть себя, похороненную глубоко под защитными слоями мыслей, дел, памяти, привязанностей, там, где это “я” кричит в одиночестве, и нет ничего — только собственный крик, и черный ветер, и убийственный ход времени.

Что же касается сумасшествия, то поэт рассматривает его скорее как бремя, а не как болезнь — или даже “дело”, неотрывно связанное с самим фактом наличия жизни и судьбы. В стихах “схождение с ума” упоминается постоянно, иногда — с интонацией отчаянного выкрика, иногда — обыденно, как рутинное состояние, и довольно часто — с хладнокровием человека, уже оставившего все это позади.

... Долг отдал и сошел с ума я,

А теперь мне хочется выжить.

Вообще мотив взгляда назад — из-за порога боли, безумия, жизни — весьма часто встречается в лирике Гранели. Будь он широко известен, эту особенность, как и прочие, давно бы уже препарировали во всевозможных био-химии-фрейд-литературных анализах. Но поскольку он неизвестен,

дело ограничивается немногочисленными письменными беседами грузинских критиков и устными — грузинских читателей. И, в гостиной ли, или на страницах журнала, эти беседы от обсуждения стихов быстро переходят на обсуждение личности Теренти, которое, по причине отсутствия оной, затруднено, и в конце концов сводятся к одному и тому же безответному вопросу: а был ли Теренти сумасшедшим? Как может безумец писать такие “разумные” стихи?

Вопрос необычный, во-первых, тем, что о Теренти Гранели всегда и непременно сообщаются только два факта — что он был душевнобольной и что побил все рекорды поэтической меланхолии, написав за всю жизнь только одно относительно “светлое” стихотворение. Во-вторых, никто из спрашивающих — как и никто вообще — не может объяснить, что такое сумасшествие и что такое нормальность. И тем не менее, любое обсуждение Теренти Гранели неизбежно заканчивается страстным психиатрическим спором. Как-то раз Нита Табидзе, дочь Тициана Табидзе, представила меня своей гостье:

— Познакомься, это г-жа Н., вдова поэта Н. Между прочим, она знала Теренти. Можете поговорить.

— О, правда? — подпрыгнула я. — А скажите... — Но гостья не дала мне договорить, рванувшись с тем же энтузиазмом ко мне: — А! Вы любите стихи Теренти? Как интересно! А скажите, как по-вашему, был он в конце концов больным — или нет?

— Но позвольте, — обиделась я, — ведь я как раз хотела то же самое спросить у вас. Ведь это вы его знали...

Дама вздохнула.

— Да, конечно. Он часто приходил к нам на обеды. Бледный такой, сидит и молчит, обратишься к нему — не отвечает. Часто он, кажется, не помнит, где находится. Но, видите ли, люди часто странно себя ведут, и это вовсе не значит... Вы понимаете, что я хочу сказать? А тем более, когда начинаю читать стихи — то так думаю, то эдак. И почему-то это меня очень волнует.

— Вот и меня тоже..

— Оставьте человека в покое, — заметила Нита. — Сумасшедший, не сумасшедший... Между прочим, я вспомнила поговорку, которую ты просила, но думаю, она тебе не подойдет:

“Безумный — не тот, кто собирает. Тот, кто рассыпает, — не безумный”.

* * *

Я думал о смерти — о чем еще думать?
И мысли меня обступили как лес.
Все тот же мой путь — одинокий, угрюмый,
Все то же сиянье субботних небес.

И сердце все так же стучится бесплодно.
И грусть моя тянется день ото дня.
И август растаял как сон, а сегодня
Всего лишь четвертое сентября.

Я шел — с каждым шагом все ближе к могиле.
Земля как убийца шаги стерегла.
О чем еще думать? — Я думал о милой.
Все та же магнолия рядом цвела.

* * *

Я слышу: враги меня окружают.
Я знаю: лекарства всегда помогут.
К воротам мусорщик подъезжает
И ночь закончена, слава богу.

Под вечер скрипка в висок вонзится
А в полночь я запираю двери.
И ровно в полночь я жду убийцу
Дрожа от страха в своей пещере.

Сейчас октябрь, почти что холод.
Промчались летние дни гурьбою.
Я снова в комнате этой голой
И снова, снова я — сам с собою.

А думал — враги меня окружают.
А думал — лекарства всегда помогут.
А думал — мусорщик подъезжает
И ночь закончена, слава богу.

ПРОБУЖДЕНИЕ ПОСЛЕ СМЕРТИ

Какой над долиной мрак!
Как будто меня здесь нету,
Глядящего грустно так
В безмолвное небо это.

И ветер с такой же силой
Бушует присно и ныне.
Как будто меня разбудили
— но после моей кончины.

ОЖИДАНИЕ СУДЬБЫ

Эта бледная полночь
Вцепилась в меня как ястреб.
Никто не придет на помощь
— лишь шорох дорог ненастных.

Зима причитает горько,
Приникнув к розе потухшей.
И ночь идет мимо окон.
И что-то звенит снаружи.

Снега голубые скрыты
За краем белых молений.
Туда швырнут после битвы
Клочки моих сновидений.

Лишь звуки дождя раздаются
В комнате полной мрака.
И я хочу улыбнуться
— но жизнь заставляет плакать.

И тело мое — руина.
И память — на сердце камень.
Как ждут непогоды зимней
Судьбы ожидаю. Amen.

БЕСЦЕЛЬНАЯ ПРОГУЛКА

И это поле, и эта осень
Зовут бродить бесцельно и слепо.
Мне так хотелось взлететь на небо!
Моя душа земли не выносит.

Того, чье сердце — бассейн безводный,
Дорога тянет как мед — пчелу.
Я видел сегодня могилу сводни
И нищий хватал меня за полу.

Я ветром как пламенем весь охвачен.
Надежд на спасение больше нет.
На свете я ничего не значу
И только плачущим шлю привет.

И вновь беспомощно вспоминаю
как ночевал я в мусорном баке.
Орган и ветер гудят во мраке,
А в окнах — чучела попугаев.

Чем выше в небо мечта заносит
Тем ты, родная земля, страшнее.
Того кто жизни совсем не просит
Зачем, Господь, награждаешь ею?

Я снова ночью на мраморных плитах.
(А кто-то бледнеет. А кто-то боится.)
Потомок, такой же как я, убитый,
Придет могиле моей поклониться

— Но как же трудно об этом думать
Пока глаза еще жаждут света!
О Господи, что же за мрак безумный
Вокруг, — о Господи, — что же это?!..

ПОЭЗИЯ

Эту ночь поставили как точку.
Шхуны снов поплыли белым строем.
Сокрушаюсь я и знаю точно:
И тебе сегодня нет покоя.

Я есть я, и ветер — снова ветер.
Я есть я с моей мольбою слезной.
В эту жизнь попав как рыба в сети
Обращаюсь то к Луне, то к звездам,

— А душа как всадник погоняет...
.. Засияю, закружусь когда-то
Как сияет жизнь, как смерть сияет;
Как планеты кружатся и атом,

— Но пока меня тревожит город,
Ураганов поступь по долинам.
Жизнь — ты слышишь? — это грязь и морок.
Лишь одна поэзия невинна.

Я врагов своих в лицо запомнил.
Свет в моих руках опять не светит.
Настоящая любовь безмолвна.
Истинно влюбленный — безответен.

Эту ночь поставили как точку.
Шхуны снов поплыли белым строем.
Сокрушаюсь я и знаю точно:
И тебе сегодня нет покоя.

ОСЕННЯЯ ПАСТОРАЛЬ

Душа куда-то умчалась снова.
Мучителен этот сон непроглядный.
В чужом дворе, у окна чужого
Я тихо сижу один — и отрадно.

Я так хочу и скажу об этом
— Что ожиданье всего труднее.
А в тишине мимо леса где-то
Течет река и над ней темнеет.

Назавтра опять прилетит как туча
Такая же ночь — но длинней чем эта.
Великий Боже! Я так замучен
Всем тем, что прожито и пропето.

Как вянет роза — так вянет сердце.
(В окне напротив свет потушили.)
И я опрокидываюсь в бесконечность
И вижу красную стену могилы.

* * *

Ветер взметает черные мысли.
Дней промелькнувших белые лица.
Надо покончить самоубийством.
Больше мне не за что ухватиться.

Даже стихи — и они не помогут,
Пятнами крови застыв на бумаге.
Стих мой взлетит, предначертанный Богом.
Путь мой падет, перерезанный мраком.

* * *

День блаженный, тяжкое мученье.
Улыбаюсь, выхожу под ветер.
Осень смотрит в бездну с облегченьем
И деревья догола раздеты.

Словно войско маршируют мысли.
А ладони — холодной железа.
Много-много желтоглазых листьев.
Осень спит калачиком над бездной.

* * *

Я шел, а женщина пела.
О жизни думал с тоскою.
А в небе Луна висела,
Приглядывая за рекою.

Свеча впереди горела.
(Откуда тоска такая?)
Я шел — по пятам летела
Безумных помыслов стая.

Я шел, убитый покоем.
Толпа надо мной смеялась.
И вот — вернулся домой.
Был вечер. Среда кончалась.

* * *

К утру утомляюсь сходить с ума
И голуби сердце мое уносят.
Я там стою, где такая тьма
Что даже взгляда никто не бросит.

От сердца осталась одна поэзия.
К рассвету ближе ветра стихают.

Я там стою, где такая бездна
Что люди к краю не подступают.

И жизнь для меня чересчур сложна.
В горячке чувств исчезает тело.
Я — там где бездна. Я — там где тьма,
Чтоб не ходили и не глядели.

* * *

Больница похожая на могилу.
Здесь легче думать о смерти. Легче
Следить, как уходят разум и силы.
уходит жизнь — наступает вечность.

Вот полдень. Полночь не за горами.
Воскресный полдень и солнце светит.
Сегодня сердце, наверно, встанет
И я причалю к берегу смерти.

Дышу, мгновенной мукой распятый.
Согнув колени, лежу в постели.
(А солнце светит.) Ко мне в палату
Приходит врач, очкастый и белый.

И слышу: где-то петух горластый
Кричит. Прекрасный солнечный день.
В глазах темнеет. Но пить лекарство
Из трубочек этих стеклянных лень.

От сильной боли такие мысли
Приходят, какие раньше не снились:
А вдруг умру, и пойму, что в жизни
Моей ни капли не изменилось?..

Манук Жажоян

ПОСЛЕДНЯЯ СЕМИОТИКА

Главы из несуществующей книги

ФРАЗЕОЛОГИЯ

Хорошо было бы придумать термин, антонимический к филологии. Хорошо было бы придумать профессию: логофобия... Но неприязнь к слову — такой же дар, как и поэтический, и ему нельзя обучиться: им можно быть пораженным во чреве. Неприязнь к слову — такая же врожденная болезнь, как и наследственный сифилис, и если мы, подразумевая величайшего из французских поэтов, погибшего от этого недуга, отождествим неприязнь к речи с поэзией, мы пойдем скорее на кощунство, чем на преувеличение.

Другой поэт, Рембо, отказался от слова в том возрасте, когда обычно делают первые признания в любви к нему.

А в предсмертном бреду в “классическом” 37-летнем возрасте он вспоминал лишь о своих деньгах, то есть о том единственном, что избавляет писателя от бремени любви к слову.

Жизнь пишущего эти строки издавна омрачена одним психическим недоразумением, которое можно диагностировать как “идиоматический идиотизм”. Как бы это объяснить...

Ну, вот есть “топографический идиотизм”, когда пациент не отличает правое от левого. Есть “политический идиотизм”, когда пациент не отличает “правых” от “левых”. (Кстати, этими недугами автор этих строк тоже страдает).

Есть нравственный идиотизм, когда пациент не отличает правое от неправого.

Есть “поэтический идиотизм”, когда пациент не различает, что такое “месяц с правой стороны” и “месяц с левой стороны”...

А есть “идиоматический идиотизм”, когда пациент не различает буквальное от небуквального в выражении, например, “ходить на-

лево". Нормальная реакция на идиоматическое выражение должна быть следующей: человек пренебрегает прямым значением ради переносного, фразеологического, когда несколько слов сливаются в одно понятие, ничего общего с семантикой составляющих его слов не имеющее. Вот этого-то мне и не дано. Когда я слышу: "от этой печки мы будем танцевать", "собаку съел", "кузнец своего счастья", "шило на мыло" и т.д., я всегда с удручающей, буквальной отчетливостью вижу и танцующего от какой-то печки придурка, и съедаемую собаку, и запыхавшегося кузнеца, иступленно долбящего наковальню своего счастья. Это утомительно: вечно иметь перед глазами пропавшего пана, посыпаемую пеплом голову, мужа, объедающегося грушами, не свои сани, чужие монастыри, Богдана в городе, Селифана в селе, выкарабкивающегося из грязи князя и проч. и проч.

Так, должно быть, чувствует себя человек, проклятый способностью видеть человека насквозь, опять же буквально, — его внутренности. Такая способность если и не обрекает на мизантропию, то уж во всяком случае не располагает к чрезмерному человеколюбию.

Недуг мой вызывал поначалу во мне лишь глухое раздражение против идиом, затем — против их носителей. А поскольку этими носителями является большая часть человечества, то в конце концов это и привело меня к пагубной и непреодолимой мизантропии.

Так, должно быть, чувствует себя человек, живущий всю жизнь на кухне, ибо фразеология, в сущности, — это самое низменное в языке, его лакейская, его сальная повседневность.

"Половина войдет в поговорку", — сказал Пушкин о "Горе от ума". Так и случилось. Он и не догадывался, что подписывал тем самым приговор *поэту* Грибоедову. В этом есть нечто подспудное: Пушкин вообще недолюбливал Грибоедова.

Поэзия — это смертельный поединок с фразеологией. Вещи гораздо более несовместные, чем гений и злодейство.

Суевернейший Пушкин был свободен от пагубнейшего для поэта суеверия — суеверия языка, сосредоточенного в идиоме. Вполне возможно строить поэтическую иерархию по идиоматическому принципу: чем меньше в стихах фразеологии, тем выше поэт.

Многое ли из него "вошло в поговорку"? "Дела давно минувших дней"? Это? "Лета к суровой прозе клонят"? Это? Что ж, дай Бог,

чтобы вся русская фразеология была лишь такой... “Пойдет направо — песнь заводит, налево — сказку говорит”? Это? Как ни воспринимай этого кота, буквально или фигурально, все равно это прекрасный кот.

В конце концов, суевернейший Пушкин прекрасно различал *правое и левое*.

СПЛЕТНЯ

Феномен сплетни (как и феномен лжи) располагается в области не нравственной, а речевой. С этим может не согласиться лишь тот, о ком сплетничают. Это и понятно: он ведь не приглашен на тот пир языка, каковым является сплетня, ибо его отсутствие и есть неперемное условие этого пира.

Сплетня — это та интимнейшая (если не сказать эротическая) область языка, где он соприкасается с человеком, но с *человеком отсутствующим*, то есть с лучшей разновидностью человека разумного.

Полноценный разговор двоих, диалог, возможен только тогда, когда есть самый занимательный предмет разговора — отсутствующий третий. *Третий лишний*.

Сосредоточенность двоих друг на друге губительна для них же самих, — это лучше всего подтверждается институтом брака и прочими “крейцеровыми сонатами”. Язык не прощает столь фамильярной близости к себе: поэтому нам так трудно сказать *ты*, так трудно сказать *я и ты*, так трудно сказать *мы с тобой*, но так легко — *он, она, они...*

Люди ханжествующие, то есть те, кто прерывает сплетню на самом интересном месте, считают, что сплетня — это дурные отзывы об отсутствующем. Их ханжество нелепо и смехотворно прежде всего потому, что они искренне думают, что отсутствующий в эту же самую минуту не занимается тем же по отношению к ним.

Человечество, таким образом, есть сообщество взаимно *отсутствующих*, и тем, собственно, оно и прекрасно.

“У Достоевского, — писал Дмитрий Шаховской, — очень силен элемент сплетни”. Здесь он раскрыл не столько секрет Достоевского, сколько секрет беллетристики.

Не будь сплетни, не существовало бы литературы, ибо литература — это сплетня *одного* против *всех*, а здесь язык всегда пойдет тебе навстречу, — ведь он для того и создан, чтобы говорить о тебе, когда тебя рядом нет.

ЛОЖЬ

Любой, кто обратится к категорическим императивам своего детства и отрочества, должен будет сознаться, что наибольшее смущение у него вызывал запрет лгать. Я, во всяком случае, до сих пор помню то свинцовое впечатление, какое произвел на меня *афоризм* Чехова: “Кто лжет, тот грязен”.

В более четкой форме афоризм этот закреплен в уголовном кодексе: дача ложных показаний. Он, однако, в этом деле достаточно беспринципен, ибо уголовно наказует только тогда, когда ложь обращена к его же, кодекса, пунктам. То, что ложь не всегда напрямую приводит к телесному или материальному ущербу, ослабляет кодекс, — и здесь его филологическая ограниченность. Кодекс не догадывается о том, что ложь — это парадигматический фокус, словесная диффузия, газ из духовки, — словом, то, что нельзя найти и обезвредить.

Все это, однако, имеет отношение к случаям частным и интимным, и здесь ложь наказуема по другому кодексу, грозящему гораздо более длительным сроком заключения — кодексу религиозному: “Не лжесвидетельствуй”.

Попасть в десятку заповедей — большая честь. Но не слишком ли много чести для такой вполне факультативной вещи, как ложь?

Люди, впрочем, обычно сомневаются в обоснованности запрета на приятную и полезную процедуру лжи только тогда, когда сами лгут, а не когда уличают во лжи. Однако существует весьма любопытный тип психопатов, которые любят быть обманутыми не меньше, чем лгать. Здесь, вероятно, следует искать разгадку феномена *читателей*.

Ложь, в сущности, была от века осуждена по формально-логическому недоразумению: скорее всего, какой-нибудь роконосец определил ее как несоответствие истине, как неистинное суждение. Но природа лжи не столь топорна и в любом случае не столь драматична: ложь — это всего лишь вариативность, и не более то-

го. Обычное распространение, раздробление целого, единственного, невариативного — истины.

Странно в этой связи читать у поэта:

Тьмы низких истин нам дороже
Нас возвышающий обман.

Здесь все поставлено с ног на голову. Хорошо, допустим, что под “возвышающим обманом” он имел в виду поэзию или что-нибудь в этом роде, а под “низкими истинами” обыденную житейскую мудрость. Но как раз житейскую мудрость и составляет с переменным успехом узаконенная ложь. Собственно, поэтому уголовный кодекс и относится ко лжи гораздо мягче, чем, например, к воровству. Ибо ложь — это *вербализованное* воровство (истинное воровство совершается в молчании, что придает ему эстетические черты), а то, что вербализовано, не опасно для кодекса.

Что же до возвышающего обмана, то поэзия меньше всего способна на это (и об этом чуть ниже). Всякая стоющая поэзия удручающе правдива, так как имеет дело с лирическим исповеданием, то есть с физиологическим состоянием, исключаящим обман. Люди, далекие от поэзии, называют это истерикой.

Именно беспардонная правдивость поэзии создает иллюзию обмана, ибо это та степень откровенности, которой трудно поверить. Люди, близкие к поэзии, называют это “возвышающим обманом”.

Тот, кто не признает единственности истины, не знает, что такое ложь. Как сказал бы Уайльд, эти люди безнравственные, причем безнравственность не делает их привлекательными. Их порочность состоит не в нравственной слепоте, а в словарном запасе и в запасе воображения. Они не вмещают бесконечной множественности лжи при единой истине, а довольствуются лишь двумя-тремя вариантами самой истины (то, что в просторечии именуется плюрализмом).

Тот тезис, что истина невербализуема, — всего лишь манерная мистификация Нового времени. В конце концов, мы не знаем, ответил Христос на вопрос Пилата или нет. Скорее всего, нет — Спаситель понял, что ему больше не о чем говорить.

Усталость в нашей теме — незаменимое слово. Чем больше утомлен человек, тем меньше он склонен ко лжи (не этим ли пси-

холингвистическим принципом руководствовались изобретатели пытки?).

Способность ко лжи есть показатель жизненного азарта — то, что Уайльд ошибочно идентифицировал с азартом эстетическим. Как раз наоборот: художники в большинстве своем — люди анемичные и бледно-печальные (потому они и выбирают так называемое искусство, т.е. форму деятельности, позволяющую делать минимальное количество телодвижений; исключение здесь — актеры, но они спасаются показательно присущим этому племени кревоугодием). На ложь им не хватает в первую очередь физической энергии.

Невольным доказательством наших догадок является не только народная этимология слова *художник*, но и не сравнимая ни с чем жизнеспособность и долговечность реализма, — жанра, в котором творец совершенно искренне думает, что он не лжет.

Но что бы мы не говорили, от лжи все-таки тянет каким-то зловонным душком. Откуда этот запах?

Он исходит от тех структурных смещений и подмен, которые мы преступным образом совершаем, когда лжем. Мудрую, мозаичскую, поливариантную природу лжи мы насильственно наделяем качеством, ей противопоказанным: качеством единственности, инвариантности, качеством истины. Например, вы приходите домой поздно ночью и оказываетесь перед вопросом: “Где ты был?” Разумеется, вы не станете говорить правду. Вы скажете, что засиделись у друзей. То есть единственно возможный ответ (который вы вполне вправе скрыть) подменяется *единственным* же, всего лишь *одним* вариантом ответа. Вы таким образом не лжете, но узурпируете истину.

А ведь вариантов гораздо больше: вы засиделись у друзей, или гуляли по набережной, предаваясь ностальгии по утраченной юности (кстати, чем больше лирических оттенков во лжи, тем она достовернее: один из секретов поэтической суггестии), или подверглись обыску и все это время просидели в участке, или стригли собаку одной доброй старушки, или доставляли в больницу эпилептика, или заблудились в трех соснах, или искали лунный камень, и т.д.

Для того чтобы сохранить самоуважение, вы обязаны на вопрос “Где ты был?” выдать все эти варианты одновременно. Это вас ни

от чего не гарантирует, но вы будете избавлены от обвинений во лжи.

Ибо вы предали все что угодно, но не ее.

ТЕЛЕФОНОФОБИЯ

В отрочестве я знал об этой странности только по рассказам. Как только у меня появился телефон, я узнал ее на себе. Поначалу я утешался литературными параллелями: телефонофобами были Пастернак, Тарковский и другие мастера художественного слова. Однако телефон мой звонил гораздо чаще, чем мне приходили на память эти параллели, — так что утешение оказалось довольно зыбким.

К психоаналитикам я обращаться не стал, поскольку знал, что они будут больше заниматься моим детством, то есть той блаженной порой, когда у меня не было телефона.

Фобия моя, впрочем, понятна: ведь я выходец из страны, где боязнь телефонного звонка, уступающая по своей силе лишь стуку в дверь, была так же естественна, как инстинкт самосохранения. Но, видит Бог, страхи мои никаких пенитенциарных оттенков не имели.

Проще всего было бы, конечно, отключить телефон, но этот вариант я счел бегством от реальности, ибо никакой другой реальностью, кроме телефона, мы, в сущности, не обладаем.

Вообще, что такое телефон? Что он такое, кроме средства сказать в ухо то, что не можешь сказать в лицо?

И что плохого в том, что раздается в комнате пусть и иерихонский, но призыв, обещающий встречу двух голосов и к тому же разрушающий классицистский императив единства места и времени?

Ты берешь трубку. Но не знаешь еще, с кем будешь говорить... Да, разгадка, вероятно, в этом. В этой секунде неизвестности — неизвестности говорящего, — когда звонок уже раздался, а голос еще неизвестен... Тем, кто не ощущает этого дьявольского расстояния в одну секунду, телефонофобия не грозит. В сущности, это романтики. В них есть априорная предрасположенность к чужим голосам.

Ну хорошо, говорящий назвался, или ты его опознал сам, аристотелевское *узнавание*, сулящее, как известно, высшую эстетическую радость, произошло. Но почему Аристотель отходит от тебя именно в эту минуту, когда он нужней всего — чтобы эту радость прекратить. Ведь высшее эстетическое наслаждение уже как бы доставлено, разговор продолжается, и каждая последующая его минута убавляет радость, и к концу не остается уже ни радости, ни поэтики, ни Аристотеля, ни катарсиса, ибо то страдание, которое причиняет телефон, очищает скорее того, кто по ту сторону провода, чем того, кто по эту.

Здесь истины ради мы должны сказать, что телефонофобия — свойство в известной мере общечеловеческое (как, например, шизофрения); во всяком случае, подавляющее большинство людей слегка вздрагивает при телефонном звонке. Им гораздо приятнее слышать зуммер, ибо далеко не каждый отдает себе отчет в том, что зуммер для него — это звонок для другого. Как бы то ни было, набирающий номер нравится себе гораздо больше, чем тому, кто поднимает трубку. Абонент абоненту волк.

Но истинный телефонолюб тот, кто наделен достаточным воображением, чтобы, набирая номер, взглянуть на себя чужими, ненавидящими глазами. Здесь комплекс неполноценности соперничает с рыцарством, и чего больше — неизвестно.

И все-таки — что такое телефон? Средство скрыть выражение лица во время разговора? Скрыть лицо, чтобы подчеркнуть речь?

Ты не видишь говорящего. Ну и что? Ведь ты его воображаешь, как воображаешь далекую мать, недоступную возлюбленную, умершего друга, любимого поэта... Да, но воображение не допускает диалога (благодаря этому, собственно, и существует монологическая речь — при наличии известных стилистических умений переходящая из шизофрении в словесность) — здесь корень той дурно пахнущей двусмысленности, каковой является телефон.

Обманчивая свобода слова, обещанная изначальной природой телефона, оказывается на деле мертвящей скованностью и оцепенением, как, впрочем, и всякая свобода слова. Говорящие по телефону взаимно беззащитны друг перед другом: можно зажмуриться, сказать всё и кинуть трубку. Полная, животная, не сдерживаемая ничем свобода молниеносного признания в ненависти или любви. И перед тем, и перед другим вы беззащитны, когда держите у

уха трубку (процедура, кстати, мучительная и физически; любой телефонофоб вам скажет, что телефон сопряжен прежде всего с телесными страданиями). Вы не можете остановить жестом, приложить палец к своим или чужим губам, умоляюще взглянуть, отвести глаза, плюнуть в лицо, дать в морду. Вы в царстве чистого слова, а нет ничего отвратительнее, чем *чистое* слово, *просто* слово, *только* слово.

В. Одоевский с роковым ясновидением писал: “Письма в будущем сменятся электрическим разговором”. Любой телефонофоб различит в этом сбывшемся пророчестве апокалиптические оттенки (апокалиптические настроения, кстати сказать, особенно усилились после появления автоответчика. Гуманисты и джентльмены обычно предпочитают обходиться без его удобств, они просто не поднимают трубку). Но я не иду на это, так как не склонен переоценивать феномен переписки, по которому ныне модно ностальгировать. Переписка, по сути, такая же трусость, как и телефон, и разница только в отсутствии хамской одновременности общения — в пользу переписки, разумеется, есть только один достойный доверия вид переписки: письма без ответа. Мы таковой признали бы литературу, если бы не существовало читателей. (С этой стороны первыми и лучшими писателями следует считать утопленников, чьи лебединые песни до сих пор плавают закупоренными в бутылках).

Если идти по этому пути, то можно поэтизировать и телефон. Для этого нужно немного: звонить самому себе. Это не только единственное оправдание для телефона, но и единственный способ лечения от него.

Париж

Татьяна Толстая

РУССКИЕ?*

Если бы мне пообещали, что я всю жизнь буду жить только в России и общаться только с русскими, я бы, наверное, повесилась.

И дело не в том, что русские мне не нравятся или неинтересны — напротив. Ничего интереснее, парадоксальнее и противоречивее, чем русские люди, я не знаю. Россия — это большой сумасшедший дом, где на двери висит большой амбарный замок, зато стены нету; где потолки низкие, зато вместо пола — бездна под ногами; где врачи утратили разум, а пациенты по-своему очень хорошо соображают, что к чему, но притворяются ненормальными, и не потому, что хотят угодить врачам, а просто потому, что так интереснее, удобнее и волшебнее; где кошмары и ночные фантазии материализуются до полной осязаемости, а простые, подручные, необходимые предметы при ближайшем рассмотрении оказываются иллюзорными и бесплотными: протянешь руку — туман! Бродить по этому дому, рассчитывая свой маршрут и надеясь выйти к запланированному месту, невозможно: логики в русской вселенной нет, двери открываются не ключом, а заклинанием, лестницы нарисованы, схемы лабиринтов меняются без предупреждения. Лучшим путеводителем по России был бы “бедекер”, проиллюстрированный Морисом Эшером, с указаниями направлений, составленными Кафкой, Беккетом и Ионеско.

Когда русские врут, воруют и обманывают (тут мы лидеры, и первенства никому не уступим, и не потому, что врем и воруем больше других народов, а потому, что делаем это даже без пользы для самих себя, а порой и во вред, ради чистого искусства!) — то это не потому, что мы грешны, а потому, что дихотомия между добром и злом, правдой и ложью, светом и тьмой, правым и левым

*Это эссе было написано для английской газеты “Гардиан”, обратившейся к известным представителям разных национальных культур с просьбой вкратце их охарактеризовать.

для нас объективно не существует. Единственный абсолют — релятивизм, единственная константа — хаос. Каждый сам устанавливает правила игры, меняя их на ходу по собственной прихоти, а так как этим занимаются решительно все, то в результате совместных усилий образуется даже некоторая гармония, и сквозь клубящийся туман проступают причудливые формулы и модули хаоса, броуновского движения капризных частиц. И не надо спрашивать, каковы эти формулы: они широко известны и возведены давным-давно, так что желающие могут с ними ознакомиться — вся русская литература, весь фольклор и вся история к вашим услугам. Но боже упаси подходить к ним, вооружившись ясным светом логики и разума: это все равно, что есть желе вязальной спицей. Расслабьтесь, распуститесь, впадите в дневные грезы, в мечтательное состояние; выбросьте часы, очки, шнурки ботинок, ремень и подтяжки; повернитесь спиной к изучаемому предмету и встаньте на голову. Зажмурьтесь. Слышите звон в голове?.. Вы уже на пути в Русский Мир. Скоро вы начнете понимать, а вернее, прозревать, пронизать, чувствовать. Очень быстро вы потеряете ориентировку в пространстве; вам станет все равно, куда идти, ибо во-первых, пункта назначения не существует, а во-вторых, раз его не существует, то можно отправиться в любом направлении: результат ведь будет тот же. Недаром же в одной русской сказке герой заводит дружбу с неким невидимым существом, выполняющим пожелания героя, стоит лишь только попросить: “Пооди туда, не знаю куда; принеси то, не знаю что”. Невидимый помогает, все получается, но слушатели сказки так и не узнают, куда надо было идти и что принести. Не все ли равно? И вы поймете, почему русское суеверие запрещает задавать вопрос: “Куда идешь?” На вас могут рассердиться, раздраженно ответить: “На кудыкину гору!” На вас могут пожаловаться: “Он меня закудыкивает!” В русском представлении курица бормочет: “Ку-уда? Ку-да?” — и это называется “кудахтать”; а в лесу, по народным поверьям, живет дикий кур (петух), который, кудахча, отводит глаза путнику, так что тот теряет уже последние проблески понимания, теряет голову и приходит в себя лишь в глухом и чужом месте, откуда нет пути домой.

Кроме того, вы потеряете ориентировку во времени, так как над Россией зависло время мифологическое, застывшее, такое, в котором все события совершаются одновременно, а потому их последо-

вательность устанавливается произвольно — по вашему капризу. Недавно кто-то остроумно заметил, что Россия — страна с непредсказуемым прошлым. Это очень верно, и это очень удобно: каждый придумывает собственное прошлое, собственную историю этого сумасшедшего дома, и один рассказ ничуть не лучше и не правильнее другого, прошлых столько, сколько вы хотите. Это ли не высшая свобода, это ли не высшее равенство?.. И это ли не лучшая почва для возникновения литературы?..

И поскольку двигаться некуда и незачем, а время не имеет протяженности и направленности, то претензии к России (дескать, завоевала полмира, покорила и угнетала бесчисленные народы, повинна в экономической стагнации, развалила культуры подвластных племен да и свою собственную) с русской точки зрения беспочвенны, ибо относительны. Какие могут быть претензии, вам же Эйнштейн все объяснил! Это с вашей точки зрения, с точки зрения стороннего наблюдателя Россия расползлась от океана до океана, ибо вы со своей прямолинейной западной логикой верите в стороны света, в розу ветров, в атмосферное давление, в мили и километры. А с русской точки зрения мы находимся “тут”. Отойдем на тысячу миль — и опять будем “тут”. Мы не верим в арифметику. Где мы — там и “тут”. Так не все ли равно, где? Бессмысленно говорить и о стагнации, ибо мы живем “сейчас”, а стагнация это процесс, а процессов мы не понимаем. Бессмысленно говорить и о разрушениях, например, об уничтожении какого-нибудь красивого храма. “Вчера” он был, — “сегодня” нет. Но ведь можно и наоборот: “сегодня” нет, но был “вчера”. А “позавчера” опять не был. Стало быть, “позавчера” ничем не отличается от “сегодня”, а “вчера” — это капризный всплеск волны, булькнула и нет. Может быть, опять булькнет. “Может быть” (“авось”) — любимое русское слово, ни да, ни нет, ни направо, ни налево, ни вперед, ни назад.

Во всем мире два раза в год переводят часы, меняя летнее время на зимнее. Экономится электричество, да и как-то приятнее и естественнее спать в темноте, а гулять под лучами солнца. В России тоже балуются со стрелками часов, но не из соображений экономии или комфорта, а... просто так. Однажды, еще при Сталине, ЗАБЫЛИ перевести стрелки на час в нужный момент, а когда вспомнили, то побоялись сказать Сталину. Он не заметил, так и жили — до 1993 года. Хотя Сталин умер 40 лет назад, и бояться

было уже некого, 250 миллионов населения, из них 150 миллионов русских — и всем все равно. Зато слова, названия, обозначения, термины, имена для русских страшно важны. Скажем, несколько лет назад, при Брежневe, метеорологи предложили обозначать давление атмосферы не в миллиметрах ртутного столба, а в гектопаскалях — так, дескать, удобнее, нагляднее, метричнее. Что тут началось! Всенародному возмущению не было предела. Истериические старики, ссылаясь на свои военные и партийные заслуги, задавали тон. От слова “гектопаскаль”, — писали они в газеты и в правительственные органы, — у них поднимается кровяное давление, темнеет в глазах и замирает сердцебиение. При старой системе измерения они чувствовали себя лучше: посмотрят на цифры и уже знают, какова погода, откуда подует ветер, есть ли пятна на солнце и надо ли принимать лекарство; при новой наступает испуг, головокружение, возможен летальный исход. Вернуть миллиметры! Вернули. Это был единственный случай на моей памяти, когда граждане приняли что-то близко к сердцу, а правительство выслушало их и отреагировало.

Историческая наука точно не знает, откуда взялись славяне, а тем более русские. Где они были и что делали до шестого века? Почему в Европе, исхоженной вдоль и поперек торговцами, воинами, любопытствующими путешественниками, никто не встретил славян? Словно бы они, околдованные диким куrom, плутали в глухой чаще, пока остальные народы возводили каменные и мраморные дворцы, плыли на кораблях, замуровывали своих мертвецов в тайниках пирамид, вычисляли ход звезд и луны, вышивали цветы и птиц на тонких покрывалах, вычисляли земную окружность, изобретали порох, бумагу, стекло, деньги, бани, вино, алфавиты! Тысячи лет прошли с тех пор, как Гильгамеш заплакал все слезы оттого, что змея съела цветок бессмертия, с тех пор, как Одиссей, пыльный и загорелый, вернулся в свой дом, с тех пор, как безмяннй египтянин пообещал, что слово поэта будет долговечнее пирамид, с тех пор, как Бог отвел руку Авраама, занесенную над ребенком; великие царства вознеслись и рухнули, Спаситель пришел, умер, воскрес, пообещал вернуться и сильно подзадержался; сожгли Александрийскую библиотеку, и песок заметал бывшие сады и площади старого мира; в это время дикий кур сжался и отпустил славян. Пошатываясь, вышли они из тьмы на

свет, словно оглушенные лесным приключением. Как у того, кто все проспал и проснулся лишь к вечеру, все валялось у них из рук, в голове мелькали смутные обрывки сновидений. Зевали, никуда не спешили, медленно трезвели, озирались. Обед истории был съеден, посуда побита, в объедках торчали окурки. О чем-то перешептывались, но так невнятно, что теперь и не расслышать. Потом — вдруг — киевляне призвали варягов на царство. Призвали, или же те пришли сами — неизвестно, да и неважно. Варяжские владения стали называться Русь, началась русская история, и что в ней от славян, что от викингов — различить стало трудно.

Не странно ли: викинги сами по себе, воинственные и энергичные, завоевывали Европу, быстро передвигались, грабили, резали, и однажды даже открыли Америку; славяне сами по себе тоже что-то там вышивали, варили, пели, разводили пчел, доили коров, сеяли хлеб; воссоединившись же, превратившись в русских, этот новый народ впал в странную летаргию и задумчивость, в поэтическую мечтательность. Герой русской сказки, крестьянин Емеля — славянин — лежит на печи, ничего не делает, а всю работу за него выполняет волшебная щука. Герой русского эпоса, Илья Муромец, витязь (“викинг”) тоже лежит на печи тридцать лет и три года, скованный странным параличом, непонятной слабостью, пока проходящие мимо странники не наделяют его силой. Да и другие крестьянские герои — скажем, Иван-дурак, — тоже не слезают с печи, да и другие витязи бродят по русскому миру кругами, размышляя, с кем бы померяться силой. Почему они все время лежат? Так ли уж холодно? Но разве на родине викингов, в Скандинавии, не холоднее? Почему они разъезжают на конях, беседуя с ними и выслушивая конские советы: неужели сами не знают, что делать, куда ехать? И почему русские песни такие длинные, протяжные, со слезой и тоской?

Спросите русских, и они с непонятной гордостью самоуничижения ответят, что всему виной татаро-монголы. Не верю. Недавно отметили 600-летие освобождения от татарского ига. За это время можно было и позабыть бывшее угнетение и унижение. Но, конечно, если времени нет, не существует, тогда — да: за воротами твоего дома вечно бьет копытом монгольская конница, и небо потемнело от стрел; вечно горит Москва, подожженная к приходу Наполеона,

в ушах звенит от набата Новгородского колокола, а под Полтавой разбили лагерь шведы.

Русские сами не понимают, что с ними происходит, почему, “что делать”, “кто виноват” и “когда придет настоящий день”, — так называемые “проклятые” вопросы. Русские писатели без конца занимаются этими вопросами, причем великая литература вопросы задает, а обычная, мелкая — отвечает, и всегда невпопад. Русские почему-то полагают, что они — богоносный народ, что Бог возлюбил их и отметил, а свою постоянную несчастьность одни объясняют ниспосланным испытанием, избранностью, Голгофскими муками и страшно гордятся, что удостоены своей доли страданий, другие же ропщут и вопрошают Бога, чем они его прогневили и в чем согрешили. Но и русский Бог тоже печальный, раздраженный, бессильный, безответный, словно и у него тоже тяжело на сердце, словно он и не воскресал, словно Голгофа — завтра, с утра, и послезавтра, и каждый день — ведь он тоже пребывает в вечности, где время не движется никуда.

А грех на русских, по крайней мере, один: русские не любят ближнего своего. И это взаимное неудовольствие, недружелюбие, разобщенность, и, часто, откровенное злорадство есть, конечно, один из тягчайших грехов. Что тому причиной: оттого ли не любят ближнего, что несчастны, или несчастны оттого, что не любят — не знаю. Русским как будто все время грустно, тянет куда-то вдаль, в чужие края, а сдвинуться не могут. “Скучно”, “Тоска”, “Чем бы заняться?” — постоянный мотив жизни и литературы. Почему чеховские три сестры повторяют: “В Москву, в Москву!” — а сами не едут? Что им мешает? И кто мешает Обломову встать, спустить ноги с дивана, написать письмо, выйти из дома, что-нибудь сделать?

А когда, время от времени, в русских что-то просыпается, то ли варяжская, то ли татарская, то ли какая иная степная кровь, движение, порыв, то они агрессивно, бессмысленно бросаются отнимать, завоевывать, покорять, разорять, грабить, чтобы после, когда порыв пройдет и затихнет, растерянно озираться на завоеванной, испорченной территории и спрашивать себя: ну и что дальше? И зачем? И куда теперь? и презирать те народы, что покорились, и презирать дальние страны за то, что те из блаженного сна превратились в грубую, загаженную реальность. И не потому ли русские

любят дальние походы — военные, или же просто туристические, — что дорога, ее протяженность, ее нескончаемость дает душе убаюкивающее, ложное ощущение дела, которое будто бы делается, придает ложную осмысленность цели, которую якобы надо достичь, а смена пейзажей, цветных картинок даже возбуждает иллюзию, будто время течет.

Порой русский человек напоминает мне пьяного, спящего в кинотеатре: в отравленные уши сквозь глухой и мерный звук бияния собственной крови просачиваются звуки иной, совершающейся во вне, жизни: кричат, целуются, стреляют, вот какая-то погоня, а вот шум моря или скрип двери, а вот строят города, спорят, вот музыка... Тени теней проходят, колеблясь, под набрякшими, тяжелыми веками, черные по красному; это кони, а кажется, что пожар, это деревья, а мерещится, будто войско; дико вскрикнув, вскакивает и озирается пьяница, буйство, страх и смутные желания проносятся, нерасчлененные, в его мозгу; он с размаху ударяет соседа, крушит стулья, прет куда-то по проходу, плохо понимая, где он и что происходит, и сваливается, тяжелой кучей, где попало, как попало, придавив не успевших увернуться, и вновь засыпает, страшный, непонятный, со свистом дышащий, бессмысленный, не злой, но смертельный.

Среди этого инертного, потерянного народа есть и немало живых, веселых, любопытствующих и бескорыстно влюбчивых людей, часто тоже бессмысленно глупых, но иногда необычайно сообразительных, ловких, доброжелательно деятельных. Их главная страсть — тоже дальние края, чужие города, экзотические языки и чужеземные привычки. Эти люди — русское спасение и оправдание. Не зная устали, они ездят, говорят, кидаются вдаль, перенимают манеры, культуры, книги, привычки и приемы. Они читают, внемлют, восхищаются, обожают, они готовы все отдать, сами того не заметив, и уйти богаче, чем были, они как дети, кидаются в любую новую игру, ловко обучаясь и быстро приметив, как улучшить и приспособить ее, чтобы было еще веселее; они строят, пишут, сочиняют, торгуют, смеются, лечат. Это — легкие русские, в отличие от русских тяжелых. Это они влюблялись безответно, то в немцев и голландцев при Петре, то во французов при Екатерине Великой — и на полтора года лет, то в англичан, скандинавов, итальянцев, испанцев, американцев, евреев, индусов, эскимосов,

эфиопов, греков. Влюблялись, перенимали что могли, выучивали чужие культуры и языки, перетаскивали к себе иноземные слова, дома и литературу — и те каким-то образом становились отчетливо русскими: обернувшись в прошлое, обернувшись на тяжелых своих собратьев, они словно бы восприняли их как иностранцев и сразу бросились их любить, изучать, пытаться помочь, научить и переучить, вылечить и развеселить, без большого, впрочем, успеха.

“Тяжелые русские”, увы, сделали свое дело, создали образ русского медведя, отпугнули всех кого могли, и теперь все бегут от них во все стороны. “Легкие русские”, не понимая, за что, почему, растерянно окликают убегающих: куда же вы? постойте, мы вас любим! “Империалисты проклятые!” — огрызаются народы на бегу. И любви не хотят. Недаром была у нас популярна шутка: “Кто такой: без штанов, вооружен до зубов и всех любит?” — Ответ: “Русский”. В этой шутке все правильно подмечено, и все очень печально. Для меня русский национализм, национал-патриотизм ужасен, и не только по той очевидной причине, что он смертельно и безошибочно пахнет фашизмом, но главным образом потому, что его идея и цель — замкнуть русский мир на самого себя, заткнуть все щели, дыры и поры, все форточки, из которых сквозит веселым ветром чужих культур, и оставить русских наедине друг с другом. Это не тот национализм, когда собрата по языку или крови предпочитают чужаку, а тот, когда хотят покрепче запереть двери и избивать соседей и родню, объявляя их чужаками. В “чисто русской” среде можно задохнуться, сойти с ума от клаустрофобии, бессмысленно, впустую растратить все порывы и дарования, доставшие тебе от природы. В среде смешанной, открытой, постоянно обновляющейся, можно и жить, и осмысленно двигаться, и думать, и работать, оставаясь — естественно — русским, но не погружаясь в дурманящую спячку.

Трагичность положения русских людей, которые думают и чувствуют похожим образом — а нас довольно много — в том, что от наших мнений и эмоций почти ничего не зависит: мы вольны думать все, что нам заблагорассудится, но жизнь разламывает наше общество, нашу страну, нашу историю и наше будущее совсем не по тем линиям, как нам бы хотелось. Естественное чувство любви к родине нынче узурпировано и испачкано зоологическими шовинистами; столь же естественные чувства симпатии и интереса к нерус-

ским нациям осуждаются этими самыми нациями как “империалистические поползновения”. Термин “русские” применяется в соответствии с двойным и тройным стандартом: не только нет общего согласия в том, каково наполнение этого термина, но и само пользование им все чаще воспринимается с подозрением и осуждением. Затруднена самоидентификация: язык, этнос, территория и история, — все оспорено и подвергнуто сомнению. Короче, сейчас такое время, когда попытка самоопределиться в этом хаосе делается каждым индивидуально, причем каков бы ни был результат этого самоопределения для каждого отдельного человека, он непременно будет подвергнут уничижительному осмеянию, осуждению или попросту будет отвергнут как незаконный не только твоим противником, но, может быть, и другом.

Когда очень уважаемый мною человек спросил меня, как я определяю свое место в этом сумасшедшем русском доме, я ответила ему, что считаю себя патриотом без национализма и — одновременно — космополитом без империализма. “Вот потому-то, — заметил он, — все вы, русские, одновременно и шовинисты, и империалисты...”

Печально. Он не понимает меня, я — его. А поймет ли меня кто-нибудь, если я скажу, что если бы мне пообещали, что я никогда не вернусь в Россию и не встречу ни с одним русским, то я бы, наверное, повесилась?

30 ноября 1993

Виталий Комар и Александр Меламид

НАМ КАЖЕТСЯ, ЧТО МЫ ЭТО ПОМНИМ

Советские монументы были частью нашего детства. Вместе с ними можем разрушиться и мы, — вот почему так хочется продлить им жизнь.

И, наконец, первый шаг был сделан. Произошло невероятное: идея спасти монументы, изменив их значение, объединила русских и западных художников. После публикации в “Артфоруме” (1991) мы стали получать первые эскизы американских коллег.* Это показало, что, независимо от места рождения, художники не отделяют свою личную историю от биографии человечества.

Наши биографии, уважаемый читатель, начались в одном и том же родильном доме лет за двадцать до того, как мы познакомились и стали работать в соавторстве. Пожилые москвичи продолжали называть этот родильный дом именем доктора Граузэрмана, несмотря на то, что государство, по мистическим соображениям, присвоило этому месту имя Крупской. Официальная жена Ленина ни разу не рожала, зато министерство просвещения, которое она возглавляла, позаботилось о размножении бюстов ее мужа. В родильном доме они стояли на каждом этаже. В каждом детском саду, в каждой школе, в каждом учреждении рядом с Лениным стоял бюст Сталина. Нас учили называть их “дедушкой Лениным” и “отцом народов Сталиным”. Получалось, что если Ленин — отец Сталина, то Крупская, в известном смысле, его мать и, следовательно, мы — дети, родившиеся в ее доме, — ближе и роднее этим

* Благодаря помощи Сообщества независимых кураторов (“Ай-си-ай”), в 1993 году в Москве и Нью-Йорке состоялись передвижные выставки и был выпущен каталог. За истекшие два года выставка побывала в Вашингтоне (Смитсоновский институт), в Словении (Любляна), в Канаде. На этих страницах мы хотим выразить благодарность всем участникам проекта, включая русскую и западную прессу.

бюстам, чем неудачники, появившиеся на свет в менее привилегированных местах. Мы родились и жили в старом районе Москвы, настолько маленьком, что “всё было рядом”. Как потом выяснилось, бабушки и дедушки водили нас гулять по бульварам и на Красную площадь одним и тем же путем.

Чудеса, герои и монументы окружали нас с первых шагов. Если идти от нашего знаменитого роддома туда, “куда стремятся лучшие люди всей земли”, то есть к мавзолею Ленина, то надо было сначала оставить позади себя оптимистически стоящего на своем пьедестале великого сатирика Гоголя. Этот ближайший к Грауэрману памятник по приказу Сталина поставили на место Гоголя до революционного, который, пессимистически повесив нос, сидел на камне. Потом, миновав бульвар великого полководца Суворова, мы шли мимо великого ученого Тимирязева, которому во время войны снаряд, предназначенный вражескому самолету, надолго оторвал гранитную голову. Затем мы доходили до великого бронзового поэта Пушкина, который по другому сталинскому приказу пересек улицу Горького и встал рядом со зданием газеты “Известия”. Мы помним, как на крыше этого серого конструктивистского дома день и ночь светилось чудо нашего детства — “бегущая строка”, или “электрическая газета”. Она была установлена задолго до рождения Дженни Хольцер, и это еще раз доказывало всему прогрессивному человечеству, что мы — всегда впереди и что все открытия и изобретения, от электричества до абстракционизма, были сначала сделаны в России.

Но вернемся на улицу Горького. Идя от “бегущей строки” к мавзолею Ленина, мы проходили мимо памятника Юрию Долгорукому. Основатель Москвы повернул зад своего коня к Институту марксизма, где, по слухам, в стеклянной банке со спиртом хранился гениальный мозг Ленина. До революции на бронзовом коне сидел другой человек — царский генерал Скобелев. По приказу Ленина старого героя снесли и на его месте воздвигли Обелиск советской конституции со статуей Свободы. Затем Сталину монумент показался недостаточно патриотичным, и он заменил Конституцию средневековым русским аристократом. Об этом мы узнали позже из книг, так как во времена нашего детства ни Скобелева, ни Свободу никто уже не помнил.

Старые впечатления и фантазии смешиваются в памяти с книжными картинками и историями. Сейчас нам кажется, что мы это помним, — но может быть, не было родильного дома имени Крупской, бюстов на каждом этаже, Бульварного кольца — и вообще ничего этого не было? Всего лишь минуту назад мы забыли, что по пути в мавзолей, неподалеку от Гоголя, в белоснежном подземном дворце стоял гигантский Сталин — сияющая золотом и драгоценными камнями грандиозная мозаика, позже уничтоженная Хрущевым. Вместе с заменившей мозаику пустой белой стеной все подземные дворцы тогда же перестали быть “Метрополитеном имени Кагановича” и стали носить имя Ленина. Таким образом, вождь оказался, хоть и символически, но все же погребенным под землей. (Позже мы узнали, что Ленин просил похоронить его рядом с матерью, на Волковском кладбище.) Переименование метрополитена косвенно подтверждало фантастические слухи о ведущих туда из мавзолея таинственных подземных ходах, кончавшихся на вокзалах и аэродромах. Все дети знали, что московское метро — одно из главных чудес света, и там есть не только лучшее в мире московское мороженое, но и другие чудеса, стоящие в одном ряду с “бегущей строкой”. Там, как во сне, сами собой двигались лестницы и, как в сказке, сами открывались и закрывались двери. Читатель волен верить или не верить, но мы действительно жили в стране чудес. Вместе со всей страной мы чувствовали себя плывущими на чудесной лестнице в еще более чудесное завтра. Ноги не двигались. Да и зачем, куда бежать? У нас был свой запад. Свой восток, свой север и свой юг. Свои субтропики и свои льды. В то время как под землей люди, не суча ногами, двигались стоя, в небе над ними летал безногий летчик, Герой Советского Союза Маресьев, а рядом с “бегущей строкой”, в Музее подарков товарищу Сталину, висел портрет вождя — ковер, сотканный ногами безрукой ткачихи из Средней Азии. Другой чудесный художник, шестирукий и трехглавый лауреат Сталинской премии, изображал страшных чудовищ капиталистического мира. Эти мрачные карикатуры печатались каждый день в газетах “Правда” и “Известия”, в журналах “Огонек” и “Крокодил”. Официальный сюрреалист носил странное и знаменитое имя Кукрыниксы, под которым, как под маской, скрывались художники Куприянов, Крылов и Соколов. Многоголовый маэстро напоминал еще более чудесных соавторов, двугла-

вых орлов коммунизма: Маркса и Энгельса, Ленина и Сталина — все они, как мы сейчас, работали вместе.

Но, конечно, главным чудом этого мира, чудом из чудес всех времен и народов было вечно живое тело Ленина. Затаив дыхание и широко открыв глаза, мы входили в Мавзолей... Ах нет, дорогой читатель! Мы совсем забыли про очередь. Когда, миновав памятник Долгорукому, мы подходили к Красной площади, то прежде чем попасть в Мавзолей, мы должны были встать в очередь. Советские очереди известны всему миру, но очередь к Ленину — самая знаменитая. Только очередь на нью-йоркской почте перед Рождеством или днем уплаты налогов может сравниться с Россией. Всё, что принадлежит государству, порождает очереди, но очередь в Мавзолей была длиннее любой очереди в любой винный магазин, даже во времена, когда Горбачев боролся с “зеленым змием”. Это была Самая Главная Очередь Советского Союза. Она начиналась в Александровском саду, у кремлевской стены, и шла от Обелиска великим мыслителям и революционерам через всю Красную площадь. Обелиск был воздвигнут в честь 300-летия династии Романовых, до революции, и был увенчан двуглавым орлом. Ленин предложил орла убрать и, стерев старые надписи, выбить имена своих любимых героев. Это был первый и, вероятно, самый экономный монумент, когда-либо созданный советской властью. Несколько героев, увековеченных на обелиске, были хорошо нам известны, так как по странной прихоти, которую молва приписывала женам вождей, шоколадные фабрики носили имена французских и прочих великих революционеров. Были там имена и не столь сладкие, но столь же часто употребляемые, особенно теми, кто их трудов никогда не читал. Некоторые были нам так же неизвестны, как и имена стоящих рядом соседей по очереди, или как имя неизвестного солдата, могила которого появилась позже. Мы помним, как в конце 60-х памятник неизвестному солдату поставили на место обелиска, а обелиск отодвинули подальше, к кремлевской стене: Брежнев решил, что нехорошо, когда какие-то почти по-еврейски звучащие фамилии загораживают Вечный огонь. Обилие выбитых на камне нерусских имен рядом с безымянной могилой советского воина могло быть истолковано неправильно. Предполагалось, что неизвестные солдаты носят другие имена. Но все это случилось позже. А во времена нашего детства Обелиск еще стоял на своем

старом месте, и мы, занимая подле него очередь, начинали есть конфеты и перечитывать имена, от присутствия которых очередь казалась длиннее. Нам кажется, мы помним их до сих пор: Маркс, Энгельс, Либкнехт, Лассаль, Бебель, Кампанелла, Мелье, Уинстлей, Т.Мор, Сен-Симон, Вальян, Фурье, Жорес, Прудон, Бакунин, Чернышевский, Лавров, Михайловский, Плеханов... И вот, с великими и сладкими именами на устах, мы входили в Мавзолей.

Освещенный, как на картинах Караваджо, Основатель Нового Мира лежал в космической тьме, в ступенчатой пирамиде с короткой надписью: ЛЕНИН. Красные буквы на черном фоне. И так было всегда. Так было задолго до нашего рождения, начиная с седьмой годовщины нового летоисчисления от Великой Октябрьской Революции...

Так бы мы и продолжали жить в Стране Счастливого Детства, если бы весной 1953 года не произошло невероятное. Незыблемая каменная надпись на Мавзолее изменилась. Там появилось два слова: ЛЕНИН СТАЛИН. Ничего, даже знаков препинания, между ними не было. Они лежали рядом, накрытые знаменем, как красным одеялом. Что-то очень знакомое и в то же время непрочно знакомо запретное было в этой близости. Много ли в Вашем детстве, дорогой читатель, было людей в стеклянных саркофагах? Неудивительно, что уже давно Ленин напоминал нам спящую красавицу Чайковского и мертвую царевну из сказки Пушкина: “Вот они во гроб хрустальный/ Труп царевны молодой/ Положили — и толпой/ Понесли в пустую гору”. Напоминал вождь и Клеопатру из стихотворения Блока: “Она лежит в гробу стеклянном/ И не мертва и не жива”. Казалось, это про Ленина: не жив и не мертв, в хрустальном гробу, в пустой горе... Но теперь, вместе со Сталиным, вожди стали похожи еще и на саркофаг из готического зала Музея имени Пушкина (до революции носившего имя филолога Цветаева). В этом полутемном зале, так же рядом, лежали король и, по левую руку, королева... От неожиданных ассоциаций и любопытства начинала кружиться голова. Так же по левую руку от рабочего с молотом находилась колхозница с серпом в знаменитом советском монументе. Возникал сумасшедший вопрос: а что если Сталин — женщина? Ведь он тоже лежал вторым слева. Но, с другой стороны, Ленин напоминал царевну еще раньше... В любом случае оставалось сомнение: а что если любящие свой народ и, следовательно,

друг друга, наши вожди тоже мужчина и женщина? Но кто из них он и кто она? Как проверить? Мы могли видеть только их лица и кисти рук. Может быть, это и всё? И ничего, кроме рук и лиц, у них нет? Если даже мозги не здесь, а в Институте марксизма, то, возможно, и другие органы находятся в других, еще более секретных, институтах? Что если вожди кастрированы? Кружась вокруг неожиданного вопроса, мысли меняли направление. Если вожди бесполы, что это меняет? В известном смысле, все мертвецы — бесполы. Как и все статуи. Как и всё “неживое”. Или это не так? Все знали красивые истории об Орфее, влюбленном в мертвую Эвридику, и о Пигмалионе, женившемся на статуе. Но ни мифы, ни страшные рассказы о некрофилах не могли служить доказательством, что все эти мумии, монументы и портреты вождей сохраняются таинственными сумасшедшими в тех же целях. После смерти Ленин и Сталин принадлежат всему человечеству. Они стали частью всех: и мужчин, и женщин. Станный ход рассуждений приводил к мысли, что все великие люди — андрогины. Это уже было похоже на ответ. Но возникали новые вопросы. Что если перед нами все-таки не только “двуглавый и двуполый” андрогин? Новорожденных сиамских близнецов-гермафродитов мы видели в музее Тимирязева, которому, как читатель помнит, оторвало голову. Как и вожди, близнецы тоже были под стеклом и тоже были неподвластны тлению. Говорят, сейчас их уже нет, так как во времена борьбы Горбачева с алкоголем ночные сторожа выпили из всех музейных банок спирт и налили туда воду. Но ужасы перестройки были еще впереди. В мавзолее 1953 года при взгляде на две головы воспоминания о маленьком гермафродите порождали новый вопрос: где Гермес и где Афродита? Их гипсовые головы нас учили рисовать в академическом стиле, и греческие боги были нам так же близки, как и советские. Итак, где он и где она? Оба лица были ярко освещены. Поражало, что Сталин был явно небрит. Его, должно быть, колючие щеки вызывали в памяти рассказы о том, что у мертвых продолжают расти волосы. Вечнозеленые щеки Ленина, напротив, казались гладкими, как воск. Какой-то загадочный привилегированный художник наложил на них яркий румянец. Красные с одной стороны и зеленые с другой, нетленные щеки напоминали восковые яблоки из бесчисленных натюрмортов, которые мы рисовали в художественной школе. Этот муляж бессмер-

тия заставлял вспомнить, что слово натюрморт переводится как мертвая природа. И, кстати, о яблоках — именно яблоком была отравлена мертвая красавица. Военные френчи вождей не противоречили женственности возникающих ассоциаций. У многих из нас, родившихся в годы войны, висели на стене фотографии матерей в военной форме. Может быть, именно поэтому нам так хочется написать над входом в Мавзолей: МАМА. В этом слове буквы М и А повторяются, как возвращающиеся части “бегущей строки”.

Двуглавый таинственный Андрогин напоминал также о Папе и Маме всех пап и мам — об Адаме и Еве, так как атрибуты грехопадения — яблоко и змея — повторялись в хрустальных гробах русской поэзии. И еще одно странное совпадение: и Клеопатра со змеей и царевна с яблоком умерли от яда, — и яду же приписывали смерть Сталина. На всю жизнь запомнился валяющийся на улице, в грязном оттепельном снегу, журнал с большим, на всю обложку, рисунком Кукрыниксов: гигантская красная рука срывает ангельские маски с дьявольских лиц еврейских врачей, отравивших великого вождя. Теперь уже не детские чудеса, а вполне реальные ядовитые змеи и яблоки окружили нас. Плохо быть евреем в стране пирамид и мумий. Многие наши родные потеряли тогда работу. В метро на эскалаторе незнакомые люди кричали: “Жид! Жиды! Жиденок!” Даже спасшийся в более тяжелые времена далекий Эйнштейн и совсем не еврей, великий русский композитор Прокофьев, не выдержали и умерли в один год со Сталиным. Что же говорить о менее знаменитых: бабушке Виталия и дедушке Алика? Они тоже умерли в этом страшном 1953 году.

И еще одно событие произошло в тот роковой год — задуманная еще Сталиным школьная реформа. Нас объединили с девочками. До этого их школы были в других кварталах, а они сами — существами из иного мира. И вдруг — девочки смешались с мальчиками. Согласитесь, дорогой читатель, что после этого события отношения между лежащими бок о бок вождями и их пол стали казаться еще загадочнее. Сидя за одной партой с девочками, мальчики должны были хором заучивать стихи Маяковского: “Партия и Ленин — близнецы братья”, — втайне вспоминая близнецов из музея Тимирязева. Опять возникали вопросы. В русском языке слово партия — женского рода. Почему же классик советской литературы назвал Ленина и партию не братом и сестрой, а братьями? Если

MEMPHIS



Сталин — это партия, то кто же лежит в Мавзолее? Дедушка Ленин с нашим отцом Сталиным, то есть отец с сыном? Или Ленин с Партией, то есть брат с сестрой? Или дед с дочерью? В последнем случае Сталин нам не отец, а мама...

И вдруг во всех школах, газетах и по радио было объявлено, что Сталин *действительно* оказался не тем, за кого мы его принимали. Окружавший нас мир начал беспрерывно усложняться. Вожди и родители уже не могли ответить на все вопросы. Раньше нас учили, что мы живем в Раю, а там, на Западе, — Ад, где в капиталистическом мраке каждый вечер исчезает солнце. Но после смерти Сталина с Запада стали залетать райские птички с ярким оперением: журналы, туристы, зажигалки, сигареты, автомобили и т.д. С Востока же, из Сибири, стали приползать освобожденные Хрущевым гулаговцы. Оказалось, что Ад — здесь, у нас на Востоке. Наши прогулки к Мавзолею закончились.

Позже, изучая историю искусства, мы заинтересовались биографией автора Мавзолея — А.Щусева — и узнали, что навсегда поразившая детское воображение перестройка гробницы, свидетелями которой мы стали, произошла после смерти архитектора, но отнюдь не была первой или единственной. Мавзолей неоднократно перестраивался и при жизни автора. В своих заказных работах, от церкви в Марфо-Мариинской обители до здания КГБ и тюрьмы на Лубянке, Щусев умел проявить профессиональную гибкость. В одной из своих статей он сравнивал архитектуру с театром и признавался, что по указанию властей переделывал существенные детали ленинского мавзолея. Начиная с 1924 года, время от времени доступ зрителей туда прекращался, останки вождя бальзамировались заново и пирамида перестраивалась. Это всегда совпадало с важными этапами советской истории: вместе с телом вождя, вместе с Мавзолеем менялась вся страна.

Первый Мавзолей простоял меньше года. Сделанный в спешке из дерева, он напоминал ярмарочные балаганы, где во времена Блока лежала уже не раз помянутая здесь восковая Клеопатра. Желających увидеть вождя было намного больше, чем посетителей любой ярмарки; нескончаемым потоком они шли на Красную площадь. Затертое сравнение очереди со змеей делалось вдвойне уместным в контексте сравнения Ленина с царевной из страны пирамид. В истории советского искусства этот Мавзолей именовался

“временным”. Страна переживала годы новой экономической политики, которую Ленин, перед тем как временно лечь в этот временный мавзолей, успел назвать “временным отступлением”. Всем хотелось чего-то вечного, и от сохранности ленинского тела, казалось, зависела вера в стабильность режима. В отличие от основанного на скептицизме атеизма индивидуального, коллективный атеизм легковерен. Пустующее место Бога занял Вождь-основатель. Дед-первопредок говорил пророческие слова, и тело его нетленно. “Ленин всегда живой”, — пела вся страна. “Ленин и теперь живет всех живых”, — заучивали мы в школе. Наши святые — Он и Мавзолей — вместе и были храмом-телом, призрак которого бродил по Европе. Место Бога — в раю, но Он обещал рай на земле, вот почему Он здесь: если Ленин не идет в рай, рай придет к Ленину. Коммунизм должен был прийти к нам — и Мавзолей был тому залогом, а бессмертный Вождь, спящий внутри, — заложником.

Вторая пирамида, тоже деревянная, но с большим количеством деталей в стиле арт-деко, просуществовала целую пятилетку и объединила функции усыпальницы и трибуны. Теперь по праздникам вожди стояли на ее ступенях, по бокам от входа, говорили речи и махали руками. Проходящие по Красной площади трудящиеся, в свою очередь, тоже махали руками и улыбались. И те и другие были одновременно и зрителями и актерами представления, похожего на смесь воинского парада с карнавальным шествием. Постепенно, в соответствии со стилем правления, могила все больше превращалась в театр. Хрустальный саркофаг для главного героя был заказан знаменитому конструктивисту Мельникову.

В 1929 году, официально именуемом “годом великого перелома”, успевшее стать популярным сооружение разобрали и на следующий год построили третий, на сей раз гранитный, мавзолей. В этом сооружении Щусеву удалось создать неожиданный синтез русского авангарда и советского китча. Начинаясь новый период сталинской архитектуры, — пародируя известные термины, его хочется назвать “поставангардом” или “протопостмодернизмом”. Это было время, вошедшее в историю под названием “период ликвидации кулачества как класса и создания колхозов”.

В 1933-м перестроили саркофаг. Теперь стекло не давало отражения. В следующем году страну потрясло убийство Кирова, после которого начались сталинские чистки и прокладка подзем-

ных ходов, связавших Мавзолей с метро и завершенных в годы “большого террора”.

В начале войны с Гитлером Ленин покинул Москву и затем, сильно сдав за эти трудные годы, вернулся обратно. Враг был изгнан, и в 1944 году произошла еще одна важная перестройка. Между старыми трибунами, находившимися по бокам от входа, была построена новая, самая большая и главная, расположившаяся отныне в самой середине. Таким образом, победив Троцкого и Гитлера, левых и правых врагов и получив пол-Европы, Сталин наконец встал в центре, над Лениным.

Мавзолей был мистическим центром не только Красной площади и Москвы, но и всей страны и всего мира. Вокруг него, как от брошенного в воду могильного камня, расходились магические круги: Бульварное кольцо, Садовое кольцо, Кольцевая линия метро, Окружная железная дорога, Окружное шоссе, затем радары противовоздушной обороны московского военного округа — и так далее, до самых священных границ, где за кругом экватора терялись последние круги этого мира... Через Мавзолей и сердце нашей Родины — Москву, как через Иерусалим на древней карте, проходила земная ось.

Отныне, поднявшись из огненного ядра планеты и пройдя через центр ленинского тела, Мировая Ось не просто шла дальше, в космос. Теперь на своем пути она проходила между пахнущими черным гуталином скрипящими и сияющими сапогами Сталина, поднималась выше, доходила до головы, отделяла левый ус от правого — и только после этого упиралась в золотое солнце. Это солнце было частью золотого советского герба на белой фуражке генералиссимуса. И там же, не выходя из кольца колосьев, в точке, где пересекались серп и молот, Ось замыкалась. Она упиралась в Землю, над которой светилась единственная в мире пятиконечная красная звезда. Выше не было ничего. На знаменитой фуражке умещалась вся вселенная, так как ни одно государство, кроме Союза ССР, не мечтало о мировой революции и не вставляло в свой герб весь земной глобус. Позже мы узнали, что то же самое сделал еще и штат Нью-Йорк. Видимо, от судьбы не убежишь, и нам суждено жить в месте, на чьем гербе — вся планета.

Здесь, в Америке, нам однажды попала редкая “неофициальная” фотография Мавзолея, снятая с колокольни Василия

Блаженного. Внизу ликовали трудящиеся, далее солдаты отделяли толпу от Мавзолея, а наверху, не видимые снизу, за гранитным парапетом трибуны, за столом выпивали и закусывали члены Политбюро во главе с Брежневым. Все это удивительно напоминало знаменитую карикатуру 1905 года, где Русское общество было представлено в виде пирамиды, только с большим количеством ступеней: внизу трудящиеся держали на своих плечах солдат, а над всеми пировали богачи с царем на вершине. Очевидно, перестройки пирамиды начались гораздо раньше, чем это казалось Щусеву...

Итак, пока Сталин стоял на боковой трибуне, он был вторым после священного слова ЛЕНИН. Затем, после войны и очередной перестройки Мавзолея он встал в центре, над Лениным, как абсолютно единственная и высшая инстанция. Но в конце концов, триумфально просуществовав в этой роли две пятилетки, Сталин, как и при жизни Ленина, опять стал вторым — лег по левую руку от старого хозяина. Что было дальше, запомнили не только мы. Выкинув вождя из Мавзолея, Хрущев дал урок и Горбачеву и Ельцину.

К тому времени, когда мы закончили школу, тело Сталина исчезло и на Мавзолей, опять в одиночестве, возвратилось слово ЛЕНИН. Но то, что произошло, уже нельзя было забыть или исправить. Мы это помним. Мы помним, что слова на ступенчатой пирамиде менялись, и это значило, что их можно менять. Это был шок и, вероятно, поэтому мы до сих пор испытываем иногда болезненное желание повторять и повторять эту ситуацию. Менять и менять слова на Мавзолее, как они менялись на здании "Известий". Нам снится старый сон о новой России, где на старом и вечном Мавзолее светится вечно новая "бегущая строка" — электронная газета, а внутри спят восковые вожди, вызывая новые вечные вопросы.

Перестройки Мавзолея, переименование городов и улиц, уничтожение и подмена монументов, фальсификация хронологии и фотографий демонстрировали отношение к истории, сходное с дадаистским духом некоторых мистификаций концептуального искусства. Характерно, что исторические и эстетические ценности при этом иллюзорно подменяли друг друга. Гуманистическая метафора "Человек — творец истории" — была понята буквально. Мечта русских социалистов о светлом будущем обернулась перестройкой

своего темного прошлого, собственно и состоявшего из попыток это будущее построить. Они верили, что прошлое можно сделать прекраснее, чем оно было в действительности, что его можно изменять, как скульптор глину. Кровь, на которой замешивалась их глина, они оправдывали великой и благой целью. Подражая Богу-Художнику, новая Власть лепила нового Адама — нового человека нового коммунистического общества. У этого человека была не биография, а “легендарная история”. Он верил, что в его руках не только “наше будущее”, но и “наше прошлое”. “Наше” означало не только “свое”, но и “чужое”. Это давало ощущение власти над судьбой не только своей, но и другого человека, подобно власти художника над судьбами своих персонажей. Сталин переписывал историю партии, как Малевич — даты своих холстов. Русский авангард и соцреализм были разными сторонами одной медали — одной социалистической утопии. Их манифесты демонстрировали устремленность в будущее, и этот всем известный факт до сих пор мешает оценить их незаметную работу с прошлым, понять ее как метод, способный привести к созданию альтернативных феноменов в сегодняшнем искусстве.

Первые попытки осознать описанный выше метод как основу нового направления — это работы русских и западных художников, присланные для участия в проекте “Монументальная пропаганда”. Проекты “перестройки” тоталитарного искусства, будучи реализованными, станут когда-нибудь уникальным явлением — “соавторством с историей”. Эти опыты могут не только спасти оставшиеся в России монументы, но и заставить нас всех задуматься над истоками нового искусства. Всякая государственная власть имитирует методы Художника, и теперь настало время, когда, осознав это, Художник в свою очередь отразит эту государственную имитацию. Мы мечтаем о выставке, посвященной героям и монументам не только русской, но и американской истории. Это будет (в больших золотых кавычках) “Официальное искусство империалистического реализма”...

Если мы поймем “перестроечную” деятельность Власти как попытку стать, подобно древним богам, “вне добра и зла” и, подобно ранним авангардистам, “вне прекрасного и безобразного”, то мы сможем взглянуть на претензии Власти играть роль Творца и Художника как на материал и объект художественного творчества,

своего рода игру в историю. В случае с “Монументальной пропагандой” очевидно, что такая игра на первых порах не может стать частью искусства иначе как в форме трагической пародии на фальсификацию истории. Помните, за умирающим рабом Микеланджело прячется незаконченная обезьяна с зеркалом? Старая аллегория живописи! Ее мраморное ручное зеркало напоминает ракетку. Мы предлагаем читателю вообразить продолжение этой аллегии в наше время. Искусство передразнивает попытку Власти играть роль Художника, и обе стороны втягиваются в сюрреалистическую игру с постоянно меняющимися правилами. “Лови!” — кричит Власть и кидает вместо мяча камень. Отражая удар, Обезьяна взмахивает зеркалом, как ракеткой, и камень превращается в солнечный зайчик. Зеркало треснуло, но луч света на мгновение осветил одну из темных тайн Власти.

ИЗ ПОЯСНЕНИЯ К ПРОЕКТУ “ЧТО ДЕЛАТЬ С МАВЗОЛЕЕМ ЛЕНИНА, ИЛИ КАК СПАСТИ ИСТОРИЮ ОТ РАЗРУШЕНИЯ”

В 1991 году, когда началось разрушение памятников Ленину, мы опубликовали предложение установить над входом в Мавзолей “бегущую строку”, или “электрическую газету”. Будущий редактор волен назвать ее “Красная площадь” или “Мавзолей”. В любом доме, по подписке, компьютер сможет показывать и печатать эту газету. На самом же Мавзолее, подобно карнавальным маскам, закрывая слово ЛЕНИН, побегут традиционно “красные на черном” новые слова: сообщения информационных агентств, объявления, реклама, сочинения поэтов, идеи философов и т.д. Электронная газета разрушит не мавзолей, как того требуют экстремисты, а его смысловое поле.

Актуальность проекта очевидна. Недавно, к 50-летию окончания войны, имя Ленина на Мавзолее было замаскировано еловыми ветками, напоминающими, что “ель” и “Ельцин” — одного корня. Была ли эта придворная инсталляция результатом открытого конкурса?

Наш проект порожден впечатлениями детства, когда после смерти Сталина, казалось бы неизбежное каменное слово ЛЕНИН

было заменено на ЛЕНИН СТАЛИН, и два вождя легли вместе. Затем надпись над входом изменилась опять — Хрушев убрал Сталина. Поэтому вторая часть проекта предполагает (после захоронения Ленина) правдиво воссоздать в воске сей урок истории — лежащих в саркофаге вождей. Двучастность проекта подчеркнет стилистический контраст между русским конструктивизмом экстерьера и советским китчем в интерьере Мавзолея. Это сочетание напоминает известную в искусстве эмблему “Суета сует” — песочные часы с черепом или иным атрибутом смерти (в данном случае это покойные владыки). Струящиеся как песчинки, огоньки мимолетных букв придадут архитектурной аллегории традиционный смысл, и среди столичной суеты созерцатель Мавзолея сможет стать “отшельником на мгновение”, задумавшись над бренностью наших утопий.

Мы направили наш проект московским властям — и получили публикуемый ниже ответ.

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ И РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

исх. 26.6.95 П-16-149

Уважаемые Виталий Комар и Александр Мелаид,

Я уверен, что вы найдете много единомышленников среди депутатов, по крайней мере, в том, что тело Ленина должно быть предано земле. К сожалению, наиболее благоприятное время для этого уже упущено. Так, специально созданная комиссия по организации перезахоронения тела Ленина под руководством Г.Бурбулиса прекратила свое существование.

Было бы непозволительно давать обществу еще один повод для размежевания на сторонников и противников перезахоронения. Тем более, в виду ближайших выборов, КПРФ не преминет использовать эту тему в целях консолидации тех, кто не расстался с коммунистическими иллюзиями.

Так или иначе, я уверен, что этот вопрос будет решен в не столь скорой перспективе и согласен, что о судьбе Мавзолея следует задуматься уже сейчас. Я буду рад организовать вашу встречу с депутатами, входящими в Комитет по делам Общественных и Религиозных организаций, в сентябре-октябре этого года.

Я был бы рад получить как можно больше материалов о вашем проекте в дополнение к любезно предоставленным Галереей М.Гельмана.

С уважением,

Зам. Председателя Комитета

В.Л.Лепехин

Александр Познанский

ГЕНИЙ ЧУВСТВА: ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ П.И.ЧАЙКОВСКОГО

Главы из биографии

Предлагаемые читателю главы взяты из биографии “Гений чувства: Жизнь и смерть П. И. Чайковского”. Английский вариант книги вышел в 1992 году под названием *Tchaikovsky: The Quest for the Inner Man*, в нью-йоркском издательстве Macmillan. В настоящей публикации сделаны незначительные сокращения.

ГЛАВА 1. РАННЯЯ БОЛЬ

Не надо быть специалистом в области психоанализа, чтобы осознать принципиальную важность впечатлений и переживаний раннего детства для дальнейшего психосексуального развития человека.

Поэтому здесь уместно в кратких чертах коснуться характеров родителей Чайковского и проследить — насколько это возможно — семейные обстоятельства формирования личности будущего композитора.

Отец Петра Ильича, Илья Петрович Чайковский, дослужившийся к началу сороковых годов до начальника Камско-Воткинского завода, был человеком интеллектуально мало выдающимся. Однако очевидно, что эмоциональная сфера его личности — в особенности то, что принято называть сентиментальностью — были развиты у него до чрезвычайности.

Модест Ильич Чайковский так описывает отца: “Доброта или вернее любвеобильность составляли одну из главных черт его характера. В молодости, в зрелых годах и в старости он совершенно одинаково верил в людей и любил их. Ни тяжелая школа жизни, ни горькие разочарования не убили в нем способность видеть в

каждом человеке, с которым он сталкивался, воплощение всех добродетелей и достоинств”.

То, что эта любвеобильность, особенно в отношении родных, иногда принимала формы, доходящие до эксцесса, подтверждается немногими опубликованными отрывками из писем Ильи Петровича. Приведем один пример. 30 декабря 1865 года шестидесятилетний отец заканчивает письмо своему двадцатипятилетнему сыну Петру следующим образом: “Целую тебя в глазки и всего с ног до головы”. По сообщению Модеста, любивший театр Илья Петрович, уже в восьмидесятилетнем возрасте, “почти каждый раз трогался представлением до слез, хотя бы пьеса ничего умильного не представляла”.

Характерный эпизод сообщает, к примеру, в своих воспоминаниях гувернантка Фанни Дюрбах: в первый же момент ее приезда в семью своих нанимателей “г. Чайковский подошел ко мне (т.е. незнакомой очень молодой женщине — А.П.) и без всяких фраз обнял и поцеловал как дочь”.

Он обладал, вероятно, способностью создавать вокруг себя непреодолимую и невинную, но привлекавшую женщин эротическую ауру, свойство, отчасти передавшееся и его сыну. Будучи трижды женатым (в третий раз в семидесятилетнем возрасте) и породив семь человек детей, Илья Петрович был фанатиком семейственности. В письмах периода своей катастрофической женитьбы композитор настаивает, что страстное желание отца видеть его женатым было одной из важных причин, подвигнувших его на роковое решение. “Вы знаете, — пишет он, к примеру Н.Ф. фон Мекк из Вены 23 ноября 1877 года, — что я женился отчасти, чтобы осуществить его давнишнее желание видеть меня женатым”. На matrimonialные планы сына старик реагировал экстатически. Вот, к примеру, отрывок из его письма (29 декабря 1868 года) по поводу известия о помолвке Петра Ильича и Дезире Арто: “Дезире т.е. желанная, непременно должна быть прекрасна во всех отношениях, потому что мой сын Петр в нее влюбился, а сын мой Петр человек со вкусом, человек разумный, человек с дарованиями и, судя по характеру, он должен избрать себе жену таких же свойств”. А вот письмо от 27 июня 1877 года в ответ на сообщение композитора о его готовящейся женитьбе на Антонине Ивановне Милюковой: “Милый, дорогой и раскрепасный сын мой Петр! Толя пере-

дал мне письмо твое, в котором ты просишь моего благословения на женитьбу. Оно и обрадовало меня и привело в восторг, так что я перекрестился и подпрыгнул даже от радости. Слава Богу! Господь да благословит тебя!!!”

Модест Ильич обронил любопытное замечание, повествуя о предках по материнской линии. Дед его по матери, Андрей Михайлович Ассиер, страдал нервными припадками, очень близкими к эпилепсии, унаследованными старшим сыном его Михаилом Андреевичем. И далее, вполне в духе позитивизма начала века, Модест продолжает: “Единственным вероятным наследием предков у Петра Ильича можно отметить его выходящую из ряда вон нервно-ность, в молодые годы доходившую до припадков, а в зрелые — выражавшуюся в частых истериках, которую, весьма правдоподобно, он получил от деда Ассиера”.

О характере матери Модест пишет: “В противоположность своему супругу, Александра Андреевна в семейной жизни была мало изыскательна в теплых чувствах и скупа на ласки. Она была очень добра, но доброта ее, сравнительно с постоянной приветливостью мужа ко всем и всякому, была строгая, более выказывавшаяся в поступках, чем на словах”.

На фоне отцовской эмоциональной экспансии материнская сдержанность, вероятно, стимулировала повышенную чувствительность маленького Пети, дошедшего в отношении матери до крайней степени обожания. Еще во время Воткинского периода Пете случалось летом некоторое время бывать с матерью наедине — например, во время поездки на Сергиевские воды в 1845 году: “Затем пребывание на самих водах, где он ни с кем не делил ласк и внимания боготворимой матери (...) оставило самое светлое и отрадное воспоминание детства”. Или о возвращении родителей, привезших из Петербурга Зинаиду Ильиничну — дочь Ильи Петровича от первого брака:

“...Помнил он также то неземное счастье, которое испытал, припав к груди матери после трех или четырехмесячной разлуки, и очень, очень долго, уже совсем зрелым мужчиной без слез он не мог говорить о матери, так что окружающие избегали заводить речь о ней”.

Наконец, известный эпизод расставания их в Петербурге осенью 1850 года, после того как десятилетнего Петю определили в под-

готовительные классы Правоведческого училища: “Пока ехали туда (на Среднюю Рогатку, откуда по московской дороге отъезжающие покидали Петербург — А.П.), Петя поплакивал, но конец путешествия представлялся отдаленным и, ценя каждую секунду возможности смотреть на мать, он сравнительно казался покоен. С приездом же к месту разлуки он потерял всякое самообладание. Припав к матери, он не мог оторваться от нее. Ни ласки, ни утешения, ни обещания скорого возвращения не могли действовать. Он ничего не слышал, не видел и как бы слился с обожаемым существом. Пришлось прибегнуть к насилию, и бедного ребенка должны были отрывать от Александры Андреевны. Он цеплялся за что мог, не желая отпускать ее от себя. Наконец, это удалось. Она с дочерьми села в экипаж. Лошади тронулись и тогда, собрав последние силы, мальчик вырвался из рук Кейзера (сопровождающего родственника — А.П.) и бросился с криком безумного отчаяния бежать за тарантасом, стараясь схватиться за подножку, за крылья, за что попало, в тщетной надежде остановить его... Никогда в жизни без содрогания ужаса Петр Ильич не мог говорить об этом моменте”. По словам самого композитора, то был один из самых ужасных дней его жизни. Тридцать лет спустя он признавался: “Я не могу спокойно ехать по этим местам, не переживая вновь то безумное отчаяние, которое овладело мной, когда экипаж, увозивший все самое дорогое мне, скрылся из глаз”.

Модест писал: “Хотя в горестях и утратах он узнал потом в жизни несравненно более значительные и грозные, испытал лишения и бедствия, куда тяжелейшие и мучительные, пережил разочарования и страдания, рядом с которыми эта временная разлука только маленькая, неприятная подробность существования, но так верно то, что важно не событие, а воздействие его на нас, что до самой смерти, помирившись со всеми невзгодами, забыв все тяжелое из прошедшего, он никогда не мог помириться, никогда не мог забыть жгучего чувства обиды, отчаяния, которое испытал, бежа за экипажем, отрывающим у него мать”.

После переезда всей семьи в Петербург в мае 1852 года, в течение первых двух лет своего пребывания в Училище, Чайковский (по словам его кузины А.П. Мерклинг бывший в то время “мальчиком худеньким, нервным, сильно впечатлительным”, ко-

торый "отличался ласковостью, в особенности к матери") пережил едва ли не самую бедную по биографическому материалу эпоху. "Единственное, что он вспоминал из этого времени, это посещения Александрой Андреевной Училища, свой восторг при этом и, затем, как ему удавалось видеть ее иногда и посылать воздушные поцелуи из углового дортуара IV класса, когда она посещала свою сестру... жившую... окна в окна с Училищем Правоведения".

При такой привязанности к матери, которую он любил какой-то "болезненно-страстной любовью", ее смерть 13 июня 1854 года не могла не обернуться для него невыразимой трагедией. Лишь еще через два года (в 1856 году) он почувствовал себя в состоянии написать о случившемся любимой гувернантке Фанни Дюрбах: "Наконец, я должен вам рассказать про ужасное несчастье, случившееся два с половиной года назад. Четыре месяца спустя после отъезда Зины, матушка заболела холерой. Хотя опасность была велика, но благодаря удвоенным усилиям докторов больная почти поправилась, но не надолго, потому что после трех или четырех дней выздоровления она скончалась, не имев времени проститься с окружающими. Хотя она не имела сил произнести слова, но однако поняли, что ей хочется причаститься и священник со Св. Дарами пришел как раз вовремя, потому что, причастившись, она отдала душу Богу". Позднее Чайковский писал: "Я, несмотря на победоносную силу моих убеждений, никогда не мог примириться с мыслью, что моя мать, которую я так любил и которая была таким прекрасным человеком, исчезла навсегда и что уж никогда мне не придется сказать ей, что после двадцати трех лет разлуки я все так же люблю ее".

Об исключительной восприимчивости и чувствительности маленького Пети нам известно не только от Модеста, могшего получить эти сведения лишь из вторых рук, но и от непосредственного и чуткого наблюдателя — гувернантки детей Чайковских Фанни Дюрбах. Как и для других членов семьи, этот четырехлетний мальчик сразу сделался ее любимцем (ср. отзывы родителей о нем того времени: "наш общий любимец", "сокровище", "золото семьи"). По свидетельству Модеста, Фанни "в течение почти пятидесяти лет хранила как святыню малейшую его записочку, клочок бумаги, испачканный детской рукой". Объясняя исключительную прелесть ребенка, кузина Петра Ильича А.В. Попова в письме к

Ф.Дюрбах утверждает, что сказывалось это “ни в чем особенно и решительно во всем, что он делал. В классе нельзя было быть старательнее и понятливее, во время рекреации же никто не выдумывал более веселых забав; во время обычных чтений для развлечения никто не слушал внимательнее, а в сумерки под праздник, когда я собирала своих птенцов вокруг себя и по очереди заставляла рассказывать что-нибудь, никто не фантазировал прелестнее... Впечатлительности его не было пределов, поэтому обходиться с ним надо было очень осторожно. Обидеть, задеть его мог каждый пустяк. Это был *стеклянный* ребенок”.

Далее следует несколько примеров этой чрезвычайной впечатлительности, один из которых имеет отношение к самой ранней из известных нам дружб мальчика — с его сверстником Веничкой Алексеевым, сыном одного из служащих на заводе, лишившимся матери, которого Чайковские брали обучаться вместе с их детьми. После одной из шалостей, в которой Веничка был особенно уперен, отчего Фанни намеревалась наказать его строже, Петя вступился, требуя, чтобы все участники, а с ними и он сам, хоть и невиновный, были наказаны одинаково. Об этом Веничке мальчик еще долго тосковал после отъезда из Воткинска. В 1849 году он пишет бывшей гувернантке уже из Алапаевска: “Весь вечер был весел для взрослых, но для меня, подумайте м-ль Ф., недоставало моего брата, моего друга и моей доброй, превосходной наставницы, которую я так любил в Воткинске. О! я был бы так счастлив, если бы мог провести время с нею или по крайней мере с Веничкой и Колей”.

Брат Николай, на два года старше, упомянут здесь не случайно. В эмоциональной жизни Петра Ильича он играл важную роль в самые ранние годы детства и начала отрочества. Модест свидетельствует, что Николай был самым блестящим по внешности из детей и далее: “Ловкий, красивый, изящный, до старости любивший физические упражнения, он в отношении к Петру Ильичу был совершенно то же, что Володя в “Детстве и отрочестве” Льва Толстого к Коле”.

Чувствительность ребенка обращалась решительно на все окружающее. Интенсивность ее поражает при чтении его детских, написанных главным образом по-французски, неумелых, но при этом производящих впечатление странной искренности, стихов. В

них говорится о сиротах, мертвых детях, материнской любви и бедных животных. Вот соответствующие заглавия произведений семилетнего мальчика: “Смерть ребенка Павла”, “Мать и ребенок, которого она любит” и т.д. В другом месте, в связи с той же темой обостренной чувствительности, Модест замечает: “Любовь к несчастным сказывалась также в его необычайной симпатии к Людовику XVI. По словам Фанни, он не уставал расспрашивать все подробности страдальческой кончины невинного мученика. Вполне зрелым человеком он продолжал интересоваться несчастным принцем; в 1868 году, в Париже приобрел гравюру, изображавшую его в Тампле, и оправил ее в рамку. Вместе с портретом А.Г.Рубинштейна, это были первые и очень долго единственные украшения его помещения”.

Наконец, известный пример, демонстрирующий чрезвычайную впечатлительность мальчика уже в непосредственном сопряжении с музыкой: “Однажды у Чайковских были гости, и весь вечер прошел в музыкальных развлечениях... Петя сначала был очень оживлен и весел, но к концу вечера так утомился, что ушел наверх ранее обыкновенного. Когда Фанни через несколько времени пришла в детскую, он еще не спал и с блестящими глазами, возбужденный, плакал. На вопрос, что с ним, он отвечал: “О эта музыка, музыка!” Но музыки никакой не было в эту минуту слышно. “Избавьте меня от нее! Она у меня здесь, здесь, — рыдая и указывая на голову, говорил мальчик, — она не дает мне покоя”.

На протяжении первых глав биографии Петра Ильича, написанной Модестом, мы застаем его героя в слезах неоднократно. Он рыдает, говоря о своей любви к отцу, спасая котенка, играя на фортепиано, сочиняя письмо бывшей воспитательнице, получая от нее письмо и т.д.

Расставание с привычной Воткинской обстановкой, с несколькими близкими людьми, краткое пребывание в Петербурге в пансионе Шмеллинга, где мальчики Чайковские “вместо прежних товарищей... увидели ораву мальчишек, встретивших их как новичков, по обычаю приставаниями и колотушками” — все эти события, казалось бы, обыденные, тяжело отразились на обостренной психологической конституции ребенка. Корь, физически не опасная в его возрасте, “довершила его нервное расстройство”. Начались сильные припадки, и доктора определили страдания спинного

мозга. Никаких более сведений об этой болезни, по признанию самого Модеста, не имеется. Однако вполне вероятно, что уже в это время Чайковский страдал от неврастении, и его проблемы носили не физический, а психологический характер. “В течение всей своей жизни он мучился разнообразными жалобами и болезнями, подавляющее большинство которых близко напоминают субъективные недомогания неврастеника”. Поведение и настроение его потеряли в это время часть прежнего благодушия. В письме к Фанни в феврале 1850 года Александра Андреевна жалуется на то, что Петья очень изменился характером: “Он стал нетерпелив, и при каждом слове, которое ему говорят и которое ему не по вкусу — слезы на глазах и ответ готов”.

Показательны в этом смысле письма родителям, отправлявшиеся десятилетним Петром из Петербурга, где он, после уже описанной драматической разлуки с матерью, в течение двух лет пребывал в подготовительных классах Училища Правоведения. Письма эти поражают необычайным избытком ласкательных уменьшительных, захлебывающимися нежностями и патетическими излияниями тоски вкупе с непрерывными мечтаниями, а то и мольбами о скорейшем свидании с отцом и матерью. “Прощайте милые чудные и прекрасные Мамочка и Папушечка” (8 ноября 1850 г.); “целую миллионы раз ваши ручки и прошу вашего благословения” (23 ноября 1850 г.); “прощайте, моя милая Мамаша, мой ангел утешитель, одним словом, моя прекрасная Мамаша” (1 февраля 1851 г.); “я знаю, что это заставит вас плакать, я также плакал, но слезы не помогают, мои прекрасные ангелы” (февраль 1851 г.); “я думаю, что ваши добрые сердечки сжальются над нами и приедете” (7 апреля 1851 г.); “не знаю, что вам писать мои прекрасные родители-ангельчики, душички, милочки, добрые и все что вам угодно, но только скажу что я вас так люблю, что у меня нет слов чтоб выразить это” (12 апреля 1851 г.); “я хотел бы расцеловать вас всех вместе, я старался быть хорошим весь год, чтобы поцеловать моих обоих ангелов вместе” (11 июня 1851 г.); “поздравляю вас мой ангел Папаша со днем вашего Ангела и желаю вам всех благ на свете, а вас моя милая душенька мамашинька с дорогим именинником” (20 июля 1851 г.); “так надо вас повеселить бабочка моя, которая любит своего Петрушку или Попку, который вас обожает и который с жадностью ждет минуты, чтобы

расцеловать вашу прекрасную ручку” (7 августа 1851 г.); “а тут мы вас расцелуем так что вы и не поедете больше в противную Алапайху останетесь жить тут и всё. Впрочем может быть Папаша опять раздумал, опять не захочет ехать к своим цыплятам” (26 августа 1851 г.); “тогда я буду самым счастливым из смертных, и я опять очень надеюсь, что увижу вас” (2 декабря 1851 г.); “целую ваши ручки от всего сердца, мои ангелы, и не знаю даже, как выразить, как я вас люблю” (5-6 января 1852 г.); “вы нам пишете прекрасные письма, что приедете в мае, и так значит мы и не увидим, как пройдет Март и Апрель, и как настанет этот счастливый месяц в году. Как мы будем счастливы когда расцелуем вас прекрасные мои; я от радости скакну до потолка” (13 марта 1852 г.); “но вот скоро, скоро я не буду писать вам письма, а буду говорить с моими ангелами лично. Ах как приятно будет первый раз в жизни приехать домой из Училища, посмотреть на вас, расцеловать вас, мне кажется что это будет для меня самое большое из счастливых, которые со мной случались” (28 марта 1852 г.).

Обратимся к соображениям на этот счет Модеста Ильича. “Первое, что бросается в глаза, это поразительная любвеобильность корреспондента. Из всех тридцати девяти писем нет ни одного, в котором он отозвался о ком-нибудь неодобрительно, нет ни одного лица, о котором он сказал что-нибудь кроме похвалы. Все окружающие добры к нему, ласковы, внимательны, ко всем он относится с любовью и благодарностью... Кроме того, особенно характерна искренность и прямота этих писем... Она также ярко выступает из сравнения писем двух братьев. Николай, от природы менее чувствительный... так обращается к родителям, что на каждом шагу чувствуется формальность, прикрывающая — при несомненной наличности сильной любви к родителям — холодность настроения в момент писания самого письма... Ничего подобного в письмах младшего брата. Он не скупился на ласковые выражения и хорошие отзывы; наоборот, гораздо чаще прибегает к ним, но всегда так, что невольно веришь искренности его, — видишь, что письмо диктуется не только головою, но и сердцем”. О привязанностях будущего композитора в период пребывания в подготовительных классах Училища Правоведения мы знаем мало. Первоначально наблюдение и некоторую опеку над братьями Чайков-

скими в Петербурге осуществлял приятель Ильи Петровича — Модест Алексеевич Вакар.

С отношением к семье Вакаров связана постигшая мальчика психологическая травма: во время эпидемии скарлатины Петя занес (сам не заболел) в их дом эту болезнь, которой заразился их старший сын Коленька (5 лет) — “любимец и гордость родителей”. Петя этого ребенка обожал: “Коля Вакар просто Ангельчик, я его очень люблю”, — заявляет он в письме к родителям в ноябре 1850 г. В конце того же месяца “ангельчик” Коля Вакар скончался. Нужно знать, как Петр Ильич относился к смерти не только близких и знакомых, но и совершенно чужих людей, чтобы представить себе, как страшно отразилось на нем тогда это событие.

Известны нам также два имени из числа его одноклассников — и единственное упоминание о них в письмах мы находим опять-таки в сентиментальном контексте: “В среду 25 апреля я праздновал мое рождение и очень плакал, вспоминая счастливое время, которое я проводил прошлый год в Алапаихе, но у меня были два друга — Белявский и Дохтуров, которые меня утешали. Мамашичка, вы видели, когда я поступил в приготовительный класс Белявского, я вам говорил, что он мой друг” (30 апреля 1851 г.).

ГЛАВА 2. В ИМПЕРАТОРСКОМ УЧИЛИЩЕ ПРАВОВЕДЕНИЯ

В 1852 году Чайковский был принят в Императорское Училище Правоведения. Девятилетнее пребывание его в этом закрытом учебном заведении менее всего освещено в биографической литературе. Материал, поступивший в научный оборот, по сию пору практически исчерпывается небольшой главой в первом томе биографии его, написанной братом Модестом и опубликованной в начале века, где сознательно умалчивается об определенных жизненно-важных фактах.

Причин тому несколько. Во-первых, годы учения Чайковского в Училище Правоведения бедны вообще эпистолярными и дневниковыми текстами. Письма этих лет почти не сохранились. Дневник, под названием “Всё”, был сожжен самим Чайковским по ошибке

еще в 1866 году. Во-вторых, многие биографы отдавали себе отчет в том, что именно в этом учебном заведении подросток впервые столкнулся с проявлениями гомосексуальности в себе и других. Поэтому на изучение этой части жизни будущего композитора в советском чайковедении было наложено строжайшее табу.

Несмотря на эти трудности, мы попытались восстановить этот отрезок времени в жизни Чайковского более или менее достоверным образом. Многообразные сведения об Училище Правоведения содержатся, к примеру, в воспоминаниях В.И.Танеева “Детство и школа”, написанных им в 70-х годах прошлого века и опубликованных в Москве только в 1959 году. Владимир Танеев — старший брат известного композитора и ровесника Чайковского, был младше его на два класса. Одновременно оба они провели в стенах училища пять лет. Избравши карьеру общественного деятеля, Танеев с 80-х годов жил в имени Демьяново, рядом с Клином, в непосредственной близости от дома Чайковского.

В своих мемуарах Танеев довольно обстоятельно описал быт и нравы Училища. К сожалению, к этому повествованию, выполненному вчерне и не отредактированному автором, надо относиться с осторожностью. Крайне субъективный, пристрастный и нетерпимый как в отношении самодержавного строя вообще, так и тогдашней системы образования в частности, он был склонен к односторонности вплоть до карикатурных интонаций в изображении и характеристиках воспитателей и воспитанников училища. Судя по этим мемуарам, автор их обладал нелегким характером — он верил в свое умственное превосходство над окружающими, вызывая насмехался над ними и демонстративно их презирал. Не удивительно, что за исключением двух-трех человек, одноклассники отвечали ему недоброжелательством.

Чайковский тоже откровенно не любил Танеева, о чем свидетельствует запись в дневнике: “Жара невыносимая, и в довершение всех бедствий невыносимый В.И.Танеев”. Вероятно, последний ощущал это, и антипатия была взаимной. Этим можно объяснить фигуру умолчания по поводу композитора, бросающуюся в глаза при чтении танеевских мемуаров — имя Чайковского упоминается в них лишь мельком и один раз, в то время как одноклассники его — Маслов, Апухтин, Каблуков — более или менее присутствуют в

тексте. Воспоминания Танеева интересны и ценны скорее как подробное описание правоведаческого быта и нравов.

Училище Правоведения было основано в 1835 году принцем Петром Георгиевичем Ольденбургским с целью воспитания для государственной службы компетентных юристов из высших классов общества, главным образом из среднего слоя дворянства. До тех пор юридическая деятельность оставалась привилегией разночинцев. Предприятие имело успех, и новое учебное заведение вскоре приобрело высокую репутацию, первоначально не без либерального оттенка. Кроме того, треуголка правоведа была в общественном мнении окружена таким же ореолом великосветскости, как и красный воротник лицеиста или каска пажа.

Как уже упоминалось, Училище Правоведения являлось учебным заведением закрытого типа для мальчиков. Подросток, закончивший приготовительный класс и успешно сдавший вступительный экзамен, принимался на младший курс (классы шли с седьмого по четвертый, по нисходящей линии), где учился четыре года, изучая предметы, в целом соответствующие гимназической программе общего образования. После четвертого класса ученик переходил в третий и тем самым на старший курс, где обучался еще три года специально юридическим дисциплинам. Последний, первый класс был выпускным.

Каждый из курсов жил своей отдельной жизнью, имел свои спальни, свою большую залу, из которой был проход прямо в классные помещения. Залы соединялись большими массивными дверьми. Младший и старший курсы тщательно отделялись друг от друга, несмотря на совместное пользование столовой и садом: на старшем курсе все происходило часом позже — и завтраки, и обеды, и прогулки. “Никогда воспитанники младшего курса не проникали в старший курс. Редко воспитанник старшего курса пройдет по зале младшего”.

Во главе Училища стоял директор, обладавший неограниченной властью. Два инспектора (один — классов, другой — воспитанников) и двенадцать воспитателей проводили в жизнь им установленный режим. Каждый новый прием поручался особому воспитателю, который доводил его до выпуска.

Согласно ярким, хоть и во многом противоречивым воспоминаниям правоведа четвертого выпуска В.В.Стасова, в ранний период

существования Училища обучение в нем происходило в довольно приемлемых условиях. Принц Ольденбургский, сам известный меломан, поощрял музыкальные занятия в стенах Училища. Приглашались профессиональные и даже знаменитые музыканты (например, Клара Шуман), устраивались концерты, как в училище, так и во дворце принца, иногда силами учащихся. Из среды правоведов того времени вышли композитор А.Н.Серов и уже упомянутый музыкальный критик В.В.Стасов.

После европейских революций 1848 года как по всей России, так и в Училище, началось брожение умов среди молодежи, на что власти ответили репрессиями. Воспитанники, высказывавшиеся открыто в поддержку французской революции, были исключены из Училища, равно как и те, кто был замешан в деле кружка Петрашевского. Директор Училища был также смещен.

В январе 1850 года новым директором был назначен бывший полицмейстер города Риги, генерал-майор Александр Петрович Языков.

Вот как описывает его появление в Училище Танеев: “Директор был довольно высокий, плешивый человек. Он ни минуты не мог постоять на месте, беспрестанно вертелся, мотал головой, махал руками, дрыгал ногами, делал какие-то па и пируэты, точно участвовал каждую минуту в балете... Воспитанники прозвали (его) шарлатаном и дрыгой... Вид его постоянно был гневный, свирепый, бешеный. Он страшно ворочал огромными белками. Он кричал ужасно насильственным, неестественным голосом. Он постоянно подкарауливал, подслушивал, ходил в мягких замшевых сапожках без каблуков, без звука, когда его именно всего менее ожидали; высматривал кого-то с незастегнутыми пуговицами, с длинными волосами, с папирсой, с куском собственного пирога, с посторонней книгой и, высмотрев добычу, кидался на нее неожиданно как тигр, как пантера, единым взмахом, с вытянутыми вперед руками, со сверкающими глазами и громадным, диким, презрительным, раздражающим все нервы криком: “А! Это что? Штучки?...” Хуже всего были его глаза, огромные, навывкате, воловьи, тупые, бессмысленно-злобные. Он останавливал их на собеседнике, старался внушить ими страх и трепет...”

Почти одновременно с директорством Языкова ввели обязательную маршировку. Воспитатели были заменены военными

офицерами. Учредили новую должность инспектора воспитанников, состоявшую в том, “чтобы ходить по Училищу, высматривать, ловить и наказывать, сечь”. Им был назначен полковник А.И. Рутенберг — “высокий, худой, с гневным выражением лица человек. Он всегда говорил сквозь зубы, как бы сдерживая накипевшую злобу... Одна походка его наводила страх и ужас. Он делал большой шаг, тяжело ставил ногу на пол, немного скользил ею вперед, при чем звенела и царапала пол его шпора. Скрип этих сапог и звон этих шпор ужасно действовал на мои нервы. Я помню их до сих пор”, — вспоминал Танеев.

В борьбе с крамолой Языков вел в отношении воспитанников кампанию террора. “Карцер, розги, исключения из Училища были *l'ordre du jour en регтапепсе*”. Пороли без всякой меры, без всякого стыда”. Телесные наказания, однако, не были нововведением Языкова, как и не были отличительной чертой лишь этого Училища. Порки розгами составляли обычную форму воспитания подрастающего поколения во многих странах Европы, и особенно в Англии, в течение большей части 19 века. В закрытых интернатах военного или полувоенного типа в России порка оставалась нормой. “Система битья розгами была в те времена в величайшем ходу везде в наших заведениях и практиковалась во сто раз чаще, жесточе и непристойнее, чем у нас, и мы это знали”, — замечает в своих воспоминаниях Стасов. Это мнение подтверждается, кстати, и заметками старшего брата Чайковского, Ипполита, который при характеристике нравов Морского Кадетского корпуса в Петербурге, где он учился, с большими подробностями описывает порку своих товарищей.

Как правило, телесным наказаниям в Училище Правоведения подвергались учащиеся младшего курса. Высшей мерой считалась публичная порка — иногда в присутствии как младших, так и старших правоведов. Языков, по всей вероятности, участил такие зрелища, полагая их дисциплинарно полезными для младших классов. На старшем курсе, однако, порки уже не допускались. “Главным способом воздействия на учеников здесь были угрозы, брань, крики”.

* Обыденным явлением (франц.)

Впечатляющее описание публичной порки в Училище Правоведения оставил Стасов: “Директор накричал, так много грозился, что вошел в начальническую истерику, что отступать ему было нельзя. Он решил перепороть весь класс. Два солдата схватили первого кто был с краю — высокого и красивого правоведа С-кого, отчаянно сопротивлявшегося и отбивающегося, раздели, положили на скамейку и стали сечь. Директор, заложив руки за спину, ходил нервным шагом по комнате. Воспитатели официально молчали, застегнутые в свои вицмундиры. Невыразимая тоска и отвращение щемили мне сердце. Я отвернулся в сторону, взглянул на ряды наших, все стояли бледные, насупленные, сдвинув брови и сжав зубы, а в высокие окна, как ни в чем не бывало, глядело голубое небо и верхушки Летнего сада напротив. Но что у нас у всех внутри делалось, пока свистели и ударяли розгами, пока С-кий вскрикивал все более диким голосом, все более и более остервенясь при каждом новом ударе — этого мне никогда не рассказать...

Высекли сначала С-кого, потом В-ского, краснощекого смуглого мальчика с черными глазами, живого и забияку, но совершенно невинного в этом деле. Он все время сечения раздирающим голосом кричал, что невинен. У меня вся внутренность дрожала. Наконец, директор закричал, чтоб перестали, и ушел вон, не говоря ни слова и не оглядываясь. Мы разбрелись по залам, и наше негодование, наша злоба, наше омерзение долго не улеглись. Я не забыл тогдашнего мерзкого чувства даже вот спустя сорок лет. Тогдашняя картина стоит даже и теперь перед моими глазами как живая”.

Разгар “языковского террора” совпал с пребыванием в Училище Правоведения Чайковского. Модест сообщает, что будущему композитору пришлось стать свидетелем публичной казни одного из товарищей. В.Танеев описывает случай, который, вероятно, и имеет в виду Модест: “За год до нашего поступления в Училище в классе был воспитанник Трепильский. Он остался в классе на второй год, и был гораздо старше своих товарищей. Ему было семнадцать лет. Как взрослый молодой человек, он курил. Курение в младшем классе было строжайше запрещено. Синицын (воспитатель) застал его с папирсой, сейчас же побежал к директору. Директор распорядился. Явился ужасный Рутенберг и стал

сечь Трепильского перед целым классом. Ему дали шестьдесят пять ударов. Один из его товарищей, маленький Маслов, не выдержал, — зарыдал. Рутенберг закричал на него, что сейчас же разложит и его и также выпорот. Малютка сделал над собою неестественное усилие”.

Надо полагать, что этот великовозрастный Трепильский и был “очень симпатичный”, согласно Модесту, тринадцатилетнему Чайковскому товарищ по классу. Сам Чайковский никогда, однако, не был порот. Его одноклассник Иван Турчанинов вспоминает: “Несомненно в Чайковском было что-то особенное, выделявшее его из ряда других мальчиков и привлекавшее к нему сердца. Доброта, мягкость, отзывчивость и какая-то беззаботность по отношению к себе были с ранней поры отличительными чертами его характера. Даже строгий и свирепый Рутенберг выказывал к нему определенную симпатию”.

Уместно заметить, что в специальной литературе уже указывалось на психозротический и даже психосексуальный подтекст такого наказания как порка по обнаженному телу. По отношению ко всем участникам этого действия — наказующих, наказуемых и наблюдающих за наказанием — его последствия порой включают в себя развитие садомазохистских, а зачастую и гомосексуальных тенденций.

С середины пятидесятых годов террор в Училище ослабевает, свирепый Рутенберг умирает, а его преемником назначен чуть ли не самый добрый и мягкий из воспитателей — И.С.Алопеус. До своего назначения на новую должность Алопеус был классным воспитателем XX курса и успел полюбить милого и обаятельного Чайковского. Он его называл уменьшительными именами, как, впрочем, и других своих любимцев. Танеев, считавший всех почти преподавателей шутами и идиотами, а воспитателей глупцами и ничтожествами, пишет об Алопеусе не без снисходительного презрения: “Воспитанники за его слабость и его презренное повиновение директору считали его добрым человеком, и только. У него, в самом деле, было доброе, глупое лицо, огромные желтые усы, которые придавали ему глупый вид, и огромный глупый лоб, который обличал совершенное отсутствие мысли. Репутацией глупого человека он был обязан исключительно мне. Пока я не обратил на него внимания, никто и не думал о размере его умственных спо-

собностей”. Более объективно высказывается Модест: “Алопеус имел гораздо более призвания к своему делу, чем Языков и Рутенберг, и обнаруживал это в умении примирить требовательность с мягкостью... Он сумел поставить себя так, что его не только боялись, но и любили. Петр Ильич всегда хранил о нем самое теплое и дружеское воспоминание”.

Классным же воспитателем курса, на котором был Чайковский, после повышения Алопеуса до ранга инспектора, был назначен барон Эдуард Клавдиевич Гальяр де Баккара. “Прямого влияния на нравственное развитие молодых людей, ему вверенных, он оказывал еще меньше, чем Алопеус — страха он не внушал ни малейшего. В Училище Баккара (как его называли) преподавал французский язык и обращался с учениками небрежно и презрительно. Преподавание его отличалось невысоким уровнем: мы мало-помалу забывали все, что знали дома из французского языка. А экзамены сходили с рук благополучно. Баккара пользовался доверием и вниманием начальства. Никому и в голову не приходило обнаружить этот обман. Мало кто знал, что вне училища Баккара занимается спиритизмом. Его возили... по всему Петербургу и показывали на спиритических сеансах... Знаменитые французские писатели, давно умершие, диктовали ему целую массу невероятной ерунды. Вероятно, мозг его был сильно поврежден. Он скоро умер”.

“Внутренняя жизнь воспитанников и прежде и теперь оставалась вне всякого прямого влияния со стороны начальства, — вспоминал позднее бывший правовед К.К.Арсеньев. — Начальство и прежде и теперь заботилось только об исполнении внешних правил, о соблюдении известного внешнего порядка”. Танеев высказывается по этому поводу довольно откровенно: “Дикая сила господствовала неограниченно. Сильные обращались со слабыми с тем же насилием, как начальство с воспитанниками... Воспитанники старших классов приставали к новичкам, дразнили их, били... Они смотрели на воспитанников младшего курса свысока, а младшие на старшекурсников с почтением”.

Вот свидетельство Танеева о некоем воспитаннике Браилко, бывшем его приятеле — четырнадцатилетнем мальчике с профилем Наполеона: “Он держал хлыст или кнут, погонял бегающих (по саду учащих) и иногда стегал их довольно больно. Никто не

протестовал... При нем постоянно были несколько человек товарищей, которые оказывали ему разные услуги, были у него на посылках, которых он третирует как своих лакеев. Когда он выходил в сад, они его окружали... Зимой закладывалась тройка из воспитанников. Каждый считал за честь быть в этой тройке. Брилко садился в санки и всю рекреацию катался по саду. Когда лошади уставали, они сменялись новыми”.

Класс Чайковского — несмотря на то, что в нем были такие ученики, как Владимир Герард, ставший позднее основателем общества по защите детей от жестокого обращения, или известный своей гуманностью Алухтин или склонный к сентиментальности будущий композитор, — оставил в памяти правоведов весьма необычную память: “В этом классе все вели себя до самого выпуска как глупые школьники. Приставания они называли травлей. У них было общество травли, которое имело свой устав и состояло из обер-травл-мейстера и нескольких травл-мейстеров, которые дежурили по очереди. Травили они большей частью двух товарищей, Каблукова и Снарского, которые назывались вепрями. Каждое утро дежурный травл-мейстер будил вепрей, объявляя им, что он сегодня назначен к ним дежурным и пускал в них сапогом. Травля состояла в постоянных насмешках, оскорбительных прозвищах, толчках, пинках, щипках и т.п. Бедные молодые люди — они кончили курс двадцати одного года — не имели достаточно энергии, чтобы как-нибудь вооружиться против своих притеснителей. Если бы они убили кого-нибудь из своих притеснителей, то это было бы слишком слабое мщение за то, что они от них вынесли. Они были в постоянном нервном возбуждении. Они, очевидно, должны были остаться больными на всю жизнь”.

Кроме одноклассников, сотоварищи будущего композитора травили и некоторых преподавателей. Федор Маслов, одно время друг Чайковского, организовал так называемые когорты, которые с визгом, криком, обзываниями провожали преподавателей по залам и лестницам. Был случай, когда кто-то из правоведов даже плюнул сверху на преподавателя английского языка и попал ему на лысину.

Другое, по мнению начальства, зло — курение, было строжайше запрещено правоведам на младшем курсе, но терпимо на старшем. Если первым и основным требованием было безусловное

подчинение начальству — повиновение без возражений, без рассуждений, то за ним, замечает мемуарист, следовало по степени важности запрещение курить. “Большинство классных “историй”, которые я теперь припоминаю, — пишет Танеев, — происходили именно из-за курения — и все-таки оно продолжалось в прежних размерах. Курили в душник (отверстие в печке для выхода в комнату теплого воздуха после топки — *А.П.*), в форточку, курили в классах, в спальнях, на лестницах, в камерах свободных прений; курили не только отчаянные головы, но и многие из благонаправленных учеников. Строгость запрещения разжигала, по-видимому, охоту нарушать его”.

Танеев сообщает любопытные подробности о способах курения воспитанников в залах училища. Желающие собирались вокруг душника и прикрывали курильщика, который ложился на пол и курил в душник. Замечательно то, что курильщики каждого класса составляли особую ассоциацию, обладавшую общими интересами. При курении соблюдалась очередь на основе старшинства ассоциаций. Начинали воспитанники 1 класса, затем второго, и уже после — третьего. Большим искушением, сопряженным с риском получить взыскание или быть наказанным, было курение украдкой в общей зале под скамейкой у душника папиросы, называвшейся рожком. Тот, кому принадлежал рожок, ложился на пол и закуривал папиросу. Он обыкновенно не кончал ее и на его место к той же папиросе ложился другой, тот, кому принадлежал второй рожок, затем третий и т. д. Когда кто-нибудь кончал папиросу, то следующий зажигал новую.

Скорее всего именно здесь будущий композитор заразился страстью к курению, не оставлявшей его всю жизнь. Много лет спустя Чайковский писал, что в школьные годы тайное курение доставляло ему большое удовольствие именно из-за волнений и риска, с ним связанных.

Равным образом процветало пьянство. Вот случай, описанный Танеевым. Однажды два воспитанника старшего курса приехали в известный ресторан Палкина и спросили себе комнату. Выяснилось, что все комнаты заняты, но в одной из них находятся их товарищи-правоведы. Каково же было их удивление, когда войдя туда, они увидели двух очень молодых мальчиков: Буланина и Веньери. Они были пьяны. Новоприбывшие осторожно вывели их,

посадили на извозчика и отправили в Училище. Буланин был близким другом Танеева и, по утверждению последнего, начал пьянствовать с пятнадцатилетнего возраста — вплоть до приступов белой горячки. Он спился совсем к последнему классу, но все же смог выдержать выпускные экзамены и закончить Училище. Сам Танеев, тем не менее, проповедовал трезвость. Прагматичный от природы, он со всей серьезностью описал в воспоминаниях переживание первого своего опьянения: “Это унижительное состояние. Во мне оно выражалось смутным сознанием, бешеной веселостью, неумолкаемым хохотом, за которым следовал сон. После этого я был пьян еще два раза (когда был в 3 классе, лет девятнадцати), и дал себе слово никогда этого не делать. С тех пор я ни разу не был пьян в моей жизни”.

Танеевскому морализму противостоит откровенное признание Чайковского на этот счет в его дневнике от 11 июля 1886 года: “Говорят, что злоупотреблять спиртными напитками вредно. Охотно согласимся с этим. Но тем не менее я, т.е. больной, преисполненный неврозом человек, — положительно не могу обойтись без яда алкоголя, против коего восстает г. Миклухо-Мак-лай. Человек, обладающий столь странной фамилией, весьма счастлив, что не знает прелестей водки и других алкоголических напитков. Но как несправедливо судить по себе — о других и запрещать другим то, чего сам не любишь. Ну, вот я, например, каждый вечер бываю пьян и не могу без этого... В первом периоде опьянения я чувствую полнейшее блаженство и понимаю в этом состоянии бесконечно больше того, что понимаю, обходясь без Миклухо-Маклаевского яда!!! Не замечал также, чтобы здоровье мое особенно от этого страдало. А впрочем: *quod licet Jovi, non licet bovi**. Еще Бог знает, кто более прав: я или Маклай”.

Композитор, как свидетельствуют его дневниковые записи и письма к родным, любил выпить и алкоголь был для него важен на протяжении всей жизни. Для Чайковского это был способ снять нервное и психологическое напряжение, который со временем превратился в привычку, но никогда не перешел в навязчивое желание. Алкоголиком в полном смысле этого слова он не стал.

* Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку (*лат.*)

Необходимо остановиться на одном из важнейших факторов душевного развития будущего композитора — подростковых гомосексуальных переживаниях. Фактор этот, несмотря на свою распространенность именно в закрытых учебных заведениях, относится к сфере, о которой предпочитают умалчивать как ученики их, так и учителя.

Нет сомнения, что эмоциональная атмосфера в Училище Правоведения была гомозротически насыщенной. Тому способствовало как раздельное воспитание, так и переходный возраст самих учащихся, чреватый, как известно, всевозможными сексуальными конфузиями.

Идеальный образ женщины, часто выносимый юношей из дома, в условиях учреждений типа Училища Правоведения быстро преобразался в достаточно циничное и снисходительное отношение к прекрасному полу. В окружении сверстников любое проявление повышенных эмоций в отношении женщины всегда рассматривались как слабость, женоподобие вызывало насмешку и грубую шутку. Коллизия эта усиливалась благодаря тем старшекурсникам, кто уже знал чисто физическую сторону половых отношений после визитов к проституткам или летних приключений в своих имениях. Разные истории на эти темы повествовались ими младшим во всех подробностях, со смакованием грязных деталей, и принимались на веру вне зависимости от того, были ли они реальным опытом или плодом фантазии. Вот признание на этот счет все того же Танеева: “Я совсем не понимал в чем состоят половые отношения, но все, что я слышал из разговоров своих товарищей об отношениях между полами, было так грязно, цинично, возмутительно, отвратительно, что я считал бы величайшим грехом одно прикосновение к женщине. Я с ужасом гнал от себя всякую мысль об этом”.

Появившись с некоторыми смелыми товарищами в публичном доме, 19-летний Танеев не касается женщин вообще, вызывая смех друзей: “Во-первых, я представлял себе женщину всегда в виде непорочной Болтиной (девушки, в которую был влюблен Танеев с детства — А.П.), и публичные женщины были мне вовсе не привлекательны. Во-вторых, я считал совокупление с женщиной вне брака за высочайший грех; я был весь проникнут христианскими идеями о любви, т.е. отвращением от женщин. В-третьих, я боялся

дурных болезней. Наконец, если бы я решил коснуться публичной женщины, мне для первого раза пришлось бы взять у нее уроки, а брать уроки совокупления, показать себя незнающим, неловким, было бы мне так же тяжело, как брать уроки танцев и гимнастики, в которых я был также неловок”.

В силу тех или иных воззрений: возрастных, религиозных, личных, гигиенических, эстетических и других, — гетеросексуальные связи отодвигались после семи-девяти лет пребывания в Училище на неопределенное время. Только наиболее отважные и отчаянные воспитанники на старшем курсе могли позволить себе сексуальные увлечения с девушками легкого поведения.

Вот, к примеру, что пишет о своих переживаниях один из анонимных российских современников Чайковского, оставивший нам довольно откровенную исповедь:

“Я никогда не испытывал подлинных гомосексуальных ощущений. Однако вспоминаю, что между 12 и 13 годами вид одного товарища по классу, того же возраста, что и я, вызывал у меня легкое сексуальное возбуждение. У него была очень тонкая кожа, волосы, хоть и естественно подстриженные, но все-таки напоминавшие девические. Несомненно по этой причине его присутствие было мне приятно: мне нравилось ущипнуть его немного за шею, обнять его за талию. Я никогда не думал ни о его сексе, ни о возможностях плотских отношений с ним, я даже не мечтал увидеть его голым, но тем не менее образ его являлся моему духу несколько раз в эротических снах: я видел во сне голой часть его тела (не половые органы, но к примеру, руку или плечи), его обнимал, целовал его в щеки, и все это приводило к поллюции. За все мое существование это — единственное воспоминание, связанное с гомосексуальностью. В остальном мы никогда не обменялись нежным словом, никакими знаками особенной дружбы. Я полагаю, что женственная тонкость кожи этого мальчика была единственной причиной моих эротических эмоций” (переведено с французского оригинала — А.П.).

Танцевальные классы, происходившие в Училище раз в неделю, во время которых воспитанники танцевали друг с другом, один в роли кавалера, а другой в роли дамы, вносили дополнительный оттенок в гомоэротическую атмосферу школы. Выразительно пишет об этом правовед Стасов. Чувствуя нелюбовь к танцам и ста-

раясь исправиться в этом классе, он упросил одного товарища из старшего класса, “некоего Потемкина, плечистого и здорового малого, возмужалого по гимнастике, вдобавок хорошего танцора, всякий день в 6 часов вечера во время рекреации, вальсировать со мной в розовой мраморной зале. Мы стали делать по 100, 200 туров вальса, раза два сделали даже 300. У меня голова кружилась до одурения, почти до обморока, часто до тошноты, но мой Потемкин ни на что не смотрел, тащил меня силой, и мы летали по зале как сумасшедшие”.

Наконец, вступали в свое действие и социально-психологические законы замкнутых однополых групп, требующих реальных или символических инициаций, взаимного притяжения, отношений на оси любви-ненависти, острого физического контакта — от драки до объятий. Все это незаметно, но существенно определяло психосексуальное поведение юных воспитанников Училища.

Ситуационная гомосексуальность такого рода принимала разные формы: сверстников с друзьями, младших — с более старшими, а также выражалась и во встречах вне Училища с другими поклонниками юношеской красоты. “У него (правоведа Браилко), — рассказывает мемуарист, — был брат в 1 выпускном классе и оба они ходили по воскресеньям к каким-то гусарам... Он уже провел целый год в обществе взрослых правоведов. В этом обществе он совершенно испортился. В те молодые, почти детские, годы, когда человек собирается с силами, удовлетворение половому инстинкту было главным его стремлением”. Об уже известном нам Буланине Танеев сообщает, что, обучаясь во втором классе, он жил несколько недель на квартире некоего Смирнова и пьянствовал с его братом Аполлоном, который служил в военной службе. Заметим, что Буланин, как неоднократно замечал мемуарист, обладал очень красивой внешностью, все в него влюблялись, и многие поступки сходили ему с рук. Другой воспитанник, Языков, предавался, по словам того же Танеева, страшным излишествам, так же как развратен был и семнадцатилетний грузин Багратион — глупый, безобразный, чудовищный, с наружностью сорокалетнего мужчины.

Приведем в качестве параллели довольно откровенную автобиографическую запись другого сверстника Танеева и Чайковского — Джона Аддингтона Саймондса, известного писателя и искусствоведа, прошедшего через подобный опыт, правда, в другой стране

— в Англии. “Одна вещь в Харроу быстро привлекла мое внимание — моральное состояние школы. Каждый милостивый мальчик имел женскую кличку и считался или публичной проституткой или “сучкой” старшекласников. Сучкой называли мальчика, который полностью подчинялся старшему. Разговоры в спальнях и классах были удивительно непристойны. Здесь нельзя было не увидеть актов одиночного и взаимного онанизма и игр обнаженных тел в постели. В этом не было утонченности, чувства, страсти, только животная похоть. Они наполняли меня отвращением и омерзением”.

В России нечто подобное происходило и в других закрытых учебных заведениях. Пажеский корпус один мемуарист назвал школою разврата. Юнкерское училище также не отличалось высокой нравственностью, примером тому служат юнкерские поэмы М. Лермонтова, в частности, “Ода к нужнику” и “К Тизенгаузену”. А вот как описывает кадетский корпус один из его выпускников: “В нем какой-то особенный мир: полуказарма, полумонастырь, где соединены пороки обоих. Нет такого разврата чувственности, которого не случалось там. Всем порокам открыт вход сюда, и не принято ни одной меры для истребления оных”.

Администрация, невзирая на собственные строжайшие запреты, по-видимому, смотрела на отроческий разврат как на неизбежное и неискоренимое зло и не придавала ему особенного значения, если не возникали громкие скандалы. В Училище таких скандалов почти что не было, если не считать курьезного случая, когда неуказанная болезнь (вероятно, онанизм) стала поводом к исключению ученика в назидание другим в начале 40-х годов. Повод к этому дали встревоженные родственники, заметившие порок у своего подопечного и попросившие директора принять меры. Это исключение вызвало бурю негодования среди остальных воспитанников. “Что если бы весь свет вздумал так действовать — ведь, пожалуй, пол-России пришлось бы выгнать отовсюду из училищ, университетов, полков, монастырей, откуда угодно, все это в честь чистой доброй нравственности”, — пишет об этом Стасов.

Более существенный эпизод, иллюстрирующий спокойное и даже слегка сочувственное отношение правоведов к гомосексуальному поведению товарищей, рассказан Танеевым.

В 1860 году (т.е. через год после окончания Училища Чайковским) воспитанником 3 класса был некто Зубов, брат одного из профессоров Училища. Это был “способный молодой человек, веселый, бойкий, остроумный, хороший актер, хороший чтец”. Однако, по мнению мемуариста, он был испорчен во всех отношениях. “Преждевременные половые излишества совершенно его истощили... Постоянная хвастливость, фатовство, какие-то исковерканные манеры производили самое неприятное впечатление. Но это все ничего. Дурно было то, что он в этом молодом возрасте был отъявленным мошенником. Благодаря родству с одним из профессоров, этому Зубову многое сходило с рук. Наконец мы узнали, что летом в Павловске Зубов поймал в парке маленького правоведа Фомина, затащил с помощью своего товарища Булгакова в грот и изнасиловал... Хотя Зубов был совсем не в нашем классе, но мы решили созвать общее собрание всего старшего курса, всех трех классов, чтобы осудить его... Я и Буланин были обвинители. Человек пять или шесть пожелали быть защитниками. Все воспитанники старшего курса собрались в нашем классе. Всего было человек восемьдесят... Для подсудимых Зубова и Булгакова были поставлены вместо скамьи подсудимых два табурета, налево от кафедры. Они явились и заняли свои места. Зубов был бледен как смерть. Булгаков, очень молодой мальчик, белый, розовый, был красен как пион. Ораторы входили на кафедру. Буланин произнес длинную и блестящую речь, в которой обвинял Зубова. После него говорил я немного, сжато, систематично, с чрезвычайной ясностью. Я заранее написал, что мне говорить. Выражая отвращение к поступку Зубова и его поведению вообще, я мало обращал на него внимания. Я главным образом старался возбудить ненависть и отвращение к начальству... Защитники... говорили много, плохо, бессвязно. Некоторые говорили, что поступок Зубова был частным; что мы не должны вмешиваться... Я все высматривал, за всеми наблюдал, прислушивался, и мне казалось, что общее настроение воспитанников в пользу Зубова, что они не хотят выгнать его. Я решил выгнать его во что бы то ни стало. Я занимался постановкою вопроса и ввел всех в заблуждение. Следовало поставить вопрос так: выгнать Зубова или нет. Я поставил вопрос так, что дело было решено заранее: подвергнуть Зубова нашему домашнему изгнанию или объявить о его поступке начальству...

Огромным большинством было решено не объявлять начальству, подвергнуть Зубова домашнему изгнанию. Мне этого было мало. Я хотел выгнать и Булгакова. Это не удалось. Суждение о Булгакове было отложено на завтра. На другой день было новое общее собрание, и Булгаков огромным большинством был оставлен. Зубов в тот же вечер, как его судили, собрал свои вещи, уехал из училища и не возвращался. Исчезновение Зубова немедленно сделалось известным начальству. Времена были другие. Директор испугался. Он явился к нам (к нам, а не товарищам Зубова) и серьезно нас спрашивал, позволяем ли мы дать Зубову чин 14 класса. Мы сказали, что позволяем. Зубов получил 14 класс”.

В этом контексте не удивляет появление иронического гимна под названием “Песнь Правоведов”, который был широко распространен в Училище в 40-50-х годах и сохранился для нас в неподцензурном заграничном издании русской эротической поэзии:

Венера, Венера
Скажи ты скорей
Какая манера
Чтоб еть веселей?
(.....)

Приятное дело
Друг другу давать
И попкою смело
Пред х..м вилять.

Гасан Гусейнов

ЯЗЫК ПОЛИТИКИ И ПУБЛИЦИСТИКИ В ПЕРВЫЙ ПОСТСОВЕТСКИЙ ГОД РОССИИ

Общий диагноз, даваемый перестроечными публицистами

Последние годы перестройки привели значительную часть русского общества к пониманию того обстоятельства, что конец СССР означает завершение многовекового исторического цикла и одновременно начало неведомой новой гигантской эпохи истории России.

Это понимание Большого Рубежа часто бывает заслонено поверхностной риторикой “победы над тоталитаризмом” и “веры в демократическую Россию”, но оно все более отчетливо выражается в обострившемся ощущении беспомощности языка, в осознании невозможности с помощью привычных речевых средств выразить смысл происходящих в России перемен. “Ныне мы погружены в плотную толщу слов и восклицаний, которые не только не помогают нам разглядеть действительную жизнь, но, напротив, подменяют ее особой псевдореальностью, опредметившей спонтанно возникавшие эмоции, надежды, установки. Примерами могут служить слова “демократия”, “рынок”, “красно-коричневые” и т.д. — не строгие понятия, а скорее метафоры, знаки идеологических порывов, сигналы к действию”.¹

При этом существенно, что непригодным признается не только “деревянный” язык власти, или язык официальный (немецкий эквивалент его ярко описан в книге Виктора Клемперера “Язык Третьего Рейха”²); нетрудно вспомнить, что еще в раннюю советскую пору можно было прочесть в московской газете: “Говорит непонятно — значит, большевик”³.

Особенностью нынешнего положения оказывается и другое: все более глубоко осознается тот факт, что на наших глазах исполняется знаменитое пророчество Владислава Ходасевича о русском языке, который “сделается мертвым, как латынь”⁴. Становится

все понятнее, что господствующая в стране языковая стихия непрозрачна для элементарной социальной коммуникации, а не только для разговора о “метафизике человеческой природы”: “Подобные формулы сделались для нас пустым словесным треском. Семьдесят лет возводили социалистический Вавилон, добились вавилонского смешения языков — обиходного с “феней” и подростковым сленгом, художественного с чиновно-заседательским. А за этой пестротой и смешением — наш, фирменный, уклад сознания, проутюженного пропагандой”.⁵

Именно этот “фирменный уклад сознания” и переживает наибольшие трудности при столкновении с новой реальностью: ему не могут помочь здесь ни “возрождаемая” культурная традиция, ни творцы нового языка. “Слова сегодня утратили достоверность и энергию. Культурные символы убиты “большим стилем” тоталитаризма. Я не верю в то, что ими еще можно оперировать, возводить на этих сваях какие-то художественные конструкции”.⁶

Неудивительно, что в критические моменты истории страны (даже осознаваемые как таковые современниками) именно “вопрос о языке” парализует носителей опыта двоемыслия. Яркое описание такого паралича дал в дневниковой записи начальник разведки КГБ Леонид Шебаршин, рассказывающий о попытке верхушки КГБ отмежеваться от своего шефа В. Крючкова (одного из организаторов ГКЧП и августовского путча 1991 г. в Москве): “22 августа (...) принимаем заявление Коллегии (КГБ) с осуждением заговора. В заявлении употреблено слово “замарано”. Начинается идиотический спор — не лучше ли написать “запачкано” или “ложится пятно”. Все как в Верховном Совете или романе Кафки. Состояние всеобщего и дружного маразма, единственная невысказанная мысль: “Ну, влип!””.⁷

Наш вопрос: в чем более общий социокультурный смысл этих языковых трудностей? Как они определяют политическую риторику и повседневность в первый постсоветский год России?

Наследие Горбачева

С именем и деятельностью последнего генсека КПСС, а также первого и последнего президента СССР М. Горбачева связаны

ключевые проблемы русского политического языка последнего времени.

Правивший “в стране с притупленным почином, жизнь которой искони в значительной степени определяется начальством”⁸, Горбачев впервые в истории этой страны попытался разрушить стену, разделявшую “язык власти” и “язык людей”. Под знаком *гласности и перестройки* к последнему году его правления была не просто отменена (или, вернее сказать, отмерла) цензура. Произошло нечто гораздо более важное: в общественном сознании и на одних страницах встретились изолированные прежде друг от друга пласты языка. *Общая политическая сцена без прежних выгородок и одновременно оказалась предоставлена различным типам речевого поведения.*

Функциональное многоязычие, сложившееся в обществе “двоемыслия”, не могло исчезнуть: инерционные процессы в языке на первых порах оказываются сильнее любых нововведений и новообразований. Так и в нашем случае. Аксиоматичные для общества “двоемыслия” правила речевого поведения (подтекст важнее непосредственного значения текста; критерием содержательности высказывания является остроумие; язык служит не для познания действительности, но для идеологической манипуляции ею)⁹ действуют и в новую эпоху, когда уже нет больше тех условий, при которых правила вступили в полную силу. Вот почему каждый *организатор и вдохновитель* любых, в том числе и самых благотворных, социальных перемен, должен считаться с тем, что эти перемены сперва ярче прежнего выявят суть как раз отменяемой, уходящей эпохи.

Лингвистически агония этой эпохи и воплощается в естественной неспособности современников перелома вдруг заговорить на языке ближайшего будущего. Наступает труднейшее для всех, а значит — поистине *переходное* время, когда на *всем* языковом поле из *всем* очевидных, быстро накапливающихся и в каждом отдельном случае знакомых мелочей начинает складываться и по-своему говорить новая и в целом совсем чужая реальность.

Социальные перевороты прошлого обязательно сопровождались в России реформами русского, да и других языков (петровские реформы, реформа русского правописания 1918 года и площадная канцеляризация русского языка в 20-30-х гг., перевод

на кириллическую основу большинства языков СССР в 1930-е гг.), реформами, призванными приблизить чаемое грядущее. Особенностью же горбачевской реформы стала парадоксальная ориентация на прошлое, сначала — на ленинский “золотой век” Советов, а в последние, уже ельцинские два года — на “Святую Русь”. Пафос возвращения, восстановления, возрождения и определил условия удивительной встречи разнородных пластов русского языка.

Здесь показателен уже личный речевой опыт Михаила Горбачева. Непомерно красноречивый на фоне Брежнева или Черненко, Горбачев оставался, несмотря на свою способность говорить не по бумажке, все-таки типичным партийным оратором. Он начинал с нарочито выпячиваемой народности. А на постсталинской политической сцене России народность обеспечивалась либо южнорусским говором (Брежнев, Горбачев), либо грубоватым отрывистым прикрикиванием (Хрущев, Лигачев, Ельцин). Общим для всех хозяев Кремля, от Сталина до Горбачева, было своеобразно подчеркиваемое в публичных выступлениях презрение к языку как подручному средству управления: настоящему руководителю народа не позволительно говорить “культурно”¹⁰. С одной стороны, Горбачев вписывается в эту традицию: его бесконечные, избыточные повторы и неувязками выступления на встречах с трудящимися, интеллигенцией или телезрителями оставались разговором на деревянном языке. На деревянном языке он обращался к “своим”, но первые признаки новизны его политической речи, которую не сумели расслышать официальные идеологи, вызвали отклик у самых известных диссидентов.¹¹

“Когда в 85-м страна вдруг услышала нормальную русскую речь и увидела перед собой живого человека, мы не сразу поверили своим ушам... Человеческая речь лидера страны породила множество надежд и мечтаний...”¹²

То новое, что внес Горбачев в русский политический язык и что, как это ни смешно звучит, неслышно присутствовало во всем его столь привычном бюрократическом многословии второй половины 80-х гг., вполне проявило свой смысл после ухода президента в отставку. Это новое — горбачевские словечки, его не столько функциональное аппаратное косноязычие, сколько индивидуальные нескладности речи, над которыми если и смеялись, то совсем не так, как в свое время над парализованной челюстью Брежнева.

Словечки Горбачева — даже на фоне леса деревянных слов (“Больше социализма!”) оказались живой попыткой передать политические пристрастия этого человека. Как бы ни была косноязычна горбачевская политическая проповедь “перестройки” или “нового мышления”, все его “давайте определимся”, “подвижки”, “начать”, “процесс пошел”, “сейчас посоветуемся”, “так понимаете” привязались к языку и самых яростных противников последнего генсека. Невнятный политический лексикон Горбачева был востребован в первый же постсоветский год России для описания невнятности самого политического процесса как его идеальное словесное отражение.¹³ Ирония и сарказм, часто сопровождающие употребление *горбачевизмов* в новой русской политической риторике, также придают этой риторике не свойственное ей в традиции человеческое измерение.

Но и этого мало: оживляющими текст горбачевизмами нередко отмечены как раз размышления о судьбе современного русского языка. “Язык — единственное связывающее русских воедино. Разрушь его и никто не вспомнит, чем Russian отличались от Soviet. А “процессы идут”... и т.д.”¹⁴ Даже то обстоятельство, что “сейчас у нас в моде речь индивидуальная”, что “стала цениться своеобычность и нестандартность языка”, первая исследовательница “языка Горбачева” Ламара Капанадзе ставит в заслугу последнему главе СССР.¹⁵

Горбачев много рассуждал о необходимости “учиться демократии”, однако в демократизируемом подсознании своего народа он оставил — среди руин традиционной пропаганды (“социалистический выбор”) — свидетельства нетвердого, но зато *живого* владения языком.

“Надеясь на вождей, молясь и матерясь”¹⁶

Фундаментальную роль языковых мелочей, пронизывающих толщу языка в критическую для его носителей эпоху, вполне обнаруживает другой — и гораздо более широкий — план горбачевского наследия.

В силу того, что *гласность* была санкционирована генсеком компартии, освоение общественным сознанием “нового мышления” совпало по времени с возможностью — впервые в жизни нескольких поколений русских людей! — публично и в самой России

высказать любое суждение “о времени и о себе”. Здесь кроется и основное противоречие (хотя, казалось бы, не все ли равно, *разрешена* свобода слова или *добыта* в социальном противостоянии): небывалая внутренняя свобода обретена, как выясняется, лишь для того, чтобы описать небывалый внутренний распад. То обстоятельство, что здесь нет никакого логического противоречия, не отменяет, однако, субъективной жизненной противоречивости кардинальной перестроечной установки: перестройка СССР возможна лишь как его разрушение.

Движение этого противоречия в глубь общественной среды было облегчено тем, что само “общественное сознание перестало откликаться на политические сигналы властей, отказалось вырабатывать на них социальные рефлексy”¹⁷. Широко признается, что господствующая идеология сформировала капризное, но духовно пассивное, инфантильное общество.¹⁸ Этот “идеологический инфантилизм и “уберегал” многих из нас от духовных болезней века”¹⁹. Вот почему главная “духовная болезнь” — самопознание — началась в перестроечной России в острой форме саморазоблачения и самобичевания. “Хочется застонать, напиться, ругаться? А надо, сжав зубы, терпеть и просто стараться говорить правду о людях и словах”²⁰.

В разных стилевых воплощениях — от традиционного, как многие считают, для стран Запада эсхатологического алармизма до традиционной в России уличной брани — политический язык России начал в поисках правды, или, лучше сказать, новой достоверности, открыто насыщаться за счет новых для него пластов речевого поведения. Бросаются в глаза уже внешние, поверхностные изменения: так, впервые за многие десятилетия на одной странице одной газеты и даже в одном слове встречаются попытки вернуться к старой дореформенной орфографии (газета “Коммерсантъ”), включив ее в подчеркнуто нерусские словообразовательные механизмы (“Дягилев-центр”, ср. “Горбачев-Фонд”) или просто впустив латинское письмо на равных, как это бывало и прежде, в русский текст (от газеты “Sex-Bespredel” или рок-журнала “P.Stone” до англоязычной рекламы там, где раньше размещались транспаранты “наглядной агитации”). На руинах советских *сегодня* и *вчера* развернулось соревнование русского давно прошедшего с “западным” будущим.

С одной стороны, мы находим здесь освобожденные от идеологического надзора элементы западного политического языка. Впервые для домашнего применения к советской политической реальности оказались востребованы такие слова, как “авторитаризм”, “тоталитаризм”, “легитимность”, “либерализм”, “приватизация”, “менталитет”, “истэблшмент”, “монетаризм”, “люмпен”. Возникает потребность в срочном издании нескольких словарей обновленного политического языка²¹, словариками нового языка изобилуют газеты всех направлений.²²

С другой стороны — освобожденный от цензуры и государственного ханжества — оживился собственно русский *теневого словаря* — имевший и прежде широчайшее (в основном — изустное) хождение матерный язык, а также различные питающие его маргинальные жаргоны.²³ Впервые за сто лет и в самой России появляются словари и для них.²⁴

Особенно бросается в глаза всплытие на поверхность общественной жизни мата. “Гласность наша, — замечает Андрей Битов, — имеет общую природу с матом”.²⁵

Конец “прекрасной эпохи” отмечен в сознании многих миллионов современников двумя публичными матерными высказываниями из высочайших уст: Михаил Горбачев 21.8.91 назвал членов ГКЧП “мудаками”²⁶ и рассказал по ТВ, как в Форосе “он послал их куда русские люди посылают”; Мстислав Ростропович, прилетевший в Москву на защиту Белого Дома, в интервью радио “Свобода” (ставшего в дни путча главным источником информации для десятков миллионов людей) повторил свой ответ на вопрос пограничника в Шереметьево, не на конгресс ли соотечественников он приехал, — “да ебал я этот конгресс!” Эти немислимые (разумеется, немислимые — только в отношении публичности²⁷) в советские времена высказывания были мгновенно перепечатаны ударными перестроечными газетами — “Коммерсантом” и “Независимой” — на первой полосе.²⁸ Появившийся вскоре в продаже 11-й номер “Литературного обозрения” с главными сочинениями матерной русской поэзии и популярный русский философ, обозреватель радио “Свобода” Борис Парамонов, объявивший по радио и в “Независимой газете” “пиздец социализму”²⁹, довершили дело “освобождения подсознания русской культуры от отягчающего ее бремени”³⁰: матерный пласт русского языка начал публично сливаться с официальной нормой.

Шок понимания

Торжество ненормативности оглушило общество. Через перемены в языке оно требует от говорящих и пишущих на нем все более трезвой самооценки. “Русский язык XX века, — формулирует поэт Виктор Кривулин, — язык великой нации, претендовавшей на мировое господство. Нам предстоит смена стереотипов: огромный народ останется, огромная страна останется, но имперская идеология и все ее структуры, включая языковую, должны измениться”.³¹ Пойми языковую структуру — и ты поймешь имперскую идеологию. Но спокойное, “взвешенное”, как приговаривал Горбачев, понимание этих структурных перемен невозможно просто потому, что вместе с изменениями языка меняется и способ понимания.

Многие захотели воспользоваться возможностью через наблюдение за, в сущности, микроскопическими языковыми переменами, понять суть тектонических сдвигов на одной шестой части земной суши. Одни прямо заявили, что “освобождение языка связано с общедемократическим процессом”, что тут-то, с разрушением языкового пуританизма, и наступает настоящий отказ от “сталинской модели жизни”.³² Другие увидели в этом же процессе “промискуитет, неразличение добра и зла”.³³ Происходящее в языке неизбежно гипостазируется всяким, кто обращает на него внимание: значение символических событий вообще естественным образом преувеличивается. Следствием этого оказывается своеобразное укрепление *логократии* — власти слов, особенно идеологизированной речи, которую надеется стряхнуть с себя российское общество.

Длительный опыт идеологического вычленения из языка того, что приемлемо для общественного употребления, обеспечил такую почву для свободы слова и, стало быть, для взаимодействия на ней вышеназванных пластов, на которой любые перемены, любые события должны восприниматься как кошмар: значение, по распространенному мнению, окончательно вытряхнуто из слова; развивая традиционную метафору *слова-живого-существа*, неизбежно приходишь к картине мира — пусть пока “только” духовного мира, — ставшего жертвой вурдалаков, высасывающих смысл, как кровь из жил. “Люди, которым слова — профессиональный

инструмент, в кошмаре: слова, на вид надежные, пахнут ложью. Представьте хирурга, который берет блестящий скальпель и чувствует, как тот воняет: решится ли он начать операцию? Как чувствует себя историк и филолог, который читает в газетах о казаках, которым мэр Москвы поручает охрану рынка? Что этот “рынок” вовсе не означает рынка, так к этому мы привыкли с большевистских времен. Но ведь и эти “казаки” ни малейшего отношения к казакам не имеют, и “мэр” вряд ли может назваться мэром. (...) Слова-оборотни разгулялись не только в политике... Вампир от нормального человека отличим не клыками и бледностью, а узко потребительским взглядом”.³⁴

Итак, мы переживаем новое (после революции 1917 года) выпадение из Нормы. Всплывший на дневную политическую поверхность язык “низа”, “подполья” вторично в двадцатом столетии отмечает небывалую глубину культурно-исторических перемен.

А именно, это та глубина, где, согласно нерелефлируемому предчувствию, покоятся основания здравого смысла, привычный порядок бытового повседневного общения, умственный и душевный приют, в котором ничто не должно меняться, какие бы перемены не происходили в верхних этажах социальной жизни. Уверенность в том, что где-то там и должна гнездиться норма, разлита в текстах, представляющих разные направления мысли.

Основополагающая трудность, с которой сталкиваются носители русского языка, состоит, однако, в том, что вся эта материя, в обыденной жизни не предназначенная для словесного воплощения, горячо и неизбежно “заговаривается”.

Как именно это происходит, видно уже на примере слова *норма*.

“Нам недостает ощущения нормы свободы, нормальной свободы, достаточной свободы”.³⁵

“Можно себе представить, каких усилий потребует возвращение колоссальной страны с ее народами в нормальное “место” и нормальное “время”.³⁶

“Взглянув на карту теперешней политической борьбы, которая никак не может стать нормальной политической жизнью, понять что-либо трудно”.³⁷

“Задача в том, чтобы помочь людям вернуться в нормальную систему ценностей, побудить задуматься о себе...”.³⁸

Выпадением из нормы широко признается и весь советский период русской истории, и даже вся она в целом, но и расставание с советским периодом — крушение. Открытый во времени, исторический процесс остается для фрустрированного сознания замкнутым, ненормальным. “Структура русского политического пространства не отводит человеку место для нормальной жизни, ибо области Спасения и Вечного Проклятия сходятся вплотную, выжимая личность на лезвие границы, мерцающее Добром и Злом”, — пишет философ, в прошлом — заслуженный диссидент Михаил Казачков в эссе “Лента Мёбиуса”.³⁹

Острота положения состоит в том, что само стремление к норме рассматривается теми, кто берется за его описание, как один из элементов фатальной ненормальности предшествующего исторического пути. Пишущий на данную тему попадает в известную логическую ловушку о лжецах, признающих себя таковыми. Эта ловушка осложнена особыми условиями противостояния в обществе между теми, кто считает, что “Россия должна стать нормальной великой державой”⁴⁰, и теми, кто полагает, что “Россия, наконец, превращается, как говорил Наум Коржавин, в “нормальную плохую страну”⁴¹.

Поверхностно-словесная, но и подсознательная установка на Норму становится источником острого внутреннего разлада в силу неизбежной тавтологической бессодержательности ключевого понятия.

“Мы ведь живем теперь под звездой Нормы. Ориентируемся на цивилизованные нормы. “Нормальный ход” — так Сергей Чупринин программную статью называет. Норма для нас теперь — идеал, цель, истина, нить путеводная. Норма теперь — норма. И как же пережить такое российской культуре, которая все свое величие накачала на ненормальности. И глубин, которыми гордимся, достигала на пределе, в забвении, в разрывах, в безумии игрока, просто в идиотизме. А теперь нам прописывают западные лекарства. В упаковочке. Не “норма” даже — NORMA”⁴²

Итак, все хотят возвращения к норме как таковой, все жаждут возвращения к понятию нормы, но чем ближе утоление этой жажды, тем очевиднее неизбежность крушения всего предшествующего уклада жизни, включая и тот приют, где гнездится самое Норма.

Публицист, настроенный в духе возрождения державы, обвиняет своих демократических оппонентов в том, что к “символам-лозунгам тоталитарного государства Оруэлла прибавился стараниями наших гуманистов еще один: “Аномалия — это норма”⁴³. Перед нами, очевидно, эрозия не понятия нормы, но всего семантического поля, на котором оно могло бы иметь общезначимый смысл, а не превращаться в словесную упаковку сверхценной идеи.⁴⁴ В форме иногда вполне магических заклинаний (“...пробудить нормальные защитные рефлексy нашего общественного организма, стряхнуть с него оцепенение и восстановить нормальный кровоток”⁴⁵) мы наблюдаем здесь общественное явление, которое Андрей Фадин определил как “шок понимания” *невозвратности былого мироустройства*⁴⁶.

— Как живете?

— Нормально.

Но живем — аномально.⁴⁷

Неудивительно, что этот шок понимания пришелся именно на конец перестройки, или эпохи Горбачева, и на уровне речевого поведения обернулся труднопереносимой языковой сумятицей. Труднопереносимой потому, что всякая попытка осмыслить ее только усугубляет сумятицу. В поиске выхода носители языка, не сговариваясь, но и словно сговорившись, сакрализуют “здравый смысл”: это как раз та матрица поведения и размышления, полная неопределенность которой позволяет всякому адоранту “здравомыслия” воздерживаться от познавательных усилий, или от уяснения того, в чем же собственно состоит предмет нарождающегося нового культа. Риторическая природа проповеди “здравого смысла”, широко представленной в публицистике начала 90-х гг.⁴⁸, воспроизводит советскую идеологическую практику: апофатическое благоговение перед мнимой святыней и грубое словесное насилие над общезначимыми ценностями (слово-прикрытие для такого насилия — это, конечно, “инфляция”).

Критика языка

Однако, другого способа — помимо разговора на унаследованном общем языке — выйти из шока понимания для общества все равно не существует. “Языковая реальность, господствующее в стране косноязычие, заменившее немотствование общества в такой огромной стране”⁴⁹, — остается единственным содержательным пространством самопознания.

Вот почему критика языка — это неизбежный спутник мучительной процедуры *поиска себя*, в котором находится Россия. Появившуюся, конечно, не вчера, потребность в достоверном языке культурно-политического самоописания испытывает все большее число людей. Но потребность достоверности и вообще очень трудно сформулировать в ее абстрактной ясности.

Журналистка Анна Сокольская, ведущая передачи “Школа выживания” на радиостанции “Эхо Москвы”, проанализировала письма слушателей, полученные за первый год существования станции (с апреля 1991 по апрель 1992). “Одним из феноменов современной ментальности является практически полное исключение из обыденного сознания абстрактных понятий, — пишет она. — Это естественно, так как тоталитарная система — система без рефлексии, которая, собственно, эти понятия и порождает. Из полученных автором более трехсот писем всего в трех встречаются такие термины как “культура”, “достоинство”, “честь”, “свобода”, “право”, “душа”⁵⁰. (...) Столь малый процент людей, свободно оперирующих абстрактными понятиями, связан не только с их неумением это делать, но и с особенностями советского “новояза”. Люди часто находятся в плену стереотипных новоязовских формул и пытаются их преодолеть любым доступным образом. Самым распространенным способом становится в этом случае стихотворная цитата, “взрывающая” заштампованный стандартный текст”.⁵¹

Но как “взорвать” новоязовский текст не стихами? Почему, в частности, это не получается у пришедших к власти политиков? А.Сокольская утверждает, что большинство слушателей “не воспринимает абстрактно-теоретических выступлений ее (власти — Г.Г.) носителей. Так, частое появление на телеэкране (государственного секретаря, впоследствии — советника президента Ельцина) Г.Э.Бурбулиса с рассуждениями о долге и праве отнюдь

не способствует его популярности”⁵². Это и понятно: осмысление самой процедуры отказа от прежнего языка самоописания и перехода к *новой достоверности* находится за перевалом и власти, и политики. Умение манипулировать с помощью языка поведением людей противоположно пониманию⁵³, и это инстинктивно чувствуют люди, уже расставшиеся со своим прошлым, но еще не знающие, как же им это понимать. Перемены в механизме понимания нуждаются в обогащении языка, освобождении его носителей от того “фасеточного зрения”, о выработке которого пишет историк русской литературы Юрий Манн: “Мы реагируем не на смысл целого, а на слова и словосочетания. Последние же воспринимаются как опознавательные знаки должного и недолжного и потому или успокаивают, если мы встречаем слова, которых ждем (мол, все идет как надо), или внушают тревогу, если происходит какой-то сбой”⁵⁴.

В этой фасеточности и заключена, в сущности, нехитрая тайна идеологии: для того, чтобы выбраться из-под ее руин, приходится отказываться от самых обыкновенных, нейтральных слов, научиться не слышать тех абстракций, которыми несколько десятилетий уже оперировала и власть, и культура.

Языковые уродства, сопровождающие любые попытки выломиться из вчерашнего идеологического пространства, неизбежны. Они обусловлены тем складом ума, тем, как не принято теперь писать, “укладом общественного сознания”, который одновременно и не хочет говорить, и мечтает рассказать о себе.

“Привычка к неживому, стертому, авторитарному слову формировала в душах то качество, которое М. Мамардашвили называл “неспособностью практиковать сложность” — иными словами, глубокий инфантилизм, готовность принять на веру последний бред, нежелание самостоятельно мыслить и потребность в “указующей руке”, — качество, легшее в основу национального менталитета на долгие годы и многое объясняющее”⁵⁵.

На каком же языке сегодня объясняться этому пресловутому инфантильному “национальному менталитету” с самим собой и с другими?

Для ответа на этот вопрос охотно прибегают к методу исторических аналогий. “Дальнозорким” “единственным аналогом нынешнего состояния языка” представляется язык петровской эпохи,

в котором соединялись канцеляризмы XVII века, вроде “государева слова и дела”, и грубые европеизмы⁵⁶. “Близорукие” всматриваются в русский язык первых лет после революции, когда “он начал буквально захлебываться блатной феней”⁵⁷.

Нынешние языковые процессы признаются тем самым неотъемлемой частью национальной культурной традиции, а вовсе не выпадением из нее, как думали еще в двадцатые годы, описывая тогдашнюю “изуродованность и искалеченность” русского языка. Именно в силу глубокой традиционности того, что происходит с русским языком сегодня, современного читателя изумляет сходство этих чужих описаний и нашей собственной реальности.

“Никогда еще русский язык не испытывал такого засилья иностранщины, как сейчас. Все стараются “свою образованность показать”, и ораторы, и газеты, и декреты глушат и пугают загадочными словами — “диспропорция”, “рентабельность”, “дезавуировать” (...) и т.д. Хотел бы я увидеть такого крестьянина или рабочего, которые, “в общем и целом”, что-нибудь могут понять в этом надутом, зашифрованном словаре, со всякими “люмпенами”, “модусами” и “дискредитациями”...” Насаждение чуждых слов и понятий обозначает чуждый дух, определяет и власть, тоже как навязанную и чужую...” Так писал в начале 20-х эмигрировавший после революции из Риги русский писатель Петр Пильский.⁵⁸

А вот что пишет о новой русской общественной речи писательница 80-90-х гг.: “Сдается мне, что английскими заплатами, криво вырезанными из исходного благородного материала, тщетно пытаются прикрыть зияющие прорехи бескультурья все то же люмпенское сознание строителя коммунизма. “Комчванство”, “женсовет”, “вещдок”, “спецназ” и прочие монстры большевистского “новояза”, малые и большие перлы хамского менталитета — родные дедушки “ток-шоу” и “пресс-релиза” (...) Да уж лучше матом, чем так-то!...”⁵⁹

Итак, здесь, как и у публициста 20-х гг., виден нерв проблемы: новая реальность, приходящая в язык вместе с чужими, но быстро усваиваемыми “западными” словами (“менталитет”, “люмпены”, “инфантилизм”), должна была привести в повседневную политическую речь слова с социального дна, из того воровского, уголовно-

го мира, который поднялся в политику до и после революции 1917 года и развивался вширь, вглубь и вверх на всем протяжении Советской власти.⁶⁰

Актуальность встречи “иностранщины” и “блатной музыки” именно на общественно-политической сцене была интуитивно схвачена литераторами, неизбежно сравнивавшими опыт первой советской (хрущевской) оттепели с горбачевским “апрелем”.

Люди, помнящие Хрущева, в первую ложку свободы бросили читателю изюминку политической риторики Никиты Сергеевича. “Когда кричит о себе поэтика абстракционизма, примитивизма, психопатологизма, неоавангардизма, и он, наш партвельможамусает, на них, как водилось, гаркнет, топнет, обзовет кого-то из авторов “пидарасами”, угодив если не точно в поэтику, то около...”⁶¹ “Уже в 1964-м не стало Хрущева, потратившего лучшие годы своей жизни на борьбу с абстракционистами и “пидарасами”⁶². “Конечно, до хрущевского крика “пидарасы!” нашим шестидесятникам далеко, но не с той же ли яростью Хрущев топал ногами на “мазил”, как иные из нас (литературных критиков-традиционалистов 80-90-х гг. — Г.Г.) на “графоманов”?”⁶³ Разные люди процитировали употребленное Хрущевым “живое словцо”, обращенное им в 1963 году к художникам-нонконформистам, с двоякою целью: утоляя жажду подлинности, авторы не захотели упустить случая и словно с облегчением сами нарушают табу.

В новом контексте непристойным становится не употребление, но неупотребление слова. “Само понятие “приличия”, кажется, того и гляди, попадет в разряд неприличных” — жалуется обозреватель “Известий”.⁶⁴ Выработываемый обществом новый кодекс поведения застает врасплох и самых подготовленных носителей языка. Именно этим писатель Юлиу Эдлис объясняет, почему “в твердыне” его “убежденной антиматерщинности была пробита брешь”⁶⁵.

“Вельможная” партийная брань не просто граничит с “иностранщиной”, но взаимодействует с нею. Свое, дворовое, жаргонное прорастает в заимствуемое слово. Так, в народной этимологии слова “менталитет” естественно появляется “мент” (бранное: миллионер)⁶⁶, “приватизация” стала “прихватизацией”⁶⁷, а “демо-

краты” — “демокрадами” или “дерьмократами”⁶⁸. Такая механика “опускания” слова не нова, и она обнаруживает ту, уже упомянутую выше, нелюбовь к абстракциям, с которыми связан в сознании людей весь их опыт идеологического существования.

Идеологическое злоупотребление создало “такие печальные языковые обстоятельства”⁶⁹, при которых сообщение, построенное с помощью обыкновенной, срединной речи, не доходит до адресата. Поэтому “пустым словесным треском сделалась для нас” не одна только бердяевская “метафизика человеческой природы”, но и “физика” повседневной экзистенции, средней, срединной обыденности. Этому вот срединному языку надо дать отдохнуть ради “освобождения слова от (старой советской — Г.Г.) общественно-политической коннотации”⁷⁰.

Прямое описание обыкновенными словами невозможно: в “дубовую техническую латынь, процеженную сквозь английское сито”⁷¹ вырастает просторечная словообразовательная модель, и тогда это играющее слово устраивает пользователя. “Кончай референдуричь, весна на дворе!” — напишут в издаваемой Верховным советом РФ “Российской газете” (27.2.93) под рубрикой “Референдум” и тем самым оприходуют слово, “примут” его в наш язык.

С этой точки зрения, любому политическому термину для приема “в язык” хорошо бы “опуститься”. Неприятная для современников трудность состоит в том, что одновременно происходит снижение всех пластов языка. (Даже использованное мной слово “опуститься” все чаще воспринимается в своем специальном лагерном значении (“опустить” = изнасиловать; “опущенный” = гомосексуалист поневоле), так что, например, С.С.Аверинцеву пришлось в одном интервью специально оговаривать *обычное* значение слов “опуститься”, “опустившийся человек”⁷²).

Интуитивно вычленяемые из потока публичной речи ключевые слова 1991-1992 годов образуют словарь самоописания и социальной критики, в котором смысл создается в пространстве встречи “ученого” и “блатного” языков.

Словарь самоописания

Менталитет

Гнездовое слово здесь — *ментальность, менталитет*. Это и “тип мышления. Психологический, человеческий тип, проходящий обработку”⁷³. Но есть и “шизофренический менталитет эпохи”⁷⁴ и “менталитет тоталитарной культуры”⁷⁵, и “рыночный”⁷⁶, и “хамский”, и “номенклатурный”⁷⁷, и “русский”⁷⁸, и “нерусский”⁷⁹, и “израильский”⁸⁰, и “геополитический”⁸¹ менталитет, своя ментальность у “разочарованных революционеров”⁸², безработных⁸³ и писателей⁸⁴, существует и некая “мистифицированная ментальность люмпена”⁸⁵.

Таким образом, менталитет — это в современном русском словоупотреблении неустранимо впечатанный или врожденный склад ума, сознания, понимаемый как специфическая норма искажения при отсутствии нормы как таковой. В речи это — и формула недоступности для понимания вчуже. В отличие от зыбкой, хотя и привычной материи “сознания”, которое определялось “бытием”, понятие менталитета обладает особой прочностью, ментальность мыслится сидящей “в подкорке”⁸⁶.

Вторжение “менталитета” в русский политический (и вообще литературный) язык 1991/1992 гг. и объясняется отсутствием в языке общезначимого слова для обозначения неизменного, устойчивого в личности.⁸⁷ Неудивительно, что в повседневном употреблении оно быстро отвоевывает себе исключительно широкую сферу применения. Об этом красноречиво свидетельствуют контексты, в которые попадает слово: оно — синоним “массовой психологии эпохи”⁸⁸, “социально-психологического типа”⁸⁹, “инстинктивной установки”⁹⁰.

Менталитет — это и матрица личности, и такая абстракция ее подпочвы, которая в определенной социокультурной ситуации становится академически подтвержденным (иностранное ученое слово!) приговором. Именно как таковое, как образ тайного “я”, оно может выскочить при обсуждении проблемы “крови и почвы” в речи и у малограмотного русского фашиста⁹¹, и у одного из самых значительных русских поэтов последних десятилетий⁹².

Особый интерес представляют в этой связи заведомо ошибочные употребления слова “менталитет”: именно такие словоупотребления позволяют лучше понять, что “иностранщина” воспринимается как изошренная и не подвластная “простоте нашей” форма брани. Так, помощник главного редактора парламентской “Российской газеты” (25.2.93.) Вольдемар Корешков называет “российским менталитетом” окружение президента Ельцина и, в частности, правительство В. Черномырдина. “Кажется, в российском менталитете определилась качественно новая ситуация. Президент старательно заполняет каждую ячейку проверенными, индивидуально подбираемыми людьми”. Обозреватель правительственных “Российских вестей” (26.2.93) Никита Вайнонен подсказывает коллеге-конкуренту, что тот должен был употребить в данном случае слово “истэблшмент”. “Но поскольку он, как и обычно, на которого рассчитана заметка, разницы, видимо, не знает, — пишет Вайнонен, — то цель, можно сказать, все равно достигнута: читатель с первой строчки видит — автор образованный, верить можно...” В действительности, однако, для обоих авторов общезначима как раз бранная стилистическая окраска новой политической лексики: недаром и заметка самого Вайнонена называется “Менталитетом по истэблшменту”. Любопытно также то, что с весьма абстрактным понятием, сам смысл которого — в фундаментальной трудности непосредственного схватывания, авторы обращаются как с хорошо знакомым им предметом, уверенно говорящим за себя самого. “Как, вы не знаете, что такое менталитет? Стыдитесь!” Вернемся, однако, к “правильному” употреблению слова.

Мы наблюдали общезначимое развитие понятия “менталитета” в направлении, где интуиция прочности и несмысла сосуществует с интуицией органичности и врожденности. Традиционная для идеологии склонность к объяснению через происхождение идет не столько от “Происхождения семьи, частной собственности и государства”, сколько от беспредпосылочной убедительности всякой генеалогии. Эта заикленность на “генезисе” всего и вся объясняет, почему в языке самоописаний новейшего времени царствует биологическая метафорика, с успехом выдающая себя за научность.

Генетический код

Гены, генетический код, генофонд употребляются в публицистике и политической риторике как термины науки об обществе и общепонятные концепты традиционного для советской России историко-культурного детерминизма, или, иначе говоря, как идеология общественно-исторической обреченности. Для тех, кто мыслит общественную историю в терминах генетики, нет никакого противоречия в одновременном оплакивании уничтоженного генофонда и выражении уверенности в “генетическом воскрешении”⁹³. Употребляемая как словесный шум, риторика генетической предрасположенности вытесняет любые формы идеологии развития, социальной эволюции как *родственные* учению большевиков — “генетических разрушителей” (по определению одного из советников президента Горбачева⁹⁴).

“Гены” становятся даже ключом к пониманию экономических реформ в том виде, в каком их проводило правительство Егора Гайдара. Журналист Олег Давыдов объясняет болезненность их для большинства населения “бесчеловечностью” премьера, которая якобы унаследована им от деда — знаменитого советского писателя, участника гражданской войны и, как старается доказать автор, страдавшего душевной болезнью — некрофилией. Комментируя ответ Е. Гайдара на вопрос корреспондента “Московских новостей”, что заставило его заняться журналистикой: “Соблазн гласности и, может быть, гены”, Олег Давыдов пишет: “Гены действительно многое могут нам объяснить и в характере Гайдара нашего времени, и в том, почему именно так, а не иначе проходит нынешняя реформа”⁹⁵. Подробно описав “историю болезни” деда премьер-министра, автор часто ссылается на книгу Эриха Фромма “Некрофилы и Адольф Гитлер” (“в развитии некрофилии существенную роль играет генетический фактор”, многозначительно цитирует он) и приходит к выводу о том, что Егор Гайдар генетически предрасположен к умерщвлению экономики страны: он “исполосует слабое тело больной экономики, а потом и пристрелит ее”, как делал когда-то дед с попавшими в его руки невинными жертвами.

Выступая в роли метафоры истории, риторическая генетика способствует не только общему ослаблению вождя зде-

вомыслия, но и быстрому усвоению обществом новой для него антимодернизаторской идеологии.

“В целом в народе произошел чуть ли не генетический противостественный отбор на тупость, злобность и аморальность”.⁹⁶

“На генетическом уровне Советский Союз вечен”.⁹⁷

“Перспектива выхода России из замкнутого круга уже проигранных вариантов может быть связана только с каким-то иным течением, с “третьей силой”, генетически и идеологически не имеющей отношения к коммунистам и демократам”.⁹⁸

“Социальный генотип северного крестьянина, сформированный веками, спас его тогда от гибели и спасает еще до сих пор. И будет спасать. Память о прошлом — это уверенность в будущем. (...) Именно к концу двадцатого века и был окончательно сформирован генотип активного, талантливое человека, за счет которого мы еще интеллектуально и духовно живем”.⁹⁹

“Казачество наиболее сильно сохранило в себе ген “русскости”, психофизический потенциал великого народа, чей генофонд беспощадно уничтожался в это смутное столетие”.¹⁰⁰

“Россия не может не помнить о своем генетическом “востокозападном” коде”.¹⁰¹

(Георгий Вайнер): “Большевики погубили не только дух нации, но и ее генофонд”.¹⁰²

“Главное в пролетарии — абсолютное отсутствие созидательного начала. Он генетически не способен ни прибавить, ни умножить. Только отнять и разделить”.¹⁰³

“Не без трудностей, но от его (большевизма) отравы можно освободить сознание, — однако хитро и коварно он будет действовать через подсознание. Даже через генотип! Ведь нельзя исключить, что немислимый пресс большевизма привел к мутациям, деформирующим сам строй человеческой психики. (...) Коммунизм и капитализм противоположны до непримиримости, но вместе с тем генетически едины”.¹⁰⁴

“В. Шубкин в “Новом мире” утверждал, что основная масса населения СССР (...) является генетически неполноценной”.¹⁰⁵

“И еще — всеобщий, генетический страх насилия”.¹⁰⁶

Захваченная этой метафорой публицистика предлагает людям, пережившим “геноцид духа”,¹⁰⁷ и отказавшимся от культа “светлого будущего”, благоговеть перед Прошлым. Из Прошлого

при помощи ключевого слова “генофонд” и становится возможным изготовить экстракт “Золотого века” — противоречивую новую идеологию: признавший себя мутантом должен преисполниться благоговения перед своим генетическим кодом. “Социальные образцы, т.е. вся прошлая деятельность человечества, взятая в функции опыта, — это “генофонд” социума, это наши социальные “гены”... Альберт Швейцер построил свою этику на принципе благоговения перед жизнью, мы предлагаем принцип благоговения перед Культурой, понимая под последней Прошлое в функции образца, т.е. социальный “генофонд” человечества. Тем самым мы предлагаем рассматривать Прошлое как абсолютную ценность и как основную категорию этики”.¹⁰⁸ И новая идеология, вырабатываемая всем опытом наукообразной советской риторики из взаимоисключающих пресуппозиций, все равно заставляет носителей языка достраивать предлагаемые словесные конструкции, додумывать до конца попавшую в эти метафорические силки картину мира.

Гомо советикус, люмпен, совок

Первое, что он видит в своей картине мира — собственное лицо, лицо отпущенного на свободу советского человека. После десятилетий неудержимых самовосхвалений грубое снижение автопортрета было, конечно, неизбежно. Поэтому основополагающей характеристикой любого самоописания, не зависимой от того, сколь глубоко проникает его автор в “генетический код” бывшего советского человека, является грубость и — по контрасту с многословием былых панегириков — лапидарная краткость. “Однажды Галину Волчек попросили французы назвать одно самое важное, определяющее Россию слово, без которого ее не объять и не почувствовать. — Это слово “мудак”, — без запинки ответила Галина Борисовна”.¹⁰⁹ Однако традиционная устная брань не смогла составить конкуренции новым словам, отмечающим для носителей языка дистанцию, возникшую между ними *вчерашними*, знавшими про себя, пожалуй, только то, чему учила французов Галина Волчек, и *сегодняшними*, открыто о себе заговорившими.

В самоописании политиков, поэтов, философов и журналистов словом-рекордсменом стал в 1991-1992 гг., конечно, *совок*. “Вся

наша пресса, хочет не хочет, а рисует общий групповой портрет совка".¹¹⁰

Винovníк и жертва "генетической катастрофы"¹¹¹, или "катастрофы антропологической"¹¹², он — "псевдочеловек" и мутант. Его академическое имя — *homo soveticus*, сокращенно — гомосос¹¹³. Литературный псевдоним — *шариков*. Социальный статус — люмпен¹¹⁴. Психологическая доминанта совка — *инфантильность*¹¹⁵.

Обладавшие на рубеже 80-90-х гг. известной суггестивностью впервые пропущенного в открытую печать бранного слова, термины из этого гнезда в словаре самоописаний, выстроившись в синонимический ряд, были тут же осмыслены как опасный собственный язык совка, как привязчивая зараза, как словесное оружие аутоагрессии.

"Если говорить в психоаналитическом разрезе — "хомо советикус" очень часто — внутренний самоубийца. (...) Не каждый и очень не каждый советский человек — "хомо советикус". Мы (советские эмигранты — Г.Г.) звали их "совами", вы зовете их "совками" (...). Не говори на советском языке — станешь "совком".¹¹⁶

Термин, обозначающий советское как скверну, как социокультурную нечистую силу, стал предметом хлестких политических памфлетов и трактатов. При этом непременным условием понимания "совковости" оказывается признание себя "совком" самим пишущим.¹¹⁷

Даже отдавая себе отчет в том, что "признать себя совком — значит списать свои беды на пережитки чужого режима", аналитик совковости вынужден искать для своей социокультурной универсали конкретную общественную среду-воплощение "совка". А поскольку все описываемое нами словарное гнездо обслуживает риторику аутоагрессии, образцовым, идейным "совком" объявляется "в первую очередь советский интеллигент"¹¹⁸. При этом предлагается различать "заскорузлую совковость образцовых совков-шестидесятников и новомодный, "рваный совок-блюз" их молодых, но не менее "совковых" критиков"¹¹⁹.

Развитие "генетической поэтики", наложившись на новый для советской публицистики (чернобыльский) опыт освоения запретной темы радиоактивного заражения и загрязнения среды, привело к

тому, что само формирование “нового человека” вырвалось из прежних конструктивистских (“большевистских”) схем, ушло от образа “винтика” и “приводных ремней”¹²⁰ к мистифицированной экологической образности. “Бесовщина — в воздухе, которым дышит общество. Мы заражены ею, как радиацией. Изначально нарушенные структуры мутировали”.¹²¹ Советский человек объявлен теперь “мутационным следствием миграции и манкуртизации”¹²². “Неорганичность динамики страны”, вообще “неорганическая цивилизация” России, “гибридность” ее идеалов и “патологическое состояние”, в котором страна пребывает на протяжении столетий, меняя только формы “социальной патологии”, — это речевое выражение той же интуиции организма, входящей в моду в России под видом “воспроизводственной” гипотезы русской истории.¹²³

Те, кто пишет о советском обществе как о мутирующем организме, как о живом существе, переживающем “патологический кризис” и не имеющем, например, “антитоталитарного иммунитета”, по самой логике языка вынуждены говорить о неких “социальных превращениях”, пассивно пережитых людьми, о заразных болезнях, неудачно подцепленных “массаами”, с которых тем самым снимается всякая ответственность за происшедшее и происходящее.¹²⁴

Как бы ни расходились исторические концепции и политические установки авторов, само наличие в сегодняшнем политическом языке все объясняющего подтекста создает для них общее поле понимания. Так, в диалоге либерального русского историка Александра Янова и правозэкстремистского политика Владимира Жириновского, посвященного уяснению судьбы России в недавнем прошлом и ближайшем будущем, на первом плане оказывается вопрос о “люмпенстве”:

А.Я.: Это ваше кредо? То, что страна будет люмпенизироваться?

В.Ж.: Да, да, да!

Одна школа фатализма (“Чему быть, того не миновать”, или “Победа коммунизма неизбежна!”) объясняет и общую гипотезу столь мало похожих друг на друга мыслителей: обстоятельства не просто определяют в том или ином отношении действия людей, открытых к перемене социальных ролей, но непосредственно *генерируют* новых людей. В послеперестроечной России такой силой,

“генерирующей новые массы люмпенства”, здесь названа “экономическая катастрофа”¹²⁵.

Словарь социальной критики

Беспредел и катастрофа

Доступность всего писаного и неписаного словаря для описания крайне неопределенной ситуации, сложившейся в стране к последнему году перестройки, позволила всем *говорящим и пишущим* силам общества, отбросив слова-прикрытия, приступить к употреблению самых сильных выражений. Достигший накала после августовских событий 1991 года “клинический алармизм”¹²⁶ выразился в том, что термин *катастрофа* стал обиходным для описания как всей совокупности, так и сколь угодно мелких событий общественной жизни. Наряду с ним, поначалу — как просторечный усиленный синоним — получило широкое хождение в политической речи слово *беспредел*, впервые появившееся в печати 1980-х гг. как технический термин из лагерной жизни: оно обозначало невыносимые условия, которые создавала либо администрация для заключенных, либо одна группа узников — для другой.¹²⁷

“Я достаточно точно понимаю, что на самом деле сегодня происходит в России. Для одних это катастрофа, это разруха, это беспредел, это произвол. Для меня — это неизбежность”.¹²⁸ Это высказывание тогдашнего госсекретаря России Геннадия Бурбулиса свидетельствует не только о его личной склонности абстрагироваться от происходящего: понять неизбежность катастрофы и беспредела значит для него, специалиста по диалектике, “снять” (*aufheben*) катастрофу и беспредел. Здесь важно другое: признание того, что катастрофа и беспредел признаются неизбежной платой за свободу.¹²⁹ И абстрагироваться следует именно от этой катастрофы второго порядка, которую, однако, большинство публицистов склонны рассматривать как *очередную* российскую катастрофу.

“По оценке практически всех аналитиков, ситуация близка к катастрофической. Как известно из экономической “теории катаст-

роф”, в такие моменты любое действие элементов системы лишь ускоряет катастрофу, независимо от его содержания”.¹³⁰

“В 1991 году кризис завершился социально-политической катастрофой мирового значения — СССР не стало”.¹³¹

“Если бы меня спросили, то я бы поставил диагноз, совершенно обратный некоторым распространенным публицистическим концепциям, которые состоят в том, что все живут как бы в ожидании катастрофы. Я бы сказал наоборот: катастрофа уже была, она уже случилась много десятилетий назад. Имею в виду период сталинизма, и в социологическом смысле слова, именно социологическом, это не метафора. Это социальная катастрофа (...)”.¹³²

Итак, “в наш политический лексикон вошло новое определение: “философия катастрофизма”... Это почти подсознательное, и корни его не только в страшной реальности нынешних событий... Страх перед будущим возник в обществе намного раньше”¹³³.

“Синдром катастрофы”, “динамика катастрофы”, “антропологическая катастрофа”, “национальная катастрофа”, “тотальная катастрофа”, “перманентная катастрофа”, “филологическая катастрофа”, “еще бóльшая катастрофа, постигшая церковь”, “фильм-катастрофа”. Мало-помалу сама инфляция слова привела к взгляду на русскую историю как на вселенский полигон для испытания вышеупомянутой “теории катастроф”. “Разве тысячелетняя Россия не имеет за своей спиной уже как минимум три государственных катастрофы и несколько сменившихся под одним именем народов и даже “антропологических типов”?” — вопрошает один из влиятельных публицистов 70-90-х гг.¹³⁴

Слово это ухитрилось даже в поэтический язык 1992 года войти во множественном числе:

Поживи еще, покуролесь.

В Ленинграде, Москве.

В разрушеньях и катастрофах.¹³⁵

Утратив свою изначальную высокую цену, *катастрофа* все чаще вытесняется *беспределом* как более сильной, но одновременно и гораздо менее определенной метафорой, описывающей любые явления общественной жизни и избавляющей пишущего от предметного разговора о конкретных действиях конкретных лиц. Бес-

предел — это имя саморазвивающегося процесса, имя события, которое мыслится как некая болезнь, свалившая ослабленный организм.

“На наших глазах происходит сползание к тому состоянию, которое получило краткое название “беспредел” и которое можно будет каким-то образом погасить лишь установлением чрезвычайного положения”.¹³⁶

“Мы живем в стране беспредела, возведенного в норму. В нашем самом гуманном кинематографе — пора морального беспредела. Этот беспредел уже имеет своих теоретиков”.¹³⁷

“Для обыденного сознания бурбулизация — это воровской беспредел в экономике, полная утрата приличий и страха чиновничеством, цинизм, холодная жестокость к малым мира сего”.¹³⁸

“Но вот прошло всего несколько месяцев, и “царство демократии” все более и более предстает перед нами в обличье настоящей “империи зла”: нищета миллионов, правовой беспредел (...)”.¹³⁹

“Сейчас в работе (искусствоведа Нины Молевой — Г.Г.) следующая книга о культуре в нашей стране. Молева хочет назвать ее “Беспредел”.¹⁴⁰

Обвал перемен и крутые разборки

Поэтика беспредела, высокая доходчивость слова “с криминальным прошлым” для описания современной гражданской жизни становится все отчетливей с расширением сферы применения таких терминов, как “обвальный”, “крутой”, “разборки”: “обвал” (“обвал перемен”, “обвальная эрозия демократических позиций”, “обвал большевистского переворота”, “обвальная приватизация”, “обвал американской рекламы”) — это форс-мажорные обстоятельства, это такой прорыв стихийных, природных сил, пребывание внутри которого для обыкновенного человека совершенно немислимо и невыносимо. Вынести это, жить внутри “беспредела” и “обвала” настоящему умеет только “крутой” — “крутой мужик”, “крутой рокер”, “крутой спекулянт”. “Крутые ребята” ведут между собой “крутую разборку”; “задорные, крутые политики”, например, “втаскивают религию в свои шумные игры”¹⁴¹. Исходное значение слова “разборка” — выяснение отношений между заключенными и/или членами одной банды¹⁴² — объясняет пригодность именно

этого термина для описания, например, того, что происходит в аппарате президента России: “Судя по разборкам в ближайшем окружении Ельцина, творится там действительно нечто абсолютно непристойное”¹⁴³.

“Разборкой” называется и спор между Россией и Украиной о Черноморском флоте, и борьба писателей за наследство их старого общего союза, и пьяная ресторанный драка, и противостояние парламента и президента.

Высокая степень неопределенности и вместе с тем крепость и незапятнанность этого словаря участием в прежней официальной политико-риторической практике быстро вымывает из сознания носителей языка исходное значение термина, собственно и обеспечившее ему важную роль в новом политическом языке. Но одновременно происходит и постепенное привыкание к грубости, определяющей тон все большего числа публикаций и политических выступлений.

Матерный подтекст¹⁴⁴, однообразная похабщина на устах политиков и/или деятелей культуры¹⁴⁵ стали настолько привычны, что притупленная чувствительность не позволяет носителям языка вычленять из континуума брани лишь *политически оскорбительное* содержание. В соответствии с этим не только политика понимается как традиционно “грязное дело”, но *общественная жизнь как таковая признается поприщем грубости, ненаказуемых оскорблений*.

Смутное время, собранность, обустройство

Самоопределение через невнятную, но полную угрозы крайность парадоксально *конкретизируется* оживлением в общественном речевом обиходе таких понятий, как *хаос* и *смута*. Определение и самой перестройки, а особенно двух первых постперестроечных лет как *Смутного Времени* стало в 1991-1992 годах общим местом публицистики¹⁴⁶. Как бы трагична ни была для общества и политиков такая историко-политическая “ориентировка”, *Смута* как словесное выражение самопознавательной интенции предпочтительней абстрактного отчаяния *беспредела*, а *хаос* конструктивнее или, лучше сказать, плодотворнее *катастрофы*.

Вместе с тем, похоже, что историческая риторика — объявляет ли она Смутным временем всю советскую эпоху, имеет ли в виду только “перестроечную смуту”, или предвидит вступление в новую Смуту постперестройки, — эта-то риторика — даже и в малограмотных, пресноводных перлах своих — укореняет нынешнее промежуточное время в исторической традиции России, ослабляет ощущение безвременья.

В традиционалистское гнездо словаря социальной критики следует включать и вошедшую в моду старорусскую терминологию, которой в новейшем словоупотреблении усваивается новый для нее политический смысл.¹⁴⁷ Важнейшим политическим историзмом стало в современном русском языке слово *соборность*. Православное понятие соборности как церковного идеала вытеснено в новом его значении идеологией национально-государственного строительства. Этот антицерковный смысл модной ныне “соборной риторики” отмечается православным священником-прогрессистом.¹⁴⁸

Как вновь обретаемая Россией “первичная форма определения и выражения общественной воли”, соборность все чаще объявляется “основным объединяющим принципом государственного строительства и управления”¹⁴⁹.

Термин соборность стал опознавательным знаком русской национальной ориентации.¹⁵⁰ Апологеты русского национального возрождения предлагают в основу новой идеологии положить идею народа как “соборной личности”. В связи с этим понятие соборности истолковывается как лексическое свидетельство “исторической молодости нашего общества”. Поставив в один ряд русскую “коммунальную” терминологию, современный наблюдатель замечает: “Социализм”, “коммунизм”, “строй”, “очередь”, “коммуналка”, “общинность”, “соборность”. При всей разности значения этих слов неослабевающее внимание к ним свидетельствует о неудовлетворенной потребности в некоем варианте общинной жизни, гармонично сочетающей индивидуальное и родовое начала. Или, быть может, это свидетельство исторической молодости нашего общества, свидетельство замедленности его созревания?”¹⁵¹

Резко, как на политический сигнал, реагирует на старорусский традиционализм политик модернизаторского направления. “Политические деятели самого разного толка — Алкснис и Ельцин, Бур-

булис и Рущкой — говорят, казалось бы, на вполне нормальном современном языке. Но если подвергнуть их речи семиотическому анализу, то за сегодняшними терминами усматривается нечто более глубокое — иная речь. Ее содержание хорошо укладывается в категории “вече” и “соборность”. (...) Народовластие на основе общего согласия — социальный фундамент авторитаризма, воплощение русско-советской “соборности”... Все та же “соборность” государства вместо разделения властей, вместо государства в качестве инструмента для установления компромиссов между противоречивыми интересами в гражданском обществе”.¹⁵²

В подобной критике упускается из виду общественная потребность в “самовитом” слове, которую лучше других выявил и до некоторой степени использовал А.И.Солженицын. Экзотические опыты этого самого значительного автора России послесталинского времени по возрождению архаической “духовитости” в русском литературном и разговорном языке нашли воплощение в законченном писателем в 1988 году “Русском словаре языкового расширения”¹⁵³. Несмотря на (кто знает, может быть — только временную?) неудачу защиты языка “по этой линии” и невозможность очищения его от “современного нахлына международной английской волны”¹⁵⁴, Солженицын сумел, опубликовав отдельной брошюрой и в газетах многомиллионным тиражом¹⁵⁵ памфлет “Как нам обустроить Россию?”, ввести в современный общественно-политический язык один архаизм, ставший весьма важным политическим понятием: *обустройство*.

Внутренняя форма слова *обустроить* обеспечила ему мгновенное укоренение в общественном сознании, в последнее время уже и не связанное с непосредственным источником. Говоря кратчайшей формулой, “обустройство” — это изоляционистская альтернатива модернизаторству “перестройки”: не абстрактное переделывание некоего здания, но труд внутри собственного дома, жилья. Это — сугубо интерьерный политический термин, призывающий к самостоятельным действиям в том историческом тупике, куда, как он считает, загнала Россию ее история.

На фоне редкостно легкого приживания этого термина следует все же отметить невосприимчивость общественной речи ко всякого рода навязываемым ему “народной элитой” старинным формам. Так, все попытки вернуть в современный язык дореволюционные

обращения “сударь” и “сударыня”, о желательности которых еще двадцать лет назад писал писатель-почвенник Владимир Солоухин¹⁵⁶, до сих пор не находят ни малейшего отклика в стране, где в последние два десятилетия в обиходной речи употребляют простейшие “половые обращения” — “женщина!” и “мужчина!”

Господа Товаучеры!

Однако, и в тупике истории люди, окликая друг друга, обозначают новую социальную стратификацию. И кроме кличек, а вернее сказать — “кликух”¹⁵⁷, — нужны и “приличные” имена, и общезначимые обращения. Постепенно внедряются в политический обиход старорусские “господин”, “госпожа”, но обращение “товарищ” по-прежнему доминирует в общественной речи, подобно тому, как официальные имена — Санкт-Петербург (остающийся, впрочем, центром Ленинградской области), Екатеринбург (по-прежнему центр Свердловской области), Тверь — пока еще не вполне усвоены носителями языка. Единственное, что разделяет людей в отношении к ново-старым обращениям, это исходная установка: понимать обращение как уважительное или уничижительное.

Так, читательница самой массовой в России газеты (тираж в начале перестройки — более 30, в 1992 — более 25 млн. экз.) пишет: “Всю жизнь мы обращались друг к другу уважительно, с доверием: “товарищ”... Откуда взялись в нашем языке оскорбительные слова “господин” и “госпожа”? Ведь смешно говорить: “господин дворник” или “госпожа уборщица”.¹⁵⁸ Нетрудно сделать вывод, что в обществе с упавшими социальными перегородками любая перемена в языке, в том числе и возвращение к некогда отвергнутым формам, переживается как уничижение.

Иронией русской политической истории может считаться и отмеченная здесь перемена в оценке обращения “товарищ”: в первые послереволюционные годы оно воспринималось как знак нарочитого снижения, социальной нивелировки, у критиков режима — предельного опошления. Вот характерный эпизод 1918 года: “О.Д.Хвольсон согласился произнести речь на тему “Значение науки для человечества”. Это согласие вызвало толки среди реакционной части профессуры: а как Хвольсон обратится к присутствующим, неужели скажет “товарищи”? Хвольсон нашел выход, он

обратился к присутствующим: “Друзья и товарищи”, лишив тем самым слово “товарищ” его политического смысла”.¹⁵⁹ Стоит сравнить эту свежую тогда еще иронию двоемыслия (отлитого в простонародной формуле “господа товарищи”) с мучительно артикулируемым сарказмом народных депутатов РФ, когда те, в 1992-93 гг. обращаются друг к другу “товарищи и господа”.

Можно понять устремления нынешних политических лидеров, когда, вводя в обиход новые реалии, они стремятся дать им и новые, небывалые имена. Здесь важно не столько иностранное происхождение слова (“иностранщина”¹⁶⁰), сколько его несвязанность с какими бы то ни было собственными национальными традициями: о новизне проводимой реформы сигнализирует никогда не звучавшее слово. Таким *словом-невинным-младенцем* в 1992 году оказался главный “бумажный инструмент” приватизации — приватизационный чек, или *ваучер*¹⁶¹.

Традиционная страсть к новым именам в сочетании с отсутствием каких бы то ни было общепонятных сведений о самом обладателе имени дало результат: слово из лексикона политико-экономических прагматиков было немедленно переосмыслено как издевательство над носителями языка, а стало быть — как материал для политической хохмы. Согласно одной из них, упомянутое ироническое обращение “господа-товарищи” преобразуется в “господа товаучеры”. Имеет ли здесь место в самом деле историческая память, сказать, однако, очень трудно. Хотя среди жалобщиков на засорение русского языка немало образованных людей, в целом, радетели чистоты языка вешают на перестройку “чужих собак” (или, говоря языком недавнего прошлого, шьют им чужое дело), ибо как раз в исторических воспоминаниях о судьбе слова не нуждаются. Так, подмосковный поэт Корней Алексеев пишет:

О, сколько слов, словес неясных
нам перестройка принесла!
И сколь своих, родных, прекрасных
затмила сором — несть числа!
Пошли акцизные и акции...¹⁶²

А между тем, именно благодаря другому художнику слова, автору “Лошадиной фамилии”, слово *акцизный* для всякого школь-

ника, в том числе и советского, должно быть не менее исконным русским словом, чем какой-нибудь *урядник*. Вместе с тем, традиционное идеологическое остроумие питается не только за счет невежества, но и в кушах реального исторического опыта.

Поиск общезначимого и единообразного смысла идет прежним путем: невнятность содержания пока еще компенсируется привычностью формы. Следуя именно этому пути, или методу остроумия, критики тех, кто не может отказаться от русско-советских традиционалистских ценностей в разных комбинациях, присвоили своим весьма пестрым политическим противникам общую кличку *красно-коричневых*, с перспективой распространения ее впоследствии на “государственников” и весь спектр сторонников более авторитарных методов управления.¹⁶³

Китайский святой

Одним из следствий постепенного отказа от единообразия (унитаризма) и перехода к многообразию (плюрализму) в том числе и знаковых систем оказывается растущая степень взаимонепонимания между людьми, пользующимися одними и теми же словами (“демократия”, “национальные интересы” и т.д.) и символами (“трехцветный флаг”, “двуглавый орел” и т.д.). Пока еще нужда в переводчиках-посредниках между носителями различных пониманий символического языка в политике членораздельно не обсуждается и на политической сцене выражается как брань и разветвленная система взаимных оскорблений.¹⁶⁴

Первые признаки взаимонепонимания иногда комичны, но они уже свидетельствуют о том, что и за пределами словесной коммуникации, в мире элементарной наглядности и очевидности назрела потребность в толмачах.

“Что за немолодая женщина с пучком изображена на телеэкране в качестве заставки “Вид”?” — спрашивает телезрительница у газеты “Аргументы и факты”. Ответ получен в редакции телепрограммы “Вид”:

“Во-первых, это не женщина, а мужчина, китайский святой, во-вторых, на голове у него не пучок, а лягушка, с которой якобы он был похоронен. Этот святой — символ мудрости и долголетия. Кстати, статуя святого находится в Москве, в Музее Востока”.¹⁶⁵

Итак, немолодая женщина с пучком или китайский святой с лягушкой? Такие разночтения возникают сегодня в России и по гораздо более насущным вопросам.

Советский символический язык, несмотря на исчезновение таких его важнейших ингредиентов, как кумачовые полотнища с изображениями Ленина и цитатами-призывами, все еще широко сосуществует с ново-старой российской символикой (красные звезды над Кремлем и трехцветный флаг или двуглавый орел¹⁶⁶). Унитарная знаковая система не складывается. Каждый новый элемент, взятый в отдельности, отторгается какой-либо частью общества как чужеродный: это видно хотя бы на примере того, как обсуждается на заседаниях российского парламента проект возрождения герба Российской империи, или решения правительства Москвы о запрете с апреля 1993 года рекламных лозунгов на основе латинского письма в городской торговле¹⁶⁷, или обсуждения некоего американо-русского проекта “переброски” русского языка с кириллицы на латинское письмо.¹⁶⁸

Как бы микроскопичны и пестры ни были эти мелочи, в сущности только вся их совокупность позволяет лучше понять, почему главной политико-лингвистической трудностью остается для Российской Федерации усвоение ее людьми самого имени своей новой страны. Промежуточная — между СССР и неизвестным будущим — аббревиатура СНГ, фонетически неблагозвучная и все менее содержательная политически, отмечает лишь географические границы “одной шестой части земной суши”, об имени которой развернулся спор.

Итак — уже не китайский святой, но имя “почвы и судьбы”. Либералы настаивают на имени Российская Федерация, понимая, что распад СССР означал также и распад старой Российской империи, чьими равноправными наследниками оказываются и Украина с Белоруссией, и Казахстан. Имперцы разных изводов говорят об “учреждении нового евразийского государства”¹⁶⁹, опираясь одновременно на концепции русских евразийцев 1920-х гг. и проект Союза государств Европы и Азии, выдвинутый А.Д.Сахаровым. Называющие себя “правороссами” сторонники этнического возрождения и очищения земли русской говорят о России не как об одной из очень больших стран, но как о части света, понимаемого “как триада: Европа, Азия, Россия”¹⁷⁰.

В широком диапазоне — от нового отчаяния (“нет больше ни СССР, ни старой России”) до радости, с какой можно отказаться от роли “мирового жандарма” (= “старшего брата”) или отождествления “русского” и “советского”, — русские еще только приступили к переговорам о том, что же теперь, после 1991 года, означает имя их страны — Россия, и что означает имя “русские” после того, как перестал существовать наш старый мир, и все и обо всем заговорили в полный голос.

2-3. 1993. Времен.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Л.Н.Митрохин. Знакомство только начинается. — Религия и политика в посткоммунистической России (материалы “круглого стола”) // ВФ 1992, 7, с.31.

² Victor Klemperer. LTI — *Notizbuch eines Philologen*. Berlin, 1949.

³ *Рабочая Молодежь* 1926, 113. Цит. по: Андрей и Татьяна Фесенко. Русский язык при Советах. Нью-Йорк, 1955, с.77-78. Об этом же языке и современный эмигрантский писатель говорит, что он “мертв, он порождает мертвечину, на этом языке нельзя писать декреты жизни”. Интервью с Дмитрием Савицким. // *ЛитОбоз* 1991, 8, с.51.

⁴ В смягченной форме говорят о “параличе” языка (Наталья Иванова. Гомо советикус. // *Апрель* Вып. 5, с.257-258). Владимир Строчков в “поэме-эпикризе” о русском языке “Великий Могул” говорит: “Покрылся слоем мертвой коры коснеющий наш язык” // *ДН* 1992, 2, с.3-6).

⁵ Виктор Камянов. Кто обидел цензора? Советское искусство в поисках своего предмета. // *ЛитОбоз* 1992, 1, с.43, 49.

⁶ Сергей Сельянов. По ту сторону высокого и низкого. // *ИсКи* 1992, 2, с.101 и след.

⁷ Леонид Шебаршин. Август. // *ДН* 1992, 5-6, с.173

⁸ А. Горнфельд. Новые словечки и старые слова (речь на Съезде преподавателей русского языка и словесности в Петербурге 5.9.1921). Петербург, “Колос”, 1922, с.14.

⁹ См. подробнее: Г. Гусейнов. “Сколько ни таимничай, а будет сказаться”. // *Знание — сила* 1989, 1, с.73-79; Id. Ложь как состояние сознания. // *ВФ* 1989, 11, с.64-76.

¹⁰ В значительной степени именно поэтому никогда не пользовались *массовой* поддержкой в стране такие деятели, как академик А.Д.Сахаров или мэтр Ленинграда-Петербурга юрист А.Собчак.

¹¹ Так, одно из светил неподцензурной советской философии, Г.С.Померанц пишет: “Когда Горбачев обмолвился словом “плюрализм”, я написал статью “Плюрализм или империя”, опубликованную в неформальной прессе и тут же обруганную в официальной”. Г.С.Померанц. С птичьего полета и в упор. // *Arbor mundi* 1992, 1, с.47. Подхватив горбачевскую “обмолвку”, можно было начинать додумывать до конца как раз то, чего еще никак не представлял себе сам реформатор: слово из чужого словаря слишком явно опережало скованную идеологией мысль.

¹² Ламара Капанадзе. Грамматика гласности. Устная речь Михаила Горбачева. // *НГ* 26.03.92, с.7.

¹³ Одни словечки вошли в политологический жаргон (“подвижка менталитета национальных групп”, // *Век XX и мир* 1992, 2, с.31), другие стали названием газетных и журнальных рубрик (“Кто есть who?” в журнале *Столица*, см. напр. 1992, 27(85), с.5), третьи применяются как общедоступные цитаты-маркеры (“Процесс идет” на всю катушку”, // *Столица* 1992, 27 (85), с.35; там же, 23(81), с.4; 26(84), с.5, *Вечерняя Москва* 27.11.92 и мн.др.).

¹⁴ Андрей Трошин. Стакан. Русская демократия в зеркале русского языка. // *НГ* 4.4.92, с.8.

¹⁵ См.¹²

¹⁶ Борис Васильев. Россия: Четыре Книги Бытия. // *Октябрь* 1992, 1, с.4.

¹⁷ Илья Земцов. *Реальность и грани перестройки. Справочник.* London, Overseas Publications Interchange, 1989, с. 12.

¹⁸ См., например: Давид Самойлов. Из книги “Памятные записки”. // *Вопли* 1991, ноябрь-декабрь, с.114; Сергей Шелин. Дон-Кихот в прямом эфире. // *Столица* 1992, 18(76), с.6-9; Андрей Ковалев. Секретное оружие Сталина. // *НГ* 28.07.92, с.7.

¹⁹ Карен Степанян. Реализм как заключительная стадия постмодернизма. // *Знамя* 1992, 9, с.233.

²⁰ Яков Кротов. Оборотни в мире слов. // *МН* 1992, 20.12.92.

²¹ Dola Haudressy. *Ces mots qui disent l'actualité/ Les mutations de la Langue Russe.* (Новые слова отражают события 1991 года). Словарь-справочник. Paris, Institut d'études slaves, 1992, 267 p.; Максимов В.И. и др. *Словарь перестройки* (85-92). Спб, “Златоуст”, 1992, 256 с.

²² От рубрики Н.Г. Комлева в *Книжном Обозрении* до “Краткого словаря эпохи “углубления реформ” Бориса Куркина в *ЛитРоссии* (8.1.1993): в последнем случае мы имеем дело с исключительно ценным материалом

— авторитетной подборкой слов-раздражителей, демонстрирующих, что нового, по представлениям определенной части общества, принесла с собою “демократическая Россия” на смену “старому Союзу” (если на “Е” у Б.Куркина только *Ельцин*, а на “Ж” только *жидомасоны*, то на “В” “*Видаль Сасун*” (“*Вошь энд гоу*”), *ваучер*, *внутренние войска*, а на “С” *СТАЛИН*, *СКАД*, *спикер*, *сутенер*, *Старовойтова*, *спонсор*). Эта интуитивная выборка из словесного мусора телевизионной рекламы, газет и разговоров у подъезда не случайно принимает форму именно словаря: он один — знак всеохватности, а в этом смысле — и метка нашего “тоталитарного прошлого”.

²³ Мы еще вернемся к описанию политического смысла таких слов, как “беспредел”, “мудаки”, “крутой”, “разборка”, “пидарасы”.

²⁴ Ф.И. Рожанский. *Сленг хиппи. Материалы к словарю*. Спб-Париж. Издательство Европейского Дома, 1992, 63 с. В Ленинграде/Петербурге словарь сразу стал бестселлером: см. А.Косульников. Волосатое слово как продолжатель волосатого дела. // *Комсомольская правда* 1.9.92.

²⁵ Андрей Битов. Барак и барокко (Барков и мы). — Предисловие к кн.: Иван Барков. *Девичья игрушка*. Спб, 1992, с.188.

²⁶ На протяжении всего 1992 года слова Горбачева: “Ну что, доигрались, мудаки?” переадресуются другим деятелям российской политики, становятся motto политических обзоров. См., например, Л.Радзиховский. Новейшие русские страхи. // *Огонек* 1992, 44-46, с.5. Характерно, что автор статьи тут же признает, что “ругаться матом — это дурной тон современной журналистики”.

²⁷ Согласно наблюдениям некоторых авторов, “чем выше был круг общения (академики, писатели), тем больше мата слышалось на этих интеллигентских кухнях” (Виктор Кривулин. “Великий и могучий. Свободный ли? О запретном в языке”. // *Столица* 27 (85), 1992, с.48). Широко известно, что на всех уровнях партийно-государственной иерархии мат обозначал своеобразное понимание товарищеских отношений и “мудрого руководства” (напр., Ю.Борев. *Сталиниада*. Рига, 1990, с.225,296). И наоборот, согласно авторитетному свидетельству, “матом в тюрьме и лагере ругаются гораздо реже, чем на воле” (В.Ф. Абрамкин, Ю.В.Рыжов. *Как выжить в советской тюрьме*. Красноярск, Агентство “Восток”, 1992, с.108).

²⁸ Леонид Ионин. Разговор со слабослышащим. Какая политика, такая и лексика. Приличных слов уже не хватает. // *НВ* 1991, 41, с.48.

²⁹ *НГ* 10.9.91.

³⁰ Андрей Зорин. Барков и барковиана. Предварительные замечания. // *ЛитОбоз* 1991, 11, с.21.

³¹ Виктор Кривулин. См. ²⁷, с.49.

³² *Ibid.* с.48-49. “То говорит свобода. Как и молодежный сленг или интеллигентский жаргончик, блатная феня — язык сопротивления, лексика воли”. Алексей Ерохин. Колбаса с глазами. // *МН* 15.03.92.

- ³³ Николай Котрелев. Не напяливайте черных чулок, г-н профессор. Советы правого. // *НГ* 2.04.92.
- ³⁴ Яков Кротов. Оборотни в мире слов. // *МН* 51-52, 20.12.92.
- ³⁵ Александр Гельман. Свобода без сюжета. // *ИсКи* 1991, 9, с.129-131.
- ³⁶ Наталья Иванова. Выйти из ряда. // *Октябрь* 1991, 10, с.180.
- ³⁷ Александр Рубцов. Мозговая демобилизация? // *МН* 15.03.92, с.8.
- ³⁸ Николай Михайлов. Дело уже не в закуске. // *НГ* 17.04.92, с.8.
- ³⁹ Цит. по: Татьяна Савицкая. Три жизни Михаила Казачкова. // *Столица* 1992, 16 (74), с.40.
- ⁴⁰ Владимир Тодрес. "Россия должна стать нормальной великой державой", — постановил Русский национальный собор. // *НГ* 16.06.92, с.3.
- ⁴¹ Павел Крючков. Сердце по кругу. Преодоленная боль Бахыга Кенжеева. // *НГ* 22.04.92, с.7.
- ⁴² Вячеслав Курицын. Гордыня как смирение. Не-нормальный Галковский. // *ЛГ* 5.08.92, с.4.
- ⁴³ Евгений Ованесян. От купюр — к "от кутюр". Литературный эпатаж и "высокая мода". // *ЛитРоссия* 1992, 1-2, с.11.
- ⁴⁴ Другой яркий пример тавтологической бессодержательности ключевого слова — это операции современных авторов — политических деятелей, социологов, историков, философов и т.п. — со словом *миф*, позволяющие автоматически объявлять любой предмет одновременно как единственно сущим, так и существующим только в воображении говорящего. См. Андрей Немзер. Страсть к разрывам. Заметки о сравнительно новой мифологии. // *НМ* 1992, 4, с.226-238; А.Белкин. Из мифа... в миф. // *Культура* 4.4.1992; Олег Дарк. Миф о прозе. // *ДН* 1992, 5-6, с.218-232; Г.В.Осипов. Мифы уходящего времени. // *СоцИс* 1992, 6, с.3-14 и мн.др.
- ⁴⁵ Андрей Грачев (бывший пресс-секретарь М.Горбачева). Плюс приватизация всей страны. // *МН* 26.07.92.
- ⁴⁶ Андрей Фадин. Крушение империи: два взгляда. // *Век XX и мир* 1992, 1, с.9.
- ⁴⁷ Андрей Вознесенский. ("Пара страничек из моей сегодняшней тетради") // *Огонёк* 1991, декабрь, с.17.
- ⁴⁸ Примеры апологии "здорового смысла" — наугад из любого издания за любой день. В одном номере *ЛГ* (10.2.93) Владимир Огнев в статье "Только о здоровом смысле" пишет: "Я буду говорить о здоровом смысле потому, что именно его не хватает в первую очередь, когда мы беремся рассуждать об интересах писателей". Здесь же писатель-экономист Николай Шмелев в заметке "Куда идти?" обращается к успехам китайской реформы и отвечает на свой вопрос так: "Идти надо туда, куда нас ведет обыкновенный крестьянский здравый смысл". "Здравый смысл должен восторжествовать" — так называет свою статью о применимости в России японского экономического эксперимента (*ЭКО* 1992, 7, с.22) директор завода из Тирасполя В.С.Соловьева. Рассуждение о требовании здорового

смысла, “также вмененного нам Господом в обязанность (Матф. 10,16)”, мы находим и у С.С.Аверинцева (Сергей Аверинцев. Мы и наши иерархи — вчера и сегодня. // *Новая Европа* 1992, 1, с.53).

⁴⁹ Наталья Иванова. Гомо советикус. // *Апрель* 1992, вып.5, с.256.

⁵⁰ Ср., как писал Стефан Андрес в анкете Бертольда Брехта (пер. Е.Г.Казакевич): “Впрочем, и слово *истина* сегодня плавает, точно так же, как *свобода, справедливость, терпимость, вера, честь* и многие другие, под карантинным флагом; эти понятия все вместе и каждое в отдельности отравлены идеологией, прагматизмом (...)”. *Schwierigkeiten, heute die Wahrheit zu schreiben*. Hrsg. von Heinz Friedrich. Munchen, 1964, S.356. См. подробнее Harald Weinrich. *Linguistik der Lude*. Verlag Lambert Schneider, Heidelberg, 1966.

⁵¹ Анна Сокольская. Народ безмолвствует? // *Посев* 1992, 4, с.29-30.

⁵² Ibid., с.30.

⁵³ “М. Вивег говорил однажды о самой черной точке нашего столетия — о Гитлере. Когда он слышал речь Гитлера по радио, он думал, — вот это существо, которое может одним движением своего речевого аппарата отправить миллионы людей на смерть. Но он не может того, что может самый слабый, самый жалкий человек на свете, который сохранил в себе человечность: то, что сказано на немецком и трудно переводить на русский: ein gesprochenes Wort in die Welt setzen — “внести в мир сказанное слово”. Слово, которое сказано, человеческое слово, на которое может быть дан ответ”. Сергей Аверинцев. “...Промежуточные состояния — это ужасно”. // *Родник* 1990, 11, с.33.

⁵⁴ Юрий Манн. — В: Обсуждение книги Абрама Терца “Прогулки с Пушкиным”. // *ВопЛи* 1990, 11, с.98.

⁵⁵ Надежда Ажгихина. Уроки “третьей волны”. // *ОНС* 1992, 3, с.114.

⁵⁶ Виктор Кривулин. Ук. соч. // *Столица* 1992, 27(85), с.49.

⁵⁷ М. Арапов. Язык утопии (о лингвистической теории А.А. Богданова-Малиновского). // *Знание — сила* 1990, 2, с.66-72.

⁵⁸ Петр Пильский. Извратители. — Цит. по: *Русская Жизнь* 6.8.1992, с.6-7.

⁵⁹ Татьяна Толстая. Долбанем крутую попку! // *МН* 15.3.92, с.8.

⁶⁰ См. Лев Тимофеев. Мы живем в уголовную эпоху. // *Столица* 1992, 27(85), с.12-14.

⁶¹ Виктор Камянов. Кто обидел цензора? Советское искусство в поисках своего предмета. *ЛитОбоз* 1992, 1, с.48.

⁶² Валерий Туровский. “Творческий портрет” на фоне творческого провала. // *Столица* 1992, 13(71), с.56.

⁶³ Наталья Иванова. Светлый чердак для подвальной литературы. // *ДН* 1992, 4, с.238.

⁶⁴ Ирина Овчинникова. Свобода не отменяет приличий. // *Известия* 22.1.93.

⁶⁵ Юлиу Эдлис. Похвальное слово... мату. // *Культура* 6.2.93.

- ⁶⁶ Сергей Страшнов. “Знаки неба в памяти земли”. Судьбы культуры в современной поэзии. // *ЛитОбоз* 1992, 2, с.21. Ср. в какое гнездо попало модное слово в уже упомянутом словаре: “Макаров” (адвокат, активный в том числе в процессе по делу о КПСС — Г.Г.), пистолет, мэр, мафия, менталитет (мил.?)”. Борис Куркин. Краткий словарь эпохи “углубления реформ”. // *ЛитРоссия* 8.1.93.
- ⁶⁷ Борис Можаяев. Пустоплясы. *ЛГ* 15.7.92; Джохар Дудаев. На своей территории мы воевать не будем. *ЛГ* 12.8.92.
- ⁶⁸ Юрий Буртин. Важные государственные дела. Новые люди на фоне нового ландшафта. // *НГ* 21.4.92.
- ⁶⁹ Т. Толстая. Ук. соч. // *МН* 15.3.92, с.8.
- ⁷⁰ Олег Дарк. Миф о прозе. // *ДН* 1992, 5-6, с.232.
- ⁷¹ Т. Толстая. *Ibid*.
- ⁷² Сергей Аверинцев. *Ibid*, с.34.
- ⁷³ Лев Аннинский. Траектория независимости в хаосе непредсказуемости. // *ЛитОбоз* 1991, 9, с.8-14.
- ⁷⁴ Елена Трофимова. Московские поэтические клубы 1980-х гг. // *Октябрь* 1991, 12, с.172.
- ⁷⁵ Евгений Добренко. Амфир во время чумы, или Лавка вневременности (метафизические предпосылки соцреализма). // *ОНС* 1991, 1, с.161.
- ⁷⁶ Михаил Гельвановский, Алла Крюкова. Рынок: формула счастья или трудный путь к согласию? // *ОНС* 1992, 2, с.13.
- ⁷⁷ Михаил Малютин. “Новая” элита в новой России. // *ОНС* 1992, 2, с.45.
- ⁷⁸ Михаил Берг. Через Лету и обратно. Выбранные места из фрагментов, которые были исключены по цензурно-эстетическим соображениям редакцией “Нового мира” при публикации путевых заметок М.Берга в № 12 за 1991 год. // *НГ* 27.3.92.
- ⁷⁹ Алексей Беляков. В нашем доме появился замечательный сосед. В черной рубашке. // *Столица* 1992, 29(87), с.3.
- ⁸⁰ Григорий Нилов. Похож ли Израиль на Советский Союз? // *Столица* 1992, 23(81), с.19.
- ⁸¹ Социальное пространство России (“круглый стол”). // *СоцИс* 1992, 3, с.49-67.
- ⁸² Александр Агеев. Карфагенская рота. За что же она боролась? // *НГ* 15.7.92.
- ⁸³ Сергей Кара-Мурза. Проект либерализации экономики России. Адекватен ли он реальности? // *СвоМы* 1992, 7, с.23.
- ⁸⁴ Сергей Чупринин. Бескормица, или Что бы такое почитать?.. // *Столица* 1992, 18(76), с.55.
- ⁸⁵ Александр Янов. Феномен Жириновского. // *НВ* 1992, 41, с.8.
- ⁸⁶ Сергей Чупринин. “Все те же мы: нам целый мир чужбина...”. // *Столица* 1992, 13(71), с.55.

⁸⁷ Укажем хотя бы на подчас непреодолимые трудности, испытываемые русскими переводчиками перед словом identity, Identität и т.п.

⁸⁸ Евгений Добренко. *Левой! Левой! Левой!..* Метаморфозы революционной культуры. // *НМ* 1992, 3, с.234.

⁸⁹ Сергей Кара-Мурза. Ук.соч., с.23.

⁹⁰ Сергей Чупринин. Ук.соч., с.55.

⁹¹ (Член центрального совета “Памяти” Александр Баркашов): “Вот Дмитрий Васильев — он считает себя русским. Но своим поведением он превратил “Память” просто в грязную скандальную организацию. Потому что его менталитет нерусский. Васильев наполовину еврей, на четверть армянин. И человек с нерусским менталитетом, отталкивающий от себя, начинает говорить от имени русского народа”. Алексей Беляков. Ук.соч., с.3.

⁹² — Поговорим о содружестве — Рейн, Бродский, Найман... Было ли и еврейство одной из сближавших вас причин наряду с другими?...

— Никакого национального кредо мы не испытывали, более того — люди, которые, грубо говоря, “торчали” на еврейском вопросе, были нам чужими. Однако, возможно, что-то подсознательное в менталитете и было. — На излете романтизма. Евгений Рейн в беседе с Татьяной Рассказовой. // *ЛГ* 26.8.92, с.5.

⁹³ Вяч.Вс.Иванов. Мозг как поле сражения. // *НВ* 1992, 40, с.47.

⁹⁴ Николай Петраков. // *МН* 5.7.92.

⁹⁵ Олег Давыдов. Кто разбил голубую чашку? // *Синтаксис* 1992, 32, с.26.

⁹⁶ Валерий Лебедев. Переживет ли страна 1993 год? Мутная волна нового смутного времени. // *НГ* 2.12.92.

⁹⁷ Название статьи Ю.Рычкова в *НГ* 25.8.92. См. о том же: Анита Нейман. Поверхностный подход к перспективной работе. К вопросу о “едином генетическом пространстве”. // *НГ* 15.9.92.

⁹⁸ Андрей Андреев. Третья сила. // *НС* 1992, 8, с.111.

⁹⁹ Наша боль и печаль. Разговор с ученым-историком Петром Колесниковым (беседу вела Елена Казьмина). // *Слово* 1992, 1-6, с.19.

¹⁰⁰ Петр Федосов. Атаман краевого Союза казаков Ставрополя отвечает на вопросы собственного корреспондента Людмилы Леонтьевой. // *МН* 18.10.92, с.11.

¹⁰¹ А. Ильхамов, И.Погребов. Запад есть Запад. А Восток? // *Век XX и мир* 1992, 4, с.52.

¹⁰² М. Кривошеин. (письмо в редакцию) // *ЛГ* 26.6.92, с.1.

¹⁰³ Алексей Черниченко. Богатый? Заплачешь! // *Огонёк* 1992, 44-46. с.9.

¹⁰⁴ Юрий Линник. Погружение в хаос. // *Посев* 1992, 2, с.95, 97.

¹⁰⁵ Сергей Кара-Мурза. Поругание слабых. // *Век XX и мир* 1992, 4, с.38.

¹⁰⁶ Леонид Радзиховский. Год спокойного солнца. // *Столица* 1992, 32(90), с.3.

¹⁰⁷ Марина Кудимова. “Я в Союз Писателей хочу!” // *Апрель* 1992, вып.5, с.266.

- ¹⁰⁸ М.А. Розов. Прошлое как ценность. // *Путь* 1992, с. 137-151.
- ¹⁰⁹ Денис Горелов. Девочки плачут, а шарик висит. // *Столица* 1992, 43(101), с.55.
- ¹¹⁰ Нина Катерли. // *КО* 6.3.92, с.5.
- ¹¹¹ В. Шубкин. Трудное прощание. // *НМ* 1989, 4, с.171-175.
- ¹¹² М. Липовецкий. Совок-бюз. Шестидесятники сегодня. // *Знамя* 1991, 9, с.229.
- ¹¹³ “Процесс самопознания идет на всех парах, и тут уж с обидами не считаются. Несколько лет назад в книге Александра Зиновьева появилось сокращение “гомосос” — от гомо советикус. Часть эмиграции была тогда, помнится, жутко разобижена: это про нашего советского человека — так оскорбительно? Между тем, сами советские люди именуют себя теперь еще куда более оскорбительно — “совки”, “совковские” и прочие образования от этого совсем уж странного слова”. Елена Гессен. Человек — гордо ли это звучит? // *Время и мы* 1992, 116, с.149-150.
- ¹¹⁴ “Глубокая, иррациональная ненависть к “совку”, “люмпену”, “шарикову” — ненависть, которую благоразумнее было бы не обнажать, — пронизывает целые страницы (...)”. Ксения Мяло. Рубеж. // *ЛитРоссия* 1992, 11, с.3-4.
- ¹¹⁵ “(Советский идеализм) состоит в прямом родстве с насильственным инфантилизмом советских людей”. Интервью с Дмитрием Савицким. // *ЛитОбоз* 1991, 8, с.50.
- ¹¹⁶ *Ibid.*, с.51.
- ¹¹⁷ См., например, Алексей Беляков. Я — “совок”. // *Столица* 1992, 10(68), с.27.
- ¹¹⁸ Александр Генис. *Совок*. // *НГ* 15.9.92, с.8.
- ¹¹⁹ М. Липовецкий. Ук.соч., с.226-236.
- ¹²⁰ Wolfgang Schlott. Nicht mehr Schraubchen im Getriebe sein? Zur Funktion von Stereotypen im sowjetischen Massenbewusstsein der Perestrojka-Phase. // *Vorgänge* 1990, 29, H.2, S. 48-56.
- ¹²¹ Алла Боссарт. Театральный роман (комедия). // *Столица* 1992, 15(73), с.49.
- ¹²² Наталья Иванова. Гомо советикус. // *Апрель* 1992, вып.5, с.246.
- ¹²³ А.С.Ахизер. *Социально-культурные проблемы развития России. Философский аспект*. М., ИНИОН РАН, 1992, с.11-14, 19, 20, 67.
- ¹²⁴ Н.И.Лапин. Тяжкие годы России (Перелом истории, кризис, ценности, перспективы). // *Мир России* 1992, т.1, с.5, 11, 16.
- ¹²⁵ Александр Янов. Феномен Жириновского. // *НВ* 1992, 41, с.8-13.
- ¹²⁶ Александр Рубцов. Мозговая демобилизация? // *МН* 15.3.92, с.16.
- ¹²⁷ В.Ф. Абрамкин, Ю.В. Чижов. *Как выжить в советской тюрьме*. Красноярск, 1992, с.116, 135.
- ¹²⁸ Андрей Караул. Геннадий Бурбулис: “Сегодня я живу в состоянии полноценной внутренней свободы”. // *НГ* 4.4.92, с.8.

¹²⁹ См. также: Григорий Померанц. Неудачи. Плата за устройство мира, в котором есть свобода. // *НГ* 5.6.92.

¹³⁰ Дмитрий Ольшанский. "И горе тут не от ума". О некомпетентности в политике. // *ЛитОбоз* 1991, 9, с.4.

¹³¹ Н.И.Лапин. Ук.соч. с.7.

¹³² (В.В.Костюшев:) Социология культуры и социокультурная ситуация в СССР ("круглый стол"). Ч.II. // *СоцИс* 1992, 1, с.77.

¹³³ Александр Евлахов. Наши катастрофисты. // *Россия* 1992, 50(108).

¹³⁴ Лев Аннинский. Новый этногенез? // *ДН* 1992, 9, с.249.

¹³⁵ Александр Кушнер. Из цикла "Со звездой в облаках". // *НМ* 1992, 4, с.5.

¹³⁶ Борис Орлов. Беспредел, или Что же вы, мужики? Почему не слышно "прорабов перестройки". // *ЛГ* 12.2.92, с.11.

¹³⁷ Валерий Кичин. Девушкины слезки — 3. // *Столица* 1992, 20(78), с.46. Ср.: Михаил Слинько. У вас, в прессе, такой же беспредел, как и везде. // *Столица* 1992, 22(80), с.40.

¹³⁸ Леонид Леонидов. Бурбулизация как высшая стадия горбачевизации. // *НГ* 19.5.92, с.8. Отименные бранные абстракции, позабытые со времен "борьбы с троцкизмом", тоже, кстати, все больше идут в оборот: и как "сталинизм" в начале перестройки был вытеснен "сталинщиной", так в новом политическом словотворчестве от "руцкизма" переходят к "kozyревщине". (Юрий Лошиц. Козыревщина. // *ЛитРоссия* 12.3.93).

¹³⁹ Андрей Андреев. Ук.соч. с.111.

¹⁴⁰ Маргарита Хемлин. Фонд помощи деятелям культуры России. Для тех, кто остается здесь и теперь. // *НГ* 27.6.92, с.7

¹⁴¹ (Л.Н.Митрохин:) Религия и политика в посткоммунистической России (материалы "круглого стола"). // *ВФ* 1992, 7, с.31.

¹⁴² В.Ф.Абрамкин, Ю.В.Чижев. Ук.соч., с.115.

¹⁴³ Михаил Малютин (директор Общественного центра Моссовета). "Новая элита" в новой России. // *ОНС* 1992, 2, с.43.

¹⁴⁴ Типа: "Едали мы эти прогнозы..." // *Комсомольская правда* 29.7.92.

¹⁴⁵ Один из многих примеров: "А я другой такой страны не знаю, где министр культуры, пусть и бывший (Н.Н.Губенко), называет своего коллегу "присяжной блядью" Юрия Петровича Любимова". Валерий Туровский. Давайте жить скучно!.. // *Столица* 1992, 23(81), с.56. О появлении "литературоведения на фене" пишет Александр Шуплов. "Шумел-горел Денис на фене". // *КО* 5.3.93.

¹⁴⁶ Муки внезапной свободы. Яков Гордин в беседе с Татьяной Путренко. // *ЛГ* 13.5.92, с.3; Александр Якимович. Эсхатология смутного времени. // *Знамя* 1991, 6, с.221-228; Модест Колеров. Третья Смута и ее органический закон. // *НГ* 21.4.92, с.5.

¹⁴⁷ Микроскопически отрадным, но отрадным может быть возвращение, например, слову *сожительство* его более общего значения "сосу-

ществования” вместо узко-советского “совместного проживания без заключения брака”. Другое дело, что насквозь идеологический контекст возвращения позабытых значений отпугивает носителей языка: так, о “братском сожительстве народов” пишут в *ЛитРоссии* (19.2.93).

¹⁴⁸ Георгий Эдельштейн. Хроника одной судьбы. // *СвоМы* 1992, 8, с.95.

¹⁴⁹ Владимир Беляев. Принципы единения. Партийность и соборность. // *ЛитРоссия* 1992, 5, с.16-17.

¹⁵⁰ “Обсуждалась тема “Соборность: истоки и современный смысл” (...) С позиций соборности был дан анализ истории и специфики отечественного предпринимательства”. Евгений Троицкий. Собором и черта поборем! // *ЛитРоссия* 1992, 1-2, с.6.

¹⁵¹ Сергей Костырко. На полпути к “частному лицу”. // *НМ* 1992, 3, с.243.

¹⁵² Юрий Афанасьев. Номенклатура на “сходке вечевой”. // *НГ* 2.4.92, с.1-2.

¹⁵³ М., “Наука”, 1990, 272 с.

¹⁵⁴ А.И.Солженицын. *Русский словарь языкового расширения*, с.3.

¹⁵⁵ В том числе, в *Комсомольской правде* 18.9.90.

¹⁵⁶ А недавно похожий призыв к соотечественникам прекратить взаимные оскорбления повторил академик РАН О.Трубачев // *АиФ* 1992, 29-30, с.8.

¹⁵⁷ Чрезвычайно популярная в последние два года словообразовательная модель опрошения, просторечного снижения слова (ср. традиционные — старуха, непруха, сивуха): порнография — порнуха, триллер — чернуха, диссидентство — диссидуха, кинофильм — кинуха, КГБ — гэбуха, развлекательная программа — развлескуха и мн. др.

¹⁵⁸ *АиФ* 1992, 29-30, с.8.

¹⁵⁹ С.Э.Фриш. *Сквозь призму времени*. М., Политиздат, 1992, с.89.

¹⁶⁰ См., например, возвращенные в русский язык “досоциалистические” экономические термины “акциз”, “акцепт”, “акционерное общество”, а также новые слова — “лизинг”, “менеджмент”, “маркетинг”, объясняемые в оперативно выпускаемых экономических словарях. См., например, А.К.Алферов, Л.А.Кузнецова. *Словарь рыночной экономики*. М., АКА, 1990.

¹⁶¹ См. Ваше слово, товарищ ваучер! Предгоскомимущества Анатолий Чубайс в беседе с Андреем Бороденковым. // *МН* 26.7.92.

¹⁶² Ох, эти французы. // *ЛитРоссия* 8.1.93.

¹⁶³ См., как пишет об этом политическом остроумии знаменитая “анти-советчица”: “Почему они выступают против демократии? Потому что они плохие люди (коммунисты красные, коммунисты коричневые, коммунисты ассорти: красно-коричневые)” Валерия Новодворская. Свобода — это рабство! // *Век XX и мир* 1992, 4, с.23.

¹⁶⁴ См., например, Эдуард Полянский. Еще об ошибках классиков. // *Журналист* 1992, 5-6, с.18-19.

¹⁶⁵ *АиФ* 1992, 38-39.

¹⁶⁶ Характерно, что исполненное полотно, изображающее Ленина на трибуне первого съезда Советов, было вынесено из Большого Кремлевского дворца лишь на чрезвычайном девятом съезде народных депутатов (26 марта 1993) с целью сплотить единство на антибольшевистской и национальной платформе.

¹⁶⁷ Одним из подготовительных “залпов прессы” была, возможно, статья: Светлана Нетопина. Русский язык в осаде новояза. // *Известия* 14.8.92.

¹⁶⁸ Сообщено С.Н.Плотниковым.

¹⁶⁹ Шамиль Султанов. // *День* 1992, 15.

¹⁷⁰ Ксения Мяло. “Есть ли в Евразии место для русских?” // *ЛитРоссия* 1992, 32, с.4-5.

Edvard Radzinsky. *The Last Tsar: The Life and Death of Nicholas II.* Doubleday & Co., 1993.*

Prince Michael of Greece. *Nicholas and Alexandra: Family albums.* St. Martin's Press, 1992.

В середине 70-х годов на обеде по поводу открытия художественной выставки меня посадили рядом со старой дамой, шепнув, что ей девяносто, но она абсолютно все соображает. Мы разговорились, речь зашла о Николае II, и старушка, которая, как выяснилось, в свое время была чем-то вроде фрейлины при дворе, вздохнула: “Вот все говорят! тиран, тиран! А собственно почему? У них за столом всегда такие свежие сливки подавали!”

Такого рода логика, слегка безумная, становится все более популярной в России 1990-х годов. День ото дня крепнет миф о том, что до революции жизнь была изумительной (для всех), а уж с 1917 года свежих сливок будто бы не видел никто, кроме членов бывшего Политбюро, да и те, доползая до коллективного трона к мафусаиловым летам, уже не способны бывали переварить ничего, кроме минеральной воды. Одна знакомая, например, клялась мне, что ее дед, простой рабочий-наборщик, в начале века пропивал свою еженедельную зарплату в трактирах, а на оставшуюся мелочь покупал золотые кольца с изумрудами для жены, чтобы та не очень сердилась. Крестьяне купались в зерне. Пролетарии завтракали икрой. Жандармы были вежливы, торговцы честны, священники набожны, а все почему? — потому что у нас был царь. Сливки, изумруды, колокольный звон, пасхальные яйца Фаберже, честные и просвещенные купцы, порядочные женщины, прозрачные реки, полные севрюги, — туманные образы русского рая, золотого века мучают мечтателей, вызывая острые приступы ностальгии по тому, что вряд ли когда-либо существовало: в раю не бывает революций. Реальность оскорбительна для мечтателя: зеленая лужайка, издали манящая шелковой травой, вблизи оказывается утыканной консервными банками и окурками. А посему лучше всего отрицать реальность и любить свою мечту, воплощая ее в сказке о доб-

* Русский вариант книги Эдварда Радзинского (под названием “Господи... спаси и усмири Россию: Николай II. Жизнь и смерть”) был выпущен в 1993 году совместными усилиями издательств Liberty Publishing (Нью-Йорк) и Vargrius Publishing (Москва).

ром, заботливом царе, о сытом и благодарном народе и их взаимной симпатии. Похоже, что к этому типу мечтателей принадлежал и сам Николай Второй, убедивший себя в том, что простой народ добр и обожает царя, а толпу мутят смутьяны, которых надо поймать и хорошенько наказать, чтоб не смели, — ведомый этим заблуждением, он успешно погубил себя, свою семью, страну, империю, народ и цвет нации нескольких будущих поколений в придачу. В моем детстве был популярен анекдот о том, что Николай Второй посмертно представлен к Ордену Октябрьской Революции — “за создание революционной ситуации в стране”. Был ли он профессионально бездарен? Или самодержавие было обречено? Или же обреченность самодержавия и должна была быть явлена миру в бездарности этого человека, не хотевшего и не умевшего править, а любившего только гулять, пилить дрова и фотографировать? Эти три подхода, три аргумента: человеческий, исторический и мистический соответственно, — имеют своих сторонников, и их споры никогда не были и не будут разрешены. Но в любом случае странная обломовская пассивность этого тихого голубоглазого семьянина, покорность судьбе в сочетании с самоубийственным упрямством и эгоизмом, роковые семейные обстоятельства (властная, истерическая супруга и смертельно больной наследник), роковые исторические обстоятельства (война с Японией, война с Германией) и, конечно, страшный конец в подвале уральского особняка — все в его жизни не перестает волновать воображение писателей и читателей во всем мире. И чем больше сказочных мотивов, мифологических клише можно высмотреть в истории жизни и смерти последнего русского царя, тем охотнее берутся за перо писатели и тем жаднее расхватывают книгу читатели.

“Последний царь” Эдуарда Радзинского, книга о жизни и гибели Николая Второго, стала в США бестселлером. Радзинский в свое время учился в историко-архивном институте, а позже стал успешным драматургом. Драматург-мифотворец в Радзинском, очевидно, полностью победил и подмял под себя историка-профессионала. Вся книга в этом смысле представляет собой поле битвы этих двух ипостасей автора, и если драматург оставляет после себя триумфальные арки, то на долю историка остаются жалкие кротовые кучки. В книге не только нет ни одного примечания, но и библиографический список, похоже, представляет собой лишь орнамен-

тальный завиток, модернистскую карриатиду, не утруждающую себя поднятием тяжестей, а просто радующую глаз прохожего. Издательство Doubleday подыграло автору: книга открывается картой, не более полезной, чем арабеска: на ней мирно сосуществуют Санкт-Петербург (уже в 1914 году ставший Петроградом, в 1924 — Ленинградом) и Куйбышев (до 1935 года называвшийся Самарой), а на месте Северного Ледовитого океана расположился Атлантический. На этой карте река Амур течет по кругу, другая река, неизвестная географам, смело соединяет Черное море с Каспийским; Россия и Сибирь разделены границей, зато Швеция и Финляндия — не разделены, и так далее. (Россия, конечно, фантастическая страна, но не до такой же степени.) Сам Радзинский, надо отдать ему должное, с первых же страниц книги заявляет о своем недоверии к любым свидетелям: “Участники, в общем, всегда необъективны”, и даже приводит поговорку: “врет, как очевидец”. Поэтому он отмечает все, — все! — свидетельские показания об обстоятельствах гибели самодержца, отмечает всю работу, проделанную другими и хочет все сделать сам, разыскав добровольные, а не вынужденные показания участников расстрела. Это трудно: куда ни сунься, все лгут. И его трудностям я сочувствую. Но ложь, эта едва ли не главная человеческая слабость, именно и должна преодолеваться кропотливой работой историка, сходной с работой следователя; другое дело, что в России пробиться к правде труднее, чем где-либо. В какой еще стране хранители архивов дружно лгут тебе в лицо, уверяя, что нужных тебе документов не существует в природе? Но они же — капризна человеческая натура — тайно, с черного хода, в нарушение всех правил и рискуя своим положением, вынесут тебе “несуществующий” документ и, удовлетворив твое любопытство, автоматически введут тебя самого в круг посвященных, лгущих, не имеющих права проговориться. Ты будешь отныне связан круговой порукой двойного стандарта. Ты будешь сам лгать новым, непосвященным искателям истины. И если ты проболтаешься, то ты подведешь людей, доверивших тебе тайну; напротив, ложь станет гарантией твоей порядочности. Такова Россия — неудивительно, что наши драматурги много лучше наших историков. Священный обетам молчания, передвигаясь в мире шепотов и краденых документов, Радзинский долгое время не мог вести свое рас-

следование открыто, а когда смог, то оказалось, что почти все уже сделано другими.

В результате расследования Радзинский выяснил то, что было известно и раньше, а именно: то, что ничего толком не известно. Вроде бы команда из 11-12 человек под руководством и при участии большевика Юровского расстреляла, а потом добила штыками в подвале дома одиннадцать человек: семью царя, трех слуг и доктора. Некоторые жертвы почему-то умирать не хотели: пули отскакивали от их тел и летали по комнате. Затем трупы были вывезены в лес, раздеты и ограблены. Выяснилось, что на женщинах были надеты корсеты, нафаршированные бриллиантами, вот почему отскакивали пули. Трупы были захоронены, на следующий день перезахоронены, причем двое почему-то сожжены. Когда через неделю после расстрела город захватили белые, было проведено расследование, но могила найдена не была. Некое захоронение обнаружено уже в наше время, могила вскрывалась дважды: в 1979 году и в 1991-м. По крайней мере двух тел не хватает. Что это означает? Были ли они сожжены? Или же не все погибли?

Драматургически книга выстроена замечательно. Все мы знаем, что царь кончил плохо, но те, кто хотел бы заново пережить всю эту историю с самого начала, теперь могут получить ее, поданную под шикарным соусом дурных примет и зловещих предчувствий. Действие разворачивается под шелест царских дневников, знаменитых своей пустотой и почти неприличной для самодержца ничтожностью. “Гулял, пил чай... Гулял, пил чай”. Эхом отдаются недоумевающие восклицания Николая в мгновения перед внезапной опасностью смерти. “Что, что?” только и произнес он в Киото, в Японии, в 1891 году, когда во время его путешествия сумасшедший полицейский внезапно бросился на него и ударил саблей по голове. “Что, что?” — непонимающе переспросил он, выслушав смертный приговор, за секунду до того, как град пуль пронзил его в подвале дома Ипатьева в 1918 году. “Вот что!” — раздраженно закричал на это убийца Юровский и выстрелил. Действительно, что еще можно ответить? С 1896 года, со дня вступления на трон, а если угодно, то с 1881 года, когда террористами был убит дед Николая Александр III, царь множество раз получал недвусмысленные сигналы: посмотри в лицо реальности, надо что-то менять, иначе будет плохо, он ничего не понял до последнего мгновения. Таким же эхом, но не

затишающим, а, наоборот, разрастающимся крещендо, отзываются в книге Радзинского и вещи. Когда, еще будучи женихом, молодой Николай получает долгожданное согласие своей красавицы невесты и дарит ей в знак любви брошь с бриллиантом, Радзинский опытной рукой приостановит сияние этого далекого апрельского дня, и, прорвав завесу будущего, покажет нам обгорелые остатки этой броши, извлеченные из грязного пожарища, где сжигали сорванную с мертвой царицы одежду. И мрачными аккордами звучит мистический мотив роковой для царя цифры 17. 17 января 1895 года царь крайне неудачно произносит важную речь, сопровождающуюся дурными предзнаменованиями, 17 октября 1905 вынужден подписать манифест, дающий России Конституцию: очень неприятный момент для царского самолюбия, причем произошло это день в день через 17 лет после крушения царского поезда в Горках, когда вся царская семья чуть не погибла. 17 декабря 1916 года убивают Распутина, обещавшего Николаю, что с его смертью погибнет и царь, и страна (что и произошло), 1917 год — революция, а вернее, две: февральская и октябрьская, и, наконец, 17 июля 1918 года — расстрел. Мистика чисел и мелкие, но памятные сердцу обывателя зловещие предзнаменования — когда, например, церемониальный выстрел из пушки, заряженной не холостым, а боевым снарядом, чудом не убил царя, но ранил его однофамильца, жандарма Романова, — вся эта готика сильно способствует созданию напряжения в книге. О всем известной истории с Распутиным и говорить нечего: ее не использовал бы лишь очень ленивый. Повествование украшено прелестными деталями: императрица, властительница одной шестой части суши, продает старьевщикам старую, немодную одежду, но при этом спарывает перламутровые пуговички, заменяя их костяными или стеклянными.

К финалу книги напряжение достигает апогея, и невозможно оторваться от чтения. Автор искусно замедляет действие, растягивая развязку и мучая читателя мельчайшими подробностями последнего пути царской семьи: ночью, в лесу, по болоту, пробирается кровавый грузовик с трупами. Или с полуживыми людьми?.. (Да или нет? Да или нет?..) И снова Радзинский ловко и в нужном месте прерывает рассказ, чтобы перебросить читателя на несколько лет вперед и показать мерцающую картинку: вот пожилой узник ГУЛАГа, пациент психиатрической больницы, уверенно рассказывает,

что он и есть спасшийся царевич Алексей. Он похож на портреты Николая Второго, он страдает гемофилией, у него крипторхизм (неопущение яичка), как и у наследника, и он без запинки и правильно отвечает на все вопросы, связанные с жизнью царской семьи, ставя в тупик врачей. А потом, вылеченный, вновь растворяется в пучинах ГУЛАГа, унося с собой какую-то тайну. А вот комнатная девушка Демидова, та, что закрывалась подушкой и визжала, когда ее расстреливали, та, которую добивали штыком, чей труп сожгли на краю шахты — Демидова, кажется, доживает (как?) до второй мировой войны, никогда не выходит из квартиры, где ее прячет брат, кричит по ночам.

Да можно ли было спастись от расстрела? Неужели? Не знаю, не знаю, словно бы говорит Радзинский, а сам подбрасывает все новые и новые намеки на то, что все может быть, что КГБ знает много больше, чем говорит, что убийцы — Ермаков и Юровский, например, — могли быть соединены страшной тайной — у самого места захоронения они не досчитались двух трупов и, боясь ответственности, могли инсценировать все что угодно: например, сожжение двоих (действие действительно представляющееся бессмысленным). И отсюда ложь и путаница в их рассказах: “сожгли всех, нет, Алексея и царицу, нет, Алексея и Демидову, нет, нет, Алексея и еще одну женщину”. Анастасию?

Главным хранителем, носителем и разоблачителем тайн в книге оказывается загадочный гость, старый чекист, по своей работе имеющий доступ к архивам и сведениям, которые недоступны другим, в свое время лично знавший одного из убийц и давно интересовавшийся историей гибели екатеринбургских узников. Как и полагается по правилам детективного жанра, он появляется в конце книги, безмянный и хихикающий, и предлагают свою версию произошедшего, вполне правдоподобную, красиво изложенную, но — ничуть не более правдоподобную, чем другие правдоподобные версии. Читателю предлагается поверить Радзинскому на слово в том, что такой старик действительно существует. Мы готовы поверить — при всей литературности этого персонажа — и в старика, и в его теорию, сводящуюся к тому, что во время последнего пути кровавого грузовика кто-то из охраны обнаружил, что двое жертв живы, и спас, припрятал несчастных. Как на косвенное свидетельство такой возможности старик ссылается на глухие данные о том, что

жена шофера грузовика, большевичка, бросила своего мужа, а через несколько лет, умирая, послала передать ему, что прощает его. Из этого туманного факта делается вывод, что шофер мог признаться своей революционно настроенной жене в том, что он спас или помог спасти двоих — и это ее возмутило. Нас должно потрясти и то, что малолетнего сына шофера звали Алексеем, как и Наследника.

Все могло быть, и это тоже могло быть. Но можно ли не удивиться тому, что Радзинский, в своей похвальной недоверчивости отбросив десятки серьезных исследований, сотни исторических документов, в том числе и те, что включены в его собственную библиографию, с таким жадным вниманием вчитывается и вслушивается в показания убийц и чекистов, — профессиональных и опытных лжецов? Если бы Радзинский прочел хотя бы книгу Peter'a Kurth'a "Anastasia: the Riddle of Anna Anderson", которая значится в его библиографии, великолепное и захватывающее историческое исследование, добросовестно и убедительно документированное, то он вынужден был бы как-то считаться с тем фактом, что графологическая экспертиза, экспертиза антропологическая (форма ушей, черепной индекс), и множество — сотни других деталей — давно и однозначно утверждают, что Анна Андерсон и Анастасия — одно лицо, а стало быть начинать поиски надо с другого конца клубка. Конечно, это право Радзинского — не верить даже специалистам по криминологии. Но не очень честно представлять для нас, читателей, дело так, будто бы он, автор, изучил и отверг труды историков, врачей, графологов, криминалистов с мировой известностью как малодостоверные, и теперь ищет истину, внимательно вглядываясь в историю со сбежавшей женой шофера (который так и умер, вообще никому ничего никогда не сказав). Создается впечатление, что Радзинский, как опытный драматург, знает, что "неразгаданные тайны", мистические числа и зловещие приметы — инвентарь мифотворца — больше волнуют сердце читателя, чем трезвый анализ и научные экспертизы, что "тмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман", как писал Пушкин. И, лишенный советскими обстоятельствами возможности пробиться к "низким истинам", вынужденный в одиночку разгрести завалы советской лжи, фантазий и мифов, он предпочел сделать упор на более сильную сторону своего таланта, на умение не доказать, а преподнести. Ведь злове-

ший безымянный старик, коллега уральских палачей, в нужный момент появляющийся из-за занавеса, гораздо эффектнее немецких профессоров с их научными (а стало быть непонятными читателю) экспертизами.

Впрочем, любые придирки к Радзинскому меркнут на фоне того, что можно сказать о роскошно изданном альбоме фотографий, прокомментированном Принцем Михаилом Греческим. Радзинскому сам жанр его труда позволяет увлекаться фантазиями и под каждую деталь подстегивать эмоциональную подкладку, но он по своему честен и добросовестен, как импрессионист, изображающий собор в тумане: много мелких цветных точек. Принц Михаил избирает тактику сумасшедшего дадаиста: рисует лошадь и подписывает: курица. Материал, загубленный Принцем Михаилом, бесценен: это фотографии из домашних альбомов царя, в основном снятых самой царской семьей. Все они были фотографами-любителями, и на множестве снимков мы видим царевен с неизменными камерами в руках. Некоторые снимки отличные, другие — так себе, и от этого еще более трогательны. Семья ест, пьет, смеется, читает, прыгает с камня на камень, болеет, играет с собакой, садится на лошадь, обнимает грязных деревенских детишек, флиртует, учится, строит рожи, играет в теннис. Бродит по мелководу, засучив штаны и приподняв юбки. Валяется на пляже. Качается на качелях. И когда знаешь, что вот эту веселую и красивую девочку проткнул тупым штыком, вот эту, кокетливую, обольют кислотой и сбросят в ледяную шахту, вот над этой, застенчивой, будут издеваться в ее последние дни пьяные солдаты охраны — заставлять ее ходить в уборную с открытой дверью и комментировать ее действия с глумливыми смешками — тогда особенно, своей кожей чувствуешь трагедию этой уникальной семьи, позволившей себе быть беззаботной, словно они простые люди.

Что может быть точнее фотографии? Что может быть проще, чем процитировать документ? Как что? Человеческая фантазия, страсть к мифологизации, любовь к сказкам и стереотипам. Странности начинаются раньше, чем сама книга: уже подпись к фотографии на фронтисписе гласит: “Во время плаванья на императорской яхте Алексей в бескозырке одного из матросов играет в воде со старым чайником”. На фотографии действительно Алексей, но на

нем своя собственная, специально сшитая бескозырка, а в руках не чайник, а детская лейка. При всей своей личной “скромности” (на которой очень смешно настаивает автор) русский император мог себе позволить сшить больному сыну шапочку, а не одалживать фуражку у одного из своих подданных. (Разыгрывается миф: неприязнительность царской семьи). Далее, на первой же странице текста, Принц Михаил уверяет нас, что он был одним из первых, кто увидел фотографии. Между тем Радзинский рассматривал эти же фотографии на 20 лет раньше (и отметил, что они, как и дневники царя и царицы, почему-то не были засекречены). (Миф: КГБ якобы всеильно и вездесуще.) Свое предисловие Принц Михаил заканчивает красивым, но лживым сообщением: якобы последней записью в дневнике Николая, за несколько часов до расстрела, были слова: “Господи... спаси Россию”. На самом деле царь прекратил вести записи за три дня до гибели, и последняя запись гласит: “Погода теплая и приятная. У нас нет новостей из внешнего мира”. (Миф: царь тонко чувствовал, он предчувствовал свою гибель, но больше думал о стране, чем о себе.) Далее, увлекаясь, Принц полностью отдается своим фантазиям: якобы царевич Алексей назван в честь основателя династии Романовых, между тем как таковым был Михаил, а не Алексей, якобы Крым — часть Средиземноморья, а слово Ай Петри якобы означает Святой Петр по-татарски (Принцу Греческому приличествовало бы знать, что не по-татарски, а по-гречески), если Принц видит на шляпе цветы, то он пишет “шляпа с перьями”, если семья села на матрац, то Принцу видятся трава и мох. Елку и лиственный кустарник он считает сосной, а ветки с крупными белыми цветами опознает как ветки цветущего тополя. Он превращает корь, опасную болезнь, в простую свинку, а Петра II, умершего в пятнадцатилетнем возрасте — в мужа Екатерины Великой. Он воображает, что Анну Вырубову, интимную подругу царицы, замечали не более, чем мебель, но поскольку история и сами фотографии свидетельствуют об обратном, то он пинает эту толстую с другой стороны: с плебейским снобизмом противопоставляет “элегантное платье” императрицы “безобразным рюшам” подданной. И упорно, настойчиво, каждый раз, когда видит фотографию царской семьи, бродящей по колено в воде, называет эту воду “холодной, ледяной, леденящей” (тем самым выстраивая миф о спартанской выносливости русского императора).

Эта вода, надо сказать, меня доконала. Упорный стереотип, утверждающий, что в России бывают только морозы, и более никакой температуры, стереотип, с которым я встречаюсь постоянно, простителен жителям экватора, но никак не европейцам, и уж никак не авторам роскошных альбомов, претендующих на родственную близость к российской императорской фамилии. Я проследила, насколько могла, происхождение этой легенды. Она, похоже, берет начало от Амброджо Контарини, посетившего Москву в 1476-1477 году. Контарини пишет: “Страна эта отличается невероятными морозами, так что люди по 9 месяцев в году сидят в домах”. Ему вторит Сигизмунд Герберштейн, побывавший в Московии в 1526 году. “Холод бывает там временами настолько силен, что от страшного мороза земля расседается, в такое время даже вода, пролитая на воздухе, и выплюнутая изо рта слюна замерзают прежде, чем достигнут земли”.

Я тоже очень люблю сказки, но, нахально пользуясь предоставленным мне случаем, хочу напомнить сказочникам, что сейчас — 20-й век, что глобальный климат изменился — вот и в Голландии зимой невозможно кататься на коньках по каналам, несмотря на многочисленные картины, изображающие это занятие, что Москва — это не Сибирь, и что в течение 40 лет моей жизни — и я клянусь — в Москве можно было плевать сколько угодно и куда угодно, чем многие и занимались, причем слюна каждый раз спокойно приземлялась в намеченный объект, не замерзая, ибо в Москве давно уже — много веков — обычный, умеренный, средневропейский климат. И что тем более тепло, и даже жарко летом в Финском заливе, на котором расположен Петербург, моя родина, поскольку залив представляет собой плоскую, мелкую лужу, в которой купаются даже двухлетние дети, так что русскому императору, при всех его недостатках, не было необходимости “тренироваться”, чтобы побродить по этой теплой, как суп воде. Начавшись с мифа, альбом мифом и заканчивается: последняя фотография изображает царевича Алексея с собакой, которая якобы разделила ужасную судьбу мальчика. Прошу прощения, но она ее не разделила. Хотя это всего лишь собака, и хотя большевики — бесспорные чудовища, но вот эту именно собаку они не убили. Они застрелили другую собаку, чей трупик и был найден — наравне с оторванным женским

пальцем, жемчужной серьгой и прочим — следователем Соколовым в 1919 году.

Принца Михаила Греческого попросили сделать несложное дело: написать несколько слов под четкими и ясными фотографиями. Дело облегчалось еще и тем, что в ряде случаев дневниковые записи поясняли смысл фотографий. Вот царевич пишет: “Папа спал. Я пошел на его кровать с подушкой”. На фотографии — царевич с этой самой подушкой на голове. Он шалит. И вот встревоженный комментарий Принца: “Почему у него на голове какая-то странная ткань в форме чалмы?” Эти беспомощные подписи могут показаться истерически смешными. Мне не смешно. Мне бесконечно, тошнотворно грустно и оскорбительно, что ребенок по имени Voluus в индексе фотоальбома числится как домашнее животное, что наплевательски небрежно перевраны топонимы, ландшафт, климат, история и география моей любимой и измученной страны — России, словно это далекие, геродотовские земли, населенные людьми с собачьими головами, что работники Российских архивов и западных издательств воображают, что дальний царский родственник по праву рождения больше годится в авторы комментариев, чем простой, но здравомыслящий историк, и потому можно не проверять его бессовестную, топорную работу. Все более популярный миф о мистике самодержавия неизбежно оборачивается обычным социальным расизмом, и — хотя это совсем другая история — русская православная церковь, причислившая царскую семью к лику святых, предпочла, как бы в насмешку над христианским учением, не заметить маленьких, истинно верных и добросовестных людей: доктора Боткина, повара Харитонова, слугу Труппа и служанку Демидову, расстрелянных за то, что не сбежали, не изменили, не предали, а до конца были верны своим хозяевам.

Сейчас в России модна суеверная мысль о том, что все наши несчастья последних 70 лет — возмездие за убийство царя, пившего такие свежие сливки. Раскаяние, конечно, бывает полезным. Но только если не забывать, что в одной яме, вперемешку, все эти годы наравне гнили кости того, кто их пил, и тех, кто их доставал, нагревал, подавал, а после убирал со стола монархические объедки и опивки. Тех, кто в отличие от своего “скромного и очаровательного” господина и “всегда элегантной” госпожи решили до конца выполнить свой профессиональный дог, как они его понимали.

Был ли царь виноват перед своим народом, либо, наоборот, народ перед царем, но они, наконец-то воссоединились — после смерти, в братской могиле, в глинистой яме — и заслуживают того, чтобы сказать о них самое малое: правдивое слово. А если не можешь — то, по русскому обычаю, снять шапку и помолчать.

Татьяна Толстая

The New Freedoms: Contemporary Russian and American Poetry. Poems, Essays and Translations by... collected and printed here for the Conference on Russian and American innovative poetry, April 8-10, 1994, at the Stevens Institute of Technology. Ed. by Edward Foster and Vadim Mesyats. 154 p.

НОВЫЕ СВОБОДЫ

Памяти Нины Искренко

К этой книжке не знаешь, с какого боку и подойти — так много у нее боков. На обложке — раз, два, три — двадцать четыре имени русских и американских стихотворцев, переводчиков и эссеистов — черным по желтому, убористо, как и под обложкой. Вместо переплета — черная пружинка, наводящая на мысль о школе. Собственно, в учебном заведении книга и издана, и действительно напоминает школьные машинописные журналы — очевидностью, как минимум, знакомства авторов друг с другом, возвышенным слогом и опечатками.

Название — в дословном переводе с английского — “Новые свободы”. Подзаголовок: “Современная русская и американская поэзия”. Только не спрашивайте меня, что такое “современная”; не надо подначек о “свободах”: в трех эссе, заключающих книгу, все написано.

Первое называется “Сознание смерти или смерть сознания” и открывается длинным эпиграфом из Константина Вагинова с ободряющим заключением: “Литература по-настоящему и есть загробное существование”. Автор эссе — Марк Липовецкий, а начинается оно так: “Зависимость русской поэзии от Бродского не нуждается в подробных обоснованиях”. Далее Липовецкий сводит тенденции новой поэзии к четырем координатам поэтического мира Бродско-

го, подобно тому, как “элементы целостной системы пушкинской поэтики в свернутом виде содержали в себе все то, что впоследствии развернулось в пестрый пучок направлений русской литературы, каждое из которых, апеллируя к Пушкину, опровергало предшественников и современников. Стороны света Липовецкий выбирает такие: “Осенний крик ястреба” (1975) и “Рождественская звезда”(1987), “Представление” (середина 80-х) и “Назидание”(1987). Эти тексты критик выделяет по принципу “ответа на вопросы, касающиеся взаимоотношений между поэтом и мироустройством”. Сама я, впрочем, слово “вопросы” к стихам не применяю и насчет “ответов” тоже, сомневаюсь. Но в целом согласна: “С одной стороны, поэзия рождается как крик запредельного одиночества и гибели. С другой, стоическая надежда на то, что даже в сплошном хаосе у человека есть прочная опора — он сам...” Далее поэты, многие из которых представлены в сборнике, тасуются в соответствии с выбранными координатами, по признанию самого автора произвольно. Например, в одной компании оказываются Александр Еременко и Лев Рубинштейн (полюс “Назидания”). Эту часть, как, впрочем, и все эссе Липовецкого, я прочла с живым интересом, правда, сразу забыла, кто с кем все-таки оказался.

Далее, однако, произошло то, чего я ожидала и чего так боялась: рано или поздно было сказано слово “постмодернизм”, с которым у меня отношения сложные, как у иных с сопроматом. “Известно, что эпистемологическая доминанта присуща модернизму, тогда как онтологическая доминанта формирует структуру постмодернистской поэтики”. Кавычки закрываются. Ветер стихает, и мы снова с тихим стуком перекладываем знакомые камешки: “...выясняется, что у Жданова больше принципиальных точек соприкосновения с Приговым, чем, допустим, с Парщиковым, а Рубинштейн гораздо ближе к Елене Шварц, чем к своему постоянному напарнику по критическим обоямам, Пригову”.

Читать эссе Липовецкого мне понравилось. Во-первых, я почти все в нем поняла и даже, из-за некоей технической накладки, отсылающей к историческим анекдотам о Брежневe, прочла важную для понимания часть дважды (на стр.131 и 132), и тем лучше ее усвоила. Во-вторых, мне близка мысль о двух стратегиях современного художественного творчества (не только поэзии), одна из которых — погружение в хаос, которое “в варианте Жданова пе-

реживается трагически, в варианте Кибирова — элегически, а в варианте Пригова — с полным удовольствием”, а вторая состоит в попытках построить “неизбежно хрупкий и временный дом для души”, создать если не гармонию, то — подобие гармонии, “не брезгуя никакой культурной щебенкой”. Стратегия новой поэзии, по мнению Липовецкого, в большей степени концентрируется вокруг мотивов хаоса, темноты, ночи (см. название). “Нынешнее состояние поэзии во всей его предельности, — говорит в заключение обильно цитируемый мной (потому что я с ним согласна) Липовецкий, — это прежде всего возвратное движение от другого предела: предела разрешительного прогрессизма, предела витальности, предела агрессии идей и вещей. “Символ смерти” (М.Мамардашвили), став знаком мировосприятия целого поколения, свидетельствует о том, что и возвратное движение подходит к концу. Пора толкать маятник в обратном направлении.”

Второе эссе написано Вячеславом Курицыным и отмечено тонким, высоким, аскетическим звуком чистой науки. Напугав меня сразу названием (“Русский литературный постмодернизм. Генеалогия, ситуация, практика”), Курицын затем очень гуманно начинает свою статью-эссе с объяснения, кто такой постмодернизм и когда он родился, в частности, в Советской России. Как следует из курицынской статьи, это были возникшие в 60-х — начале 70-х гг. *нетоталитарные типы реакций на тоталитарный советский метадискурс* (возможно, я ошибаюсь). Например, соц-арт — “попытка иронической модификации самого державного метадискурса, попытка победить врага на его территории и его оружием”. К литературной традиции соц-арта автор относит Пригова, Кибирова, Сорокина, Соколова эпохи “Палисандрии” и даже Еременко. Упоминается, конечно, концептуализм (Рубинштейн и опять Пригов, который вообще норовит вскочить в любое перечисление). Но потом вдруг оказывается, что “постмодернистская парадигма” в России была всегда, во всяком случае, в этом веке, только ее на время победила более напористая авангардная. И, наконец, я окончательно успокаиваюсь, узнав, что к постмодернистской традиции принадлежали также Набоков, акмеисты и Мандельштам. И если все перечисленное возникло как реакция (Курицын объясняет, на что), то теперь мы имеем дело с реакцией на кризис этой реакции. То

есть, в частности, с настоящим сборником. Мысль критика поступательна, интонация ровна, а имена участвующих и неучаствующих в сборнике русских поэтов складываются в более традиционные, чем у Липовецкого, узоры.

Однако, вылетев в первой фразе эссе первого критика и описав высокий звонкий круг, стрела снова влетает в окно и утыкается в стол второго на том же слове: Бродский.

“Каждый последний факт — только лишь первый в новой серии”, — это сказал Р. Эмерсон, и это эпиграф к третьему эссе. Эссе написал (собственно, как предисловие к совсем другой книге — “Постмодернистская поэзия”) Эдвард Фостер, организатор конференции в Хобокене. Заставляя меня, читающую, улыбаться от удовольствия, он ставит под вопрос само понятие “традиция”. Он говорит о ней скорее как о контексте, в котором можно увидеть работу поэта — и только. “Поэтическая традиция, — говорит цитируемая им Элис Нотли (ее стихи по-английски и в переводе также представлены в сборнике), — всегда меняется. Ты меняешь всю историю, которая прошла до тебя, и в тот момент, когда я вхожу в эту традицию или в эту историю, она уже перестает быть мужской традицией, и вся ее природа меняется”. Идя еще дальше, Фостер утверждает, что “стихотворение определяется в конечном итоге его собственными намерениями, а не намерениями поэта”. И это его заявление, как и все короткое эссе, многое в котором кажется, как любят выражаться критики, спорным, мне чрезвычайно нравится.

А что же стихи? Будучи русским читателем, упомяну лишь русские. Потому что большая часть приведенных в сборнике американских стихов кажется мне переводами с какого-то другого, потерянного оригинала. (Возможно, что именно в силу названной ограниченности моего слуха.) В наименьшей степени это касается стихов Эда Фостера, которые я здесь не привожу, так как привести пришлось бы, противореча себе, перевод, и Джона Хая, которые я все равно начала читать с переводов на русский — Нины Искренко. Когда начинаешь потом сравнивать оригинал и перевод, видишь неуловимую логику поэтического сознания в появлении — проявлении — того, что в оригинале вроде бы было, и чего еще не было:

...взмах рук
снизу вверх

Точно так же мне интересно читать Еременко, который, к сожалению, на конференции не появился.

...И как только в окне два ряда
отштампованных ёлок
пролетят, я увижу: у речки на правом боку
в непролазной грязи шевелится рабочий поселок
и кирпичный заводик с малюсенькой дыркой в боку.

Что с того, что я не был там только
одиннадцать лет.
У дороги осенний лесок так же чист
и подробен.
В нем осталась дыра на том месте,
где Колька Жадобин
у ночного костра мне отлил из свинца
пистолет.
("Отрывок из поэмы")

Или шестистопный топот первой строки его стихотворения "К вопросу о длине взгляда": "Как замеряют рост идущим на войну", где вся вещь построена на линиях, рейсшинах, кронштейнах.

Иван Жданов, будь книга построена по принципу русского, а не английского алфавита, шел бы следом, и мы бы с разбега наткнулись на — тоже шестистопный, трагический — но по-иному, жест. Но алфавит английский, и стихи его идут следом за лихими и красивыми стихами Аркадия Застырца:

О, тряпками сгущающие тени
Прелестные протирищицы полов!..
...Особенно, особенно в июле
Когда лучи косые золотят
Столбами пыль в просторном вестибюле
И в ведрах отражается закат.
Когда луна светящиеся жабры
Раздует, затевая поворот,
И струями тяжелыми со швабры
Расплавленное серебро польет.
("О, тряпками сгущающие тени...")

Вадим Месяц представлен совершенно разным типом, как ска- зал бы Вячеслав Курицын, реакций. От:

Это не слезы — он потерял глаза.
Они покатались в черный Хевальдский лес...
("Норвежская сказка")

до:

Тоскливей, чем пыльный аквариум в детской тюрьме...
Нелепее книжной закладки на первой странице...
Загадочней старого глобуса, что в полутьме
привычно мерцает единственной в мире Столицей...
("1991 год")

Месяц, кстати, является также автором многих переводов в книге, как и Юлия Кунина, чьи оригинальные русские стихи раду- ют уставшего от мрачной хаотичности образов читателя — просто- той и человечностью интонации.

...Народ мой — лишь народ, но это
самодостаточно. Мне более не жаль,
что душу мира не забрал он в полон,
что человек не ловец... И это
сильнее тяги Нового Завета.
("После Бергмана")

"Ничто поэтическое в отдельности не лучше другого", — гово- рит в своем эссе Эдвард Фостер. И, цитируя Уитмена, добавляет:
"Стихи, оторванные от других стихов, вероятно, умрут"

Сбежавшись на мгновение в круг, эти стихи цепко держатся друг за друга — и не несут ответственности ни за это — свое — мгновение, ни за свои свободы.

Ирина Машинская

Евгений Харитонов. *Слезы на цветах. Сочинения в 2-х книгах.* Кн. 1. *Под домашним арестом.* Кн. 2. *Дополнения и приложения.* Составление, предисловие и комментарии Ярослава Могутина. М., “Глагол”, 1993.

ИЗ-ПОД ДОМАШНЕГО АРЕСТА

“А надо вам заметить, что гомосексуализм в нашей стране изжит хоть и окончательно, но не целиком. Вернее, целиком, но не полностью. А вернее даже так: целиком и полностью, но не окончательно. У публики ведь что сейчас на уме? Один только гомосексуализм”. (Вен.Ерофеев, “Москва — Петушки”).

В попытке поместить Евгения Харитонova (1941-1981) в русский контекст, начнем, как водится, с Пушкина.

ПОДРАЖАНИЕ АРАБСКОМУ

Отрок милый, отрок нежный,
Не стыдись, навек ты мой;
Тот же в нас огонь мятежный,
Жизнью мы живем одной.
Не боюсь я насмешек,
Мы сдвоились меж собой,
Мы точь-в-точь двойной орешек
Под единой скорлупой.

Это — первое известное автору этих строк отечественное гомоэротическое стихотворение. В пушкинских собраниях оно печатается в разделе 1835 года, без даты, комментарий ограничен фразой: “При жизни Пушкина не печаталось”.

В 19 веке разрабатывалась тема мужской любви главным образом, в подпольном, хулиганском варианте — примеры озорных студенческих текстов, в частности, приписываемых Лермонтову, были собраны в книге “Русский Эрот не для дам”, вышедшей с импринтом “Женева, 1879” и сто с лишним лет спустя переизданной в виде репринта с исправлением опечаток в США (Scythian Books, 1988).

Если брать собственно лирическую ноту, то от “Подражания арабскому” можно почти через столетие провести пунктир к Ми-

хаилу Кузмину. Его первая книга стихов (“Сети”, 1908) и особенно повесть “Крылья”, вышедшая в 1907 году, вскоре после отмены цензуры, произвели фурор естественным и легким, вполне в пушкинском духе, описанием мужской однополрой любви. Безусловной находкой Кузмина была изящная и начисто лишенная сенсационности интонация, когда “противоприродная” связь между мужчинами описывалась как нечто совершенно естественное.

В царской России (как, впрочем, и в других европейских государствах, где Наполеон не успел ввести новый правовой кодекс) мужеложство — мужской гомосексуализм — было уголовно наказуемо. После революции 1917 г. закон этот был отменен на волне новых социальных свобод, и вновь введен в силу Сталиным (по легенде, помимо любви к природе, роль здесь сыграли и традиционные чувства грузина к армянам, которым российская молва нередко приписывает этот грех). Весной 1993 года закон о мужеложстве был отменен парламентом новой Российской Федерации.

Вот что на эту тему сообщали русские энциклопедии.

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, том 20, СПб., 1897. Мужеложство. “...В действующем уложении о наказаниях предусмотрено ст. 995 и за него положена ссылка в Сибирь на поселение; христиане, сверх того, подвергаются церковному покаянию. (...) Понятия М. закон не определяет, обозначая состав деяния так: “Изобличенный в противоестественном пороке М.”

Совсем в иной тональности написана обширная статья в первой послереволюционной энциклопедии: *Большая советская энциклопедия, том 17, М., 1930. Гомосексуализм.* “...Направление полового интереса в сторону особой своего пола заставляет нарушать так называемые общепринятые нормы поведения. За границей, да и в дореволюционной России эти нарушения общепринятых правил поведения преследовались специальными “законами о нравственности”. Помимо того, что это законодательство направлено против биологического отклонения, что является абсурдом само по себе и не дает реальных плодов, оно действует крайне вредно на психику гомосексуалистов. До сих пор в передовых капиталистических странах далеко еще не закончена борьба в пользу отмены этих лицемерных установлений. (...) Советское законодательство не знает так называемых преступлений против нравственности. Наше законодательство, исходя из принципа защиты общества, предусматри-

вает наказание лишь в тех случаях, когда объектом полового интереса гомосексуалистов становятся малолетние и несовершеннолетние”.

А вот — сталинская *Большая советская энциклопедия* (2-е изд.), том 12, М., 1952. Гомосексуализм. “...В советском обществе с его здоровой нравственностью Г. как половое извращение считается позорным и преступным. (...) Уголовная ответственность за Г. установлена общесоюзным законом от 17 декабря 1933 г. (лишение свободы на срок от 3 до 8 лет). В буржуазных странах, где Г. представляет собой выражение морального разложения правящих классов, Г. фактически ненаказуем”.

Понятно, что никакие законы не в силах пресечь сексуальные импульсы, но “голубая” жизнь в России с 1930-х по 1980-е гг. шла только подпольно. Хотя закон о мужеложстве (статья 121 УК) редко применялся впрямую, власти широко пользовались им для шантажа неугодных и вербовки доносчиков, угрожая им общественным разоблачением, арестом и отправкой в лагерь с сопутствующей характеристикой (“Там такие, как ты, всегда пригодятся”, — сказал следователь одному из моих не очень сильных духом приятелей, и тот от ужаса рассказал все, что мог, про всех, кого знал). Памятны случаи с Сергеем Параджановым и с поэтом Геннадием Трифоновым, когда власти мстили непокорным художникам за строптивость, избегая при этом собственно политических скандалов.

Геннадий Шмаков — первый собиратель и блестящий исследователь творчества и биографии Кузмина — вспоминал, как в либеральные 60-е годы он попытался предложить сборник кузминской лирики в ленинградскую “Библиотеку поэта”. В.Н. Орлов, главный редактор серии, начал смотреть машинопись; дойдя до обращенного к художнику С. Судейкину стихотворения “Мой портрет” (“...И скажут все, забывши о запрете, / Смотря на смуглый, томный мой овал: / “Одним любовь водила при портрете — / Другой его любовью колдовал”), он мрачно спросил составителя: “А как мы это объясним читателю?” Шмаков, не растерявшись, предложил: “Сделаем сноску: так в тексте”. Книга осталась неизданной.

Но дело было не только в опасности уголовного преследования. Морализующую и охранительную роль церкви в советской России взяла на себя компартия, и если в других сферах в обществе воз-

никали очаги пассивного сопротивления, то в вопросах однополюсной любви даже интеллигентные люди проявляли ограниченность. Сохранился устный анекдот о том, как где-то в начале 1930-х рассказывала теоретически более других просвещенная Анна Андреевна Ахматова о появлении в гостях Кузмина с его интимным другом Юрием Юркуном (“Стыдоба!”).

В официальной печати харитоновские сочинения появиться не могли: они нарушали все советские табу — политические, художественные и сексуальные. Харитонов присоединился к группе “непечатных” авторов, основавших весной 1980 года неофициальный Московский клуб беллетристов (Филипп Берман, Николай Климонтович, Евгений Козловский, Владимир Кормер, Евгений Попов, Дмитрий Пригов), которые составили свой альманах “Каталог” и обратились в культурный отдел ЦК с просьбой разрешить его издание малым тиражом (300-500 экз.) Разразился скандал. Самым уязвимым из его участников оказался, конечно, Харитонов: ему грозило уголовное обвинение в гомосексуализме. Его вызывали на допросы, шантажировали и преследовали. Перегрузки превысили предел: 29 июня 1981 года в Москве, на Пушкинской улице, он умер от разрыва сердца. Альманах “Каталог” вышел в американском издательстве “Ардис” в 1982 году.

Это затянутое вступление — попытка дать представление об атмосфере, в которой в жизнь и литературу в 60-х гг. входил Евгений Владимирович Харитонов — многообразно одаренный режиссер, драматург, прозаик и поэт. Вспомним еще одну прописную вещь: еще совсем недавно в Советском Союзе любой талантливый художник — живописец, музыкант, композитор, поэт, писатель — должен был сделать выбор: идти ли на безоговорочное сотрудничество с властью, с вытекающими удобствами, признанием и неизбежной ложью; попытаться ли нащупать неуловимый средний путь — как бы сотрудничество, но не стопроцентное, с надеждой каким-то образом что-то сказать от себя; или же от сотрудничества с властью отказаться, рискуя шельмованием (Пастернак) и свободой (Бродский, Синявский, Даниэль). Харитонов решительно выбрал третий путь. Но и на этом пути его ждал еще один трудный выбор — с какой степенью достоверности использовать свой личностный опыт: пытаться, ради расширения пусть даже подпольной, самиздатской аудитории, “транспонировать” его в гетеросексуальную

тональность или же хранить верность себе. С редким мужеством он выбрал правду. Его жизнь шла двойным руслом: ВГИК, кандидатская диссертация “Пантомима в обучении киноактера”, защищенная у Михаила Ромма, работа в Театре мимики и жеста — и, параллельно, интенсивная литературная, подпольная деятельность. По свидетельству друзей, начинал Харитонов как поэт акмеистского толка. Потом он увлекся Хлебниковым, Крученых, обериутами, и стал развивать постфутуристическую линию. (Интересно, что подобный путь, хотя и не совсем к постфутуризму, проделал и Дмитрий Пригов, ровесник и в каком-то смысле литературный соратник Харитонova, в свое время шутивший, что в молодости писал, “как Анна Ахматова”).

При склонности к таинственному можно было бы усмотреть некий промысел в том, что незадолго до смерти Харитонов составил итоговую книгу своей прозы и стихов, с выразительным названием “Под домашним арестом”. Этот авторский сборник составил первый том настоящего издания. Во второй том вошли другие сохранившиеся сочинения Харитонova (по упомянутым в книге сведениям, весь рукописный архив после его смерти был уничтожен матерью), а также посвященные ему статьи и воспоминания современников, среди которых — Дмитрий Пригов, Василий Аксенов, Евгений Попов, Николай Климонтович, Михаил Айзенберг, Виктор Ерофеев, Роман Виктюк и Александр Шаталов. Двухтомник включает также полезные и содержательные примечания и комментарии как лично-биографического, так и литературного характера, облегчающие понимание харитоновских текстов.

В сборнике “Под домашним арестом” представлены три отчетливых направления: повествовательная проза; лирические стихи и миниатюры в прозе; экспериментальные тексты. Стилистически Харитонов-прозаик близок к Саше Соколову, Эдуарду Лимонову, Евгению Попову. Это — аскетичное, намеренно угловатое повествование в документальном, почти протоколно-бюрократическом ключе. Его проза — частью почти-рассказы, частью — короткие записи в духе Розанова, чуть отстраненные, редуцирующие форму до минимума. Мир Харитонova суров и ироничен, в нем нет места иллюзиям. Авторский нонконформизм и полемический вызов не только официальным, но и интеллигентским конвенциям, сексуальным и социальным, диктуют ему идущие вразрез с общеприня-

тыми установками суждения о сексе, о государстве, о евреях и т.п. Надо отметить, что даже в натуралистических зарисовках мужского секса Харитонов никогда не порнографичен; его задача — не возбудить читателя, а запечатлеть событие или ощущение.

В нескольких прозаических текстах звучит чувство обреченности эмоционально-сексуальных порывов лирического героя (“Духовка”, “Алеша Сережа”, “А., Р., Я.”). В зарисовках “Жилец написал заявление” и “Покупка спирографа” — убийственно точные картины абсурдной советской повседневности. В отличие от своих экстравертных ровесников, Харитонов сдержан, трезв и порой мрачен, он часто вспоминает и думает о смерти. В его “розановских” записях немало тонких наблюдений и размышлений по поводу гомосексуальной психологии и гомосексуального существования. Его экспериментальный “Роман”, включающий графическую поэзию, игру со шрифтами и расположением текста и страницы с одним-единственным словом, озадачивает. Большая часть его стихов написана вне традиционной просодии, с необычными интонациями и внутренними ритмами; это новая русская поэзия 70-80-х гг. Многие тексты стоят как бы на перепутье между прозой и стихом; вот выразительный отрывок из поэмы/прозы “Вильбоа”:

...Ласковый чуткий ускользящий мальчик-слуга
 в плавках цветных на костях
 тебя убьют молодого
 давай погибнем вместе
 вчерашний мальчик завтрашний мертвец
 Ты зачем пропал
 ты у меня на груди с выступающими лопатками
 мы будет не пить не есть смотреть друг на друга
 пока не умрем от любви...

Харитонов был способен и на простую иронию и на ироничный разговор о серьезном:

* * *

Во мне погиб боец.
 Во мне погиб отец.
 Во мне погиб певец!

Пиздец, пиздец, пиздец.
Вдали весны и вас
умолк мой звонкий глас,
заглох, затих опричь,
забылся, замер... тшь!

* * *

Осень. Слава Богу, рябина красная.
Слава Богу, женщина несет собаку на руках.
Слава Богу, она ее скинула на траву.
Слава Богу, собака побежала, женщина пошла.
Слава Богу, Ленин умер.
Слава Богу, все мы живы.
Слава Богу, все мы живы.
Слава Богу, Бога нет.
Слава Богу, есть опять!
Слава Богу, слава Богу, слава Богу, есть.

Хороши несколько стихов (по-видимому, поздних), напечатанных во втором томе; в них сквозь сдержанность пробивается подлинная грусть, это — лирика высокого класса:

* * *

Общежитие монастырь или казарма,
тренером хорошо, в трудовой колонии.
Покупать за деньги.
Полустанки вокзалы,
приезжает в Москву, ночевать ему некуда,
голову на кулак, в цыпках.
Носки с дыркой на пятке, майка заношенная,
плавки внизу выцветают, развесили в общежитии.
Рассадник.
Скинул все с себя — а, какой я,
на, потрогай, какой.
Расправил ее под собой, насадил и давай.
Это им больше всего.

* * *

Подожди, я скажу, потом останешься при своем.
Хорошо, обо мне решено бесповоротно,
но не сначала же решено,
ты потому что я так повел с таким рвением,
я не буду, зарок, что хочешь,
не надо тебе не буду, но не лишай совсем.

Вот еще несколько примеров, дающих представление о разнообразии харитоновского метода.

* * *

Хозяйки умеют торговаться
строгие не проведешь их слесаря боятся
А я сразу видят
столкнут негодный кран,
за стекло возьмут восемь рублей и стекло барахло.
Надо с этими пьяницами жулье проверять не стесняться

* * *

Ко мне любовь со всех сторон
Когда пою и люди замирают
ах это он как он поет
как он поет мы умираем

как он запел закрыть глаза
и закачаться невозможно
ах он до дна пробрал звучит
всё что погребено безбожно
ах счастья нет но только голос
поет напоминает нам
что счастья нет и только голос
о счастье петь что счастья нет

* * *

Он курил у его ног из его рук потом растянул ему и взял у него
он помог (хрипло) пойдём у тебя пососу вот у этого куста у этой

развилки я сказал пойдём туда. И он пошел Он. Он и оН. Вокзал где их любовь проходит. У него цыган в роду. Родинки составляют Большую Медведицу. (Из "Романа").

* * *

Меня затаскали.

А как им тяжело там в камере. Супинаторы железки две железные пластины в ботинках для поддержания формы их отнимают у заключ. чтобы не резались или не резали друг друга. Никому ничего не докажешь и никому это не интересно, что докажешь. Ни сердца ни правды ни жалости. Неужели по глазам не видно что он не лжет что никто не лжет что мы не лжем. Что я родился в деревянном домике на Щетинкина 38 и был уж во всяком случае добрым мальчиком с мягким сердцем. Конечно я прожил много лет и оно зачерствело но там на дне бабуся и детство и доброта правда доброта и абажур. И под слоями равнодушия есть и совесть и доброта и простота и сердце.

Я не хочу никому зла. Никому? А обидчикам? А обидчики хочу чтобы увидели мою невинность и все свое зло и схватились за голову стали молить прощения и совесть бы их затрясла а я бы сказал ладно я зла не помню.

* * *

Семейство однополых невозможно. Это дело блядское. Тут уж раз страсть, так уж нужен такой чтобы любил его до потери сознания. А где такого найти такого вида. А если он есть, он всегда найдет себе другого с кем веселее и денежней. Раз на него все заглядываются и хотят заманить. А тебе и самому нечем его занять днем и вечером и хочется заняться своим узором...

* * *

От поэта уходит любовник красивый был любовник он был красивый не стыдно сказать что спали есть чем похвалиться только не любил меня так жил лучше никого не нашел только что любил и всё теперь только что любил и нетути

Отдельного упоминания заслуживает совсем иная проза — лаконичная антиутопия “Предательство-80”. По понятным причинам, Харитонов хранил ее в зашифрованном виде. Это был дерзкий, глубоко политический жест, сходный со “Смутой новейшего времени” Николая Бокова и “Красной площадью” Евгения Козловского. При чтении этой прозы возникает ощущение, что Харитонов заглянул в магический кристалл и с минимальными искажениями увидел Россию 10 лет спустя. Приведем лишь несколько цитат:

“Итак, Красная площадь была запружена народом. Он шел, шел и шел. “Долой коммунистическую сволочь!” — кричал он. Все несли антисоветские лозунги. Так всем было приказано. На месте мавзолея выкопали яму. Сам мертвец лежал невдалеке. Все ожидали его торжественной казни. Наконец подъехал каток, которым раскатывают асфальт, и раскатал мертвеца в лепешку (...)

Квалифицированные европейские и американские управляющие приглашаются сегодня занять все крупные (и мелкие) посты, на договорах. Приглашаются все из разных стран, без преимущества какой-нибудь одной. Творчество — научное, художественное — остается нам. А уж управление у нас не выходит, и мы зовем на помощь вас, уважаемые господа, милости просим!

Граница страны на востоке сдвигается до Енисея. Красноярск — пограничный пункт. (Возможно его переименование в Чаадаев). (...)

Прибалтике, как Европе, разрешается выйти из состава нового государства. (...) Кавказ остается нам в любом случае, потому что он несознательный и воинственный. (...)

Ценз на иудейских представителей в управлении остается ограниченным, как и прежде, — во избежание резких всплеск юдофобии в случае незадач в правлении. (...)

Одно из интересных нововведений идеологии — дозволение мата. Поощрение телеспектаклей, кинофильмов и т.д., изображающих все, что каждый ненавистник готов от ненависти измыслить, даже в еще более сгущенных, зловещих, кощунственных красках. (...)

Итак, резюме. Опыт Петра 2-го (Ульянова-Ленина) в части развала России считать успешным, удавшимся. Однако диверсия не была им проведена до конца. В целях ее довершения привлечь к управлению иноземцев, как в начале русской истории. (...)

Так что милости просим, господа, на нашу землю”.

Из посвященных Харитонову текстов второго тома особенно выделяются некролог, написанный Приговым, живые заметки Евгения Козловского и замечательная по глубине и точности критическая статья Климонтовича “Уединенное слово”, в которой анализируются темы, личность и позиция Харитонова. Вот некоторые из наблюдений, сделанных в статье:

“Свои счастливые минуты [Харитонов] избегал описывать, нерв его узоров на любовную тему всегда в неразделенности или ненайденности, в любовном томлении. Но то художество, в жизни его многие любили. Другое дело, он фанатически отстаивал свои упорные одинокие занятия, тишину и затворничество, прогоняя от себя любящих, понимая плоское счастье как мышьяк, сторонясь его и из того уже извлекая дополнительную выгоду для писательства, приправу одиночества”.

“Справедливости ради следует признать, что он обожал самый площадной эпатаж, как никто чувствовал стихию балагана, и, зная способность своей манеры притворяться простодушной, пользовался этим, поддразнивая доверчивого слушателя запретными руладами... Но сам же провоцируя возмущенные крики, огорчался, когда уловки достигали цели слишком легко, а предложенная игра встречалась улюлюканьем”.

“Светло-плотские тона были чужды ему, описания плоти служили ее преодолению. (...) Гомосексуализм его был во многом формой воздержания, всякое отступление от обета целомудрия наказывалось самым чудовищным препарированием самого летучего греха... Дрожь и упоение он испытывал лишь в служении, в подвижничестве, в самоотказе — здесь связь между его гомосексуализмом и христианскими мотивами. (...) Православие было для него национальной верой (но не знаменем — он не был славянофилом), неразрывно связанной со всем русским. Он любил церковные книги, превосходно знал Библию, перечитывал молитвословия и жития святых, все было созвучно его положению в жизни, его вынужденной аскезе и затворничеству...”

В харитоновский мир трудно входить — его создатель ни в чем не облегчает задачу читателю. Но если преодолеть первичное сопротивление, то многое в этом мире с лихвой вознаграждает усилия. Пусть Харитонов не успел сказать все, что мог бы, — сказанного им достаточно, чтобы разбедить и увлечь читателя.

Автор этих строк пару раз встречался с Харитоновым в 1976 году в Москве, на наших мужских, как тянет сказать после стольких лет в Америке, “партиях”. Это были веселые сборища с пирожками, которые готовила добрейшая мама хозяина дома, чудесного танцора и хореографа, с вином и чаем, с танцами, а иногда и с элементами капустника; всегда было много музыки — Обухова, Русланова, Пегги Ли, Лайза Миннелли, Утесов, а то и “Метаморфозы” Рихарда Штрауса. Как-то на таком вечере появился Харитонов — на него трудно было не обратить внимание: у него была грива каштановых волос и чудесные светлые глаза, грустные и пронизательные; он выбрал роль молчаливого доброжелательного наблюдателя. Я знал, что он талантливый и самоотверженный режиссер, что он работает с глухонемыми актерами; мне попадались две или три самиздатовские странички с его записями, но по ходу тогдашней жизни ближе мы не познакомились. И теперь я от души благодарен за наконец состоявшееся знакомство составителю двухтомника и его издателю, освободившим сочинения этого уникального писателя и поэта из-под домашнего ареста.

Александр Сумеркин

Книги И. Бродского, изданные Ардисом

ЧАСТЬ РЕЧИ (1977)

КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ (1977)

НОВЫЕ СТАНСЫ К АВГУСТЕ (1983)

МРАМОР (1984)

УРАНИЯ (1987)

ПЕЙЗАЖ С НАВОДНЕНИЕМ (1996)